

Виталий Шария

Танк не страшнее кинжала

Смерть ходит по горам

Где Авель, брат твой?

Дезертир

Сексот Сазонов

и другие рассказы о грузино-абхазской войне

Сухум — Издательство “Алашара” — 1998 г.

Шария В. В. Танк не страшнее кинжала. Рассказы: — Сухум: Алашара, 1998. — 280 с.

В новую книгу Виталия Шария вошли рассказы, тематически объединенные автором в два раздела: "Теплый снег" и "Смерть ходит по горам". В первом из них — лирические рассказы. Во втором — произведения, посвященные событиям Отечественной войны народа Абхазии 1992—1993 годов, рисующие мужество и героизм защитников Абхазии, сложные нравственные перипетии, в которые попадают герои повествования, вовлеченные в водоворот войны.

© Издательство «Алашара», 1998.

СОДЕРЖАНИЕ

- От автора
- **ТЕПЛЫЙ СНЕГ**
 - о Искушение, или последний шанс максималиста
 - о Непорочное зачатие
 - о Теплый снег
 - о Арзамет
- **СМЕРТЬ ХОДИТ ПО ГОРАМ**
 - о Остановка "Золотой шлагбаум"
 - о Анжелика и ее братья
 - о Объяснение в ненависти
 - о Ошибка минера
 - о Дожить до заката
 - о Танк не страшнее кинжала
 - о Время убивать
 - о Дезертир
 - о Где Авель, брат твой?
 - о Смерть ходит по горам
 - о Гудаутские каникулы
 - о Сексот Сазонов
 - о Встреча на проспекте Мира
 - о Приключения обезьяны
 - о Солнцеликая Гунда

От автора

Грузино-абхазская война 1992-1993 гг. трагической полосой разделила жизнь наших сограждан на "до" и "после". В той, довоенной, жизни у многих навсегда остались их

погибшие родственники и друзья, сгоревшие дома, нереализованные замыслы и планы... Вот и у меня так и не вышел запланированный в издательстве "Алашара" на 1993 год сборник прозы. В разоренном помещении издательства, где хранились сданные рукописи, сейчас лишь гуляет ветер... Но копии рукописей большинства произведений, которые должны были войти в невышедшую книгу, сохранились дома, и ряд их я решил включить в этот сборник. Хотя и с опозданием, но пусть все же они придут к читателю, тем более, что главная их тема — любовь — поистине нестареющая, вечно актуальная для всех поколений людей во всем мире.

Но основную как по объему, так и по значению часть книги "Танк не страшнее кинжала" составили рассказы, написанные в военные и послевоенные годы и представляющие собой в совокупности попытку создания художественной панорамы войны (неслучайно некоторые персонажи здесь переходят из рассказа в рассказ). Тема их — человек на фоне военного лихолетья. Война, обнажая суть вещей, неизменно являет миру высочайшие вершины и глубочайшие низины человеческого духа. Грузино абхазская породила также удивительное разнообразие нравственных коллизий, сложных переплетений судеб. Можно сказать, что наша проза еще только приступает к освоению этого пласта жизни, который таит в себе нескончаемую россыпь почти готовых сюжетов.

Впрочем, ведь и автор этих строк тоже не спешил с реализацией большинства замыслов представленных здесь рассказов, хотя почти все их замыслы зародились еще во время войны и в основу большинства их положены реальные события. В связи с последним выражаю большую благодарность Зауру Хварцкия, Валерию Чачхалия, Шуле Гварамия, Сергею Аршба, Эдуарду Гублия, Исмаилу Джалалу, Хуте Курт-оглы, Ясону Гогия, Виталию Бганба и многим другим, чьи воспоминания и консультации оказали неоценимую помощь в работе над книгой.

Но степень беллетризации в военных рассказах, конечно, весьма различна. В некоторых случаях (рассказы "Остановка "Золотой шлагбаум", "Анжелика и ее братья") я даже считал возможным оставить реальные имена прототипов героев, но в других те или иные имевшие место в действительности эпизоды, ситуации лишь давали толчок авторскому воображению. Так что, придирчиво искать соответствия или несоответствия между происходившими в жизни событиями и текстами рассказов — дело совершенно алогичное и зряшное. Тем более, что есть здесь и рассказы, где сюжеты, действующие лица вымышлены от начала до конца. В ряде случаев в рассказах действуют и названы реальные исторические лица. Конечно, тут была сложность: во многих произведениях, скажем, о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. наряду с историческими фигурами описывались вымышленные комдивы и директора оборонных предприятий, руководители регионов, в масштабах же нашей войны и комбат — лицо историческое... Поэтому решать, как тут быть, под своим или вымышленным именем изображать того или иного человека, в каждом случае приходилось индивидуально, сообразуясь с обстоятельствами.

Некоторые из вошедших в сборник рассказов уже публиковались в периодике: например, "Время убивать" и "Ошибка минера" в 1998 г. в московском журнале "Наш современник"; "Приключения обезьяны" — под псевдонимом "Саид Ампар" в 1997 г. в московском журнале "Свет" и в журнале "Абаза".

В собранных во втором разделе книги рассказах я попытался увидеть войну глазами абхазов и грузин, армянина и чеченца — людей самых разных биографий, ментальности, душевных устремлений, возраста... Да, впрочем, даже не только людей, но и обезьяны, которая отправилась в полное опасностей и лишений путешествие по воюющей Абхазии из Сухумского обезьяньего питомника. Оказался ли автор на высоте поставленных перед собой художественных задач, судить не ему. Но одно знаю точно: дорогу осилит идущий. А если и не осилит, то, возможно, побудит еще кого-то и еще, ощущающего в себе больше сил, двинуться в этот нелегкий путь — осмысления народной драмы конца XX века в Абхазии.

ТЕПЛЫЙ СНЕГ

"Любовь одна, но подделок под нее — тысячи..."

Ф. Ларошфуко

"На самом деле любовь — это всего лишь химия. Формула любви — $C_7H_{11}N$. Этот фермент, состоящий из углерода, водорода и азота, вырабатывается в головном мозге и непосредственно связан с переживанием человеком чувства любви".

Герхард Кромбах, австрийский физиолог

"Счастлив тот, кто счастлив у себя дома".

Л. Толстой

Искушение, или последний шанс максималиста

Ровно год назад, придя с обеда, младший научный сотрудник Дмитрий Гогия увидел на своем рабочем столе лист бумаги с размашистыми строчками: "Дима! Звонил Лаврик Айба из Гудауты. В его доме очень ждут тебя сегодня вечером. У него для тебя сюрприз, который может многое изменить в твоей судьбе". Телефонограмму, судя по характерным каракулям, принимала сотрудница отдела и соседка Димы по кабинету Офелия Карповна. Возможно, при встрече она могла бы дополнить этот текст чем-то более конкретным, но ждать ее с обеденного перерыва имело смысл не ранее, чем через полчаса: сейчас Офелия Карповна наверняка сидела, как обычно, у живущей неподалеку приятельницы и пила веселый кофе с пирожными и сплетнями.

О каком сюрпризе идет речь, Дима догадывался. Ох, Лаврик, Лаврик, никак не оставляешь попыток женить друга. Ну, ну, авось на этот раз что и выйдет... Дима давно уже перестал относиться к подобным "целевым" знакомствам с предубеждением мальчика, воспитанного на классических примерах из жизни и художественной литературы и твердо усвоившего, что "любовь нечаянно нагрянет..." Легко сказать, но трудно дожидаться... Да и так ли уж важна эта "нечаянность"? Как выращивают искусственный жемчуг? На специальных подводных фермах в створ раковины помещают песчинку и дожидаются, пока она

не обрастет слоем перламутра. Но чем же эта жемчужина хуже естественной, которая образуется, когда песчинка в раковину попадет случайно?.. Практически ничем.

Дима заказал разговор с Гудаутой. Поехать-то он, конечно, в любом случае поедет: неудобно отказываться, когда друг приглашает; к тому же у Лаврика, кажется, на сегодня намечается застолье по поводу дня рождения первенца. Но кое-какие дополнительные данные относительно "сюрприза" выяснить заранее не мешало. Междугородка зазвонила на удивление быстро, минут через десять. В кабинете Лаврика были, по-видимому, люди, и поэтому он не стал особенно распространяться, лишь подтвердив в присущей ему жизнерадостной манере то, о чем Дима и так уже догадывался. "А я знаю этого человека... о ком речь?" — не удержался он все-таки. "В общем-то... да. Ты приезжай, на месте все обговорим..." Появившаяся вскоре Офелия Карповна не привнесла в дело ничего нового, кроме собственного любопытства и поощряющих улыбок моложавой, сорокашестилетней бабушки...

В седьмом часу вечера он уже сидел в "Икарусе", преодолевающем Гумистинский мост, и, придерживая на коленях огромного плюшевого медведя — подарок первенцу, время от времени поглядывал на свое отражение в темном оконном стекле. Начало января, дни по-прежнему еще сонливые, куцые... Молодец он все-таки, что не пожалел времени и заскочил в парикмахерскую: сегодня надо быть в форме. Кого все же, интересно, припас ему в качестве сюрприза Лаврик? Если она из тех, кого он знает... Нет, только бы не та медсестричка из районной больницы — подруга жены Лаврика, с которой тот познакомил его в прошлом году. Ведь тогда Дима вполне определенно дал понять, что она его не заинтересовала. Ну, скромная, ну, говорят, хозяйственная... Только разве это все? Таких, как она, в общем-то, много в каждом вагоне электрички... Правда, можно было задать и встречный вопрос: а что, таких, как ты сам, мало?.. Э-хе-хе!.. В том-то и загвоздка, что для себя каждый из нас единственный на свете... А вот студентке университета, родственнице соседей Лаврика, "не подошел" уже сам Дима. Что ж, все правильно: та была для него действительно слишком молода и красива. И если сейчас на день рождения, куда он едет, приглашена именно она, это будет только лишняя душевная боль и — опять-таки — ничемная трата времени. Ну и хорошо, что он не стал выпрашивать у Лаврика по телефону все до конца: теперь, в автобусе, можно было и помечтать немного о той неведомой, которая и впрямь сможет поменять что-то в его судьбе.

...Приехал Дима достаточно рано, чтобы успеть освоиться и переговорить с Лавриком до прихода гостей. Дверь открыл сам хозяин, да на кухне хлопотали его жена с племянницей. Стол накрывался в гостиную и обещал быть "очень и очень". Несколько минут Дима повозился с четырехлетним Алхасом, а затем был приглашен Лавриком в его домашний кабинет или, как тот еще его называл, — "библиотеку".

Лаврик, Лаврик, балагур и душа компании, всенепременнейший тамада за столом и трепач, каких свет не видывал! Оптимизм его был поистине неистребим: даже тогда, когда у него клеилось далеко не все (а такое бывает у каждого), он неизменно уверял, что "дела идут отлично, как никогда". В последнее время он и впрямь

уверенно шел в гору: занял ответственное место в РАПО, в районе его знали и ценили — и в немалой степени за его умение быстро находить с людьми общий язык, становиться для всех своим. Что ж, такому, пожалуй, сам Бог велел приходить на помощь друзьям, которым слишком долго не везет в любви.

Еще несколько минут ушло на демонстрацию хозяином приобретенных недавно книг и на выдворение из комнаты не желавшего расставаться с мужским обществом Алхаса, а затем, наконец, плотно прикрыв дверь, усадив Диму в кресло и устроившись в соседнем, Лаврик приступил к изложению сути дела:

— Два дня назад группой молодых людей был предпринят террористический акт — попытка похищения нашей Мактины. Попытка, к счастью, оказалась неудачной — все родные: отец, мать, двоюродные братья, я — поднялись на ноги и, бряцая оружием, ринулись в погоню. В общем, успели ее отбить и сейчас, как видишь, она находится у меня...

Лаврик продолжал говорить, а Дима тем временем все явственнее чувствовал поднимающийся по спине озноб. Мактина... При чем тут Мактина? Неужели?... Нет, это невозможно... Ну ладно, дальше, дальше...

— К счастью, с ней не случилось ничего... непоправимого. Мать ей так и сказала: "Если ты на себя надеешься, мы тебя заберем", а она в ответ: "Я какой была, такой и осталась". Он, это пацан, завез ее к черту на кулички, в Арюту, к своему дяде. Просто удивительно, как мы сумели быстро напасть на след... Если б хоть нормальный парень был — но мы-то знаем: бездельник, пьяница, морфинист... Попробовал там похипишевать, но у нас такой авторитетный состав был... Там такие ребята приехали — вооруженные, как Пентагон. Поубивали бы с теми друг друга, если б что... Снова ее спросили: "Может, ты хочешь остаться?" "Нет, ни за что..." Везти ее после всего этого домой, как сам понимаешь, не принято. В таких случаях желательно срочно выдать девушку замуж, устроить ее судьбу понадежней. И я сразу подумал о тебе...

Мактина, племянница Арды! Та самая Мактина, которой он изредка любовался, видя, как из необыкновенно красивого ребенка она превращается в прекрасную девушку, но о которой, конечно, никогда и подумать не смел... Помнится, как-то еще мелькнула мысль: "Хорошо будет, если дадут ей закончить школу, не украдут до этого, таких ведь трудно бывает уберечь". И вот она самым что ни на есть серьезным образом, ее родственником, предлагается сейчас ему!..

— Девочка, ты сам знаешь, видная. Отличница. И хозяйка прекрасная, — нахваливал "товар" Лаврик. — В общем, подумай, но решать надо быстро. Ситуация, как видишь, сложилась весьма и весьма...

— Экстремальная, — охрипшим голосом подсказал Дима.

— Вот-вот. Жалко будет, если она достанется какому-нибудь оболтусу. Я с ее отцом уже говорил, твое имя пока не называл, но он сказал, что полностью мне доверяет. Так что с этой стороны проблем не будет.

Когда он увидел ее впервые? Наверное, лет пять или шесть назад. Ну да, в тот день, когда заехали они с Лавриком к брату Арды в село Алру. Пока родственники толковали, Дима, скучавший на диване, заговорил от нечего делать с девочкой, которая рядом, за столиком, готовила уроки. А что, собственно, запомнилось? Ничего такого. Тоненькие пальцы, перепачканные шариковой пастой, то, что

задача очень трудная попалась, никак не решается, и что кем станет, когда вырастет, она еще не знает. Нет, совершенно не обратил он тогда на нее внимания. А вот во второй раз... Она гостила тогда здесь, в доме у Лаврика, и открыла ему дверь, когда он позвонил. Солнечные лучи, ударившие из окна за спиной Мактины, засветились в каштановых, подрезанных по плечи волосах, извлекая из них блеск золота. "Ангел!

Вылитый ангел, — восхитился про себя Дима. — Откуда здесь этот чудо-ребенок?" Он бы так и не узнал в ней девочку из дома в Алре, если б Лаврик не напомнил. "Ну и племянница у тебя растет, — сказал, помнится, Дима, прощаясь в тот день с Ардой. — Вот погибель будет ребятам через несколько лет!" А было ей тогда тринадцать... Или четырнадцать?

— Конечно, разница в возрасте... — продолжал рассуждать Лаврик. — Тебе сейчас сколько?

— М-м... Тридцать пять, — отозвался Дима (на самом деле отметку "тридцать пять" он "проехал" еще год назад, но... к чему сейчас такая точность, можно и округлить).

— Ну, ничего, выглядишь ты моложе. А ей скоро семнадцать. Нормально. Наши предки только так и женились. Вот мой дедушка...

— Да, знаю, ты рассказывал...

— Ну, вот... А школу она и в городе сможет закончить, вечернюю. В институт поступит. Я думаю, ты ей поможешь... Да мы все поможем. Один двоюродный дядя у нее в Сухуме, чего стоит! Алексей Шоуа, замминистра...

Следующая встреча — на многолюдном мероприятии в Алре, одним из организаторов и вдохновителей которого был Лаврик. Что это было?... Да, да, точно — открытие музея при Доме культуры... Выступления проходили под открытым небом, а жара в тот день стояла такая, что даже руководящие гости из района были без пиджаков и галстуков (один только Лаврик мотался зачем-то в светлом пиджаке, спина и подмышки которого потемнели от пота). Всех мучила жажда, а до долгожданного "второго вопроса" было еще ох как далеко. Вот тогда-то и появились две девчушки с большим кувшином холодной родниковой воды и стаканами и стали обходить с ними гостей. Дима залпом выпил полный стакан, подавая который Мактина приветливо-застенчиво с ним поздоровалась. Он и на этот раз не мог не залюбоваться ею: ее стройными ногами, всей ее хрупкой, уже начавшей обретать женственные черты фигуркой. И снова не без грусти подумалось: "Живет же где-то счастливчик, которому достанется эта красота..." После этого он видел ее еще несколько раз в доме у Лаврика. Между ними даже установилось нечто вроде дружбы — в той, конечно, мере, в какой она может быть между взрослым и ребенком. Как-то заговорили, помнится, об абхазской литературе, и Дима был приятно удивлен ее начитанностью и самостоятельностью суждений... Вот именно: если бы Дима увидел ее сегодня впервые, то он, пожалуй, и засомневался б: а что скрывается там, под этой ангельской внешностью, — но он ведь прекрасно помнил и приветливость ее, и живость ума... Нет, это не красивая безделушка, это — уже сейчас — личность...

— Отца ее ты знаешь — трудяга, бригадир в колхозе, человек в селе уважаемый. Сегодня он, кстати, у меня будет. Ну, еще мать у нее, учительница, два младших

брата... Вообще, семья очень традиционная, порядочная — и то, что случилось, ты представляешь, какой для всех них удар! Для единственной дочери они все сделают... В общем, я тебя, конечно, не тороплю — она еще здесь два, три дня может быть, неделю... Поговорите, пообщайтесь, присмотрись к ней получше — но и затягивать это дело тоже не стоит.

Лаврик умолк, давая понять, что сказал все, и настало время говорить что-то и Диме.

— Что тебе сказать. Лаврентий Зиевич... — собравшись с духом и стараясь быть спокойным, заговорил Дима. — Прежде всего то, что ты меня ошеломил. Конечно, я Мактину знаю, помню... И сразу тебе скажу: меня агитировать не надо. Но, честно говоря, я просто не представляю... Ты считаешь, что она может согласиться?

— А почему бы нет? Я уже, между прочим, провел определенную агитационно-пропагандистскую работу. Ничего такого напрямик, конечно, не говорил, но завел с ней о тебе речь, рассказал о твоей диссертации... Кстати, как дела с защитой?

— На той же точке — замерзания. Тянут-потянут... То одного человека на месте нет, то другого...

— Ну, ничего — чуть раньше или чуть позже... Главное — чем для них было бы плохо с тобой породниться? Серьезный парень, молодой ученый, хорошие перспективы...

— Послушай... Ну ладно, а как ты все это практически представляешь? Самое главное — это, конечно, что она решит. Но я с ней на эту тему не смогу заговорить. Это все равно, что... Нет, не смогу. Я же всегда относился к ней как к ребенку...

Подумай сам, в каком глупом положении я окажусь, если вся эта затея провалится... Кстати, Арда в курсе?

— Так, приблизительно.

— В общем, знаешь что, поговори пока сам с Мактиной, но как-то так, будто бы я ни о чем не знаю. Прощупай почву, и если почувствуешь, что на что-то можно рассчитывать, тогда уж и меня подключай.

— Договорились... Ладно, там, по-моему, уже кто-то пришел. Пойдем, посидим сегодня, поговорим о том о сем, познакомимся поближе с возможными родственниками... Присмотритесь друг к другу... В общем, вперед! Наше дело правое, мы победим.

А у Димы в этот момент будто ноги приросли к полу. Странно — никогда вроде бы не отличался особой робостью в общении с противоположным полом, а тут вдруг... Наверное, все-таки это была не робость, а — стыд...

Оказалось, что приехал Аркадий, двоюродный брат Арды, работавший в районной милиции. Арда и Мактина сновали между кухней и гостиной, нанося, так сказать, последние штрихи к картине праздничного стола. Чтобы унять волнение и чем-то себя занять, Дима, сидя на тахте, уткнулся в огромный семейный альбом, который приволок ему Алхас. Под собственные вопросы Алхасу и его комментарии, сопровождаемые тыканьем пальца в альбом, можно было и немного собраться с мыслями, продумать, как держаться за столом. Прав Лаврик — надо присмотреться самому и дать присмотреться к себе. Он должен произвести на участников застолья самое благоприятное впечатление, но и суетиться, стараться привлечь к себе внимание — не стоит. Доброжелательность, сдержанность, простота в общении — вот сейчас его козыри. Да и почему, собственно, он должен быть более

заинтересованной стороной, чем они, — в конце концов, это ведь им нужно ее поскорее, как говорят в народе, "сдать хозяину".

Время от времени он, стараясь делать это незаметно, провожал взглядом проходившую мимо Мактину. Она уже переоделась, сменив клетчатое платье на красивую белую блузку и темную юбку — ему немедленно захотелось поверить, что это для него — и, любуясь пластикой ее движений, он думал сейчас о том, как же в ней все совершенно...

Около девяти вечера собрались, наконец, кажется, все приглашенные. Кроме Лаврика, Димы и Аркадия за стол сели отец Мактины Расим, тихий, немногословный мужчина лет сорока пяти, и двое, как сразу подумалось Диме, судя по их солидным животам и некоторым профессиональным ухваткам, ветеранов застольных баталий — сослуживец Лаврика низенький властный толстяк Аквсентий Михайлович и заведующий фирменным магазином "Птица" местной птицефабрики — бесцветный дородный человек, волосы которого были мобилизованы в жидкие пряди на темени, имени которого Дима не запомнил. Чуть позже, когда мужчины уже подняли по паре бокалов, за стол присели — ненадолго, на полчаса — и Арда с Мактиной. По тому, как Мактина меланхолично, не слыша, не воспринимая, о чем вокруг говорили, накладывала себе мясной салат, сациви из большого блюда, будто во сне тянулась за кусочком хачапури, как, бывало, надолго задумывалась, устремив взгляд куда-то в сторону и занавесившись от Димы каштановой волной своих волос, нетрудно было догадаться, что она еще не очнулась от того, что с ней произошло. "Бедная", — сжималось сердце Димы от сострадания к ней. Интересно все-таки, догадывалась ли она по "наводящим" разговорам Лаврика, зачем он, Дима, сегодня здесь?

Однажды ее рука мелькнула совсем близко (они разом потянулись за чем-то на столе), и у него закружилась голова от желания прикоснуться губами к этой нежной, будто источающей аромат юности коже.

Отец Мактины сидел напротив него. Как ни странно, но его присутствие даже придавало сейчас Диме уверенности: возможно, от того, что Расим всегда немного робел перед "ученым" человеком. В чертах Мактины было немало общего с его чертами, и в то же время если их сравнить да еще вспомнить приятную, но весьма заурядную внешность его жены, то невольно задумаешься о том долгом и загадочном пути в поколениях предков, которым должны были пройти все эти линии и черточки, чтобы однажды, после многих "набросков и эскизов", соединиться в лице этой девушки в такой вот чарующей комбинации.

Лаврик вел корабль застолья вперед подобно опытному капитану, ответственному за то, чтобы на вверенном ему судне не было ни одного заскучавшего и обделенного вниманием, — искусно используя попутный ветер шуточных реплик, на которые оказался горазд заместитель тамады Аквсентий Михайлович, и осторожно обходя рифы возможных недоразумений, которые возникают при не так сказанном и не так понятом слове. Тост за Диму он начал произносить не рано и не поздно, а в тот самый что ни на есть подходящий момент, когда участники застолья уже, что называется, разговорились, но еще не устали, когда голова работает ясно и в памяти запечатлевается каждое произнесенное слово, а на душе уже затеплилось чувство безграничной любви к ближнему. Увлекаясь, Лаврик добавлял к создаваемому

портрету все более яркие мазки, но в данном случае его склонность а застольным преувеличениям казалась Диме как нельзя более уместной. Кстати, Дима, единственный из участников пирушки, добился, что будет стоять во время произносимого за него тоста, и это тоже было неплохо, ибо подчеркивало его воспитанность и одновременно то, что он хоть и не намного, но моложе остальных здесь присутствующих.

— Мой друг и брат Лаврик, — принял "аллаверды" Аквсентий Михайлович, — сказал о достоинствах нашего Димы столь емко и полно, что мне трудно что-либо добавить. Но хочу тем не менее внести поправку: имеется все же у нашего дорогого Димы один существенный недостаток...

— Что поделаешь, и на солнце есть пятна, — шутливо развел руками Дима, не сомневаясь в традиционных словах, которые сейчас последуют. Внешне Аквсентий Михайлович напоминал ему сейчас довесок сардельки, но не холодный, магазинный, а уже зарумянившийся на сковородке и обрызгивающий во все стороны кипящим маслом.

— Да, дорогой мой, пора обзаводиться семьей. Чтобы в ближайшее время ты порадовал всех нас, твоих друзей, не говоря уже о родных. Все у тебя, как говорится, есть... Да ты только пальцем укажи, а дальше — наше дело!..

В этом месте Дима едва удержался от желания взять и показать на Мактину — какой бы, интересно, была реакция компании? Расим, проявив понятную в данном случае сдержанность — он-то наверняка был уже введен Лавриком в курс дела — пробормотал лишь несколько стандартных фраз типа: "Всех благ тебе... радости... веселья...", зато Аркадий еще больше приукрасил картину, расписав какую-то оказанную ему Димой пару лет назад мелкую услугу как образец товарищества и самопожертвования. Завмаг, правда, вместо того, чтобы говорить по делу (хотя с другой стороны — что он знал про него?), пустился в воспоминания о дальнем родственнике Димы, ныне покойном Фазлыбее, некогда ворочавшем большими делами в системе заготовок Абхазии и мимоходом упомянутом Лавриком во время его тоста:

— Помню, как-то зашел к нему с ребятами — гости из Москвы приехали, — так он выкатил из подвала бочонок вина литров на сто: "Пока весь не выпьем, не отпущу". Что делать, три дня пили...

Диме было не очень приятно, что из-за этой "птицы", как он мысленно прозвал завмага, разговор незаметно соскользнул с него (другие тоже принялись делиться аналогичными воспоминаниями) на некоего Фазлыбея, который умер лет десять назад и которого сам он почти не знал. Впрочем, может, это было и к лучшему — то, что отблеск славы легендарного дяди пал на него, намекая на фамильное хлебосольство, широту души и материальные возможности самого Димы. Тем не менее в ответном слове он постарался вернуть разговор в его законное русло:

— Спасибо всем за то, что было сказано в мой адрес. Лаврик вообще тут решил надеть на меня лавровый венок. Правда, я должен внести в его слова маленькую поправку...

— Послушайте, — развел руками Лаврик, — ко мне сегодня столько поправок, что я уже начинаю чувствовать себя американской конституцией...

Посмеявшись вместе со всеми, Дима сказал, что еще не успел защитить кандидатскую диссертацию — тут Лаврик "несколько опередил события", упомянул о ее теме — отражении в абхазском фольклоре поры османского владычества, а потом — к слову — заинтересовал всех рассказом об изменении в Абхазии количества красивых женщин. Дело в том, что в период, когда процветала работорговля, массовый вывоз из Абхазии красивейших девушек привел к заметному снижению здесь "среднего уровня внешних данных" — это отмечали многие путешественники. Но из этого вовсе не следует делать вывод, что сейчас среди абхазок меньше "процент" красивых (тут он как бы вскользь взглянул на Мактину), чем, скажем, в пятнадцатом веке: ведь генотип остался тем же, и в последующих поколениях происходило выравнивание соотношения красавиц и, скажем так, менее красивых. В общем, Дима не отделался общими словами и в то же время уделил собственной персоне не так уж много внимания, постарался преподнести аудитории что-то интересное.

И дальше все развивалось нормально. Каждый раз, произнося тост, он говорил толково, несколько раз удачно пошутил, чем завоевал, несомненно, общее расположение.

...Пирушка закончилась во втором часу ночи. Когда они проводили Аквсентия Михайловича, Аркадия и завмага (Дима и Расим оставались ночевать в квартире хозяина), Лаврик придержал Диму у подъезда и шепнул:

— Все идет как надо. Ты набираешь очки. Отец ее уже, считай, наш человек.

— А сама она? — усмехнулся Дима. — Да, я у тебя хотел спросить: когда ей исполняется семнадцать?

— В сентябре...

— Это только через восемь месяцев, значит?.. — не удержался от восклицания Дима. Воистину, чем дальше в лес...

Ночь стояла ясная и теплая, даже в дом не хотелось подниматься. Луна висела над головой золотистым кружком хорошо прокопченного сыра. Когда взгляд Димы скользнул дальше, пальмы с пузатыми чешуйчатыми стволами, росшие здесь вдоль улицы и всегда напоминавшие ему врытые наполовину в землю ананасы, продолжили этот ряд гастрономических сравнений. "Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском, удивительно вкусно, искристо и остро..."

...Дима проснулся посреди ночи от ощущения счастья. Оно было настолько ясным и переполняющим душу, что взглянув на лежащие на стуле наручные часы — их светящиеся стрелки показывали пол-четвертого — он сразу понял, что больше ему сегодня не уснуть.

Неужели все это возможно? Неужели... О, тогда бы он возблагодарил все ошибки, неудачи своей предыдущей "личной жизни": и то, как когда-то, в студенческие годы, остался равнодушен к любви одной славной девушки, о чем потом не раз сожалел, и то, как потом не раз оказывались обманутыми уже его собственные надежды на ответное чувство... Какое везение, выясняется теперь, что они были обмануты!

Да, такой шанс, такой счастливый лотерейный билет выпадает, наверное, раз в жизни, и далеко не в каждой жизни... Шепоток за спиной "неудачно похищенной" и

собственная не самая выгодная роль "срочно мобилизованного" жениха — какая в сущности все это мизерная, смехотворная плата за выпавшее счастье! Рядом, в соседней комнате, сейчас спит (или тоже не спит?) прекрасная юная девушка, которую он, теперь уже можно себе признаться, всегда любил. Да, любил!.. И обстоятельства складываются так, что ее родные не возмутятся, не оскорбятся тем, что он осмелился похитить их сокровище, а наоборот, возьмут ее под белые руки и подведут к нему. А разница лет... Ну, что "разница лет"? Как говорит народная мудрость, "невеста родится, а жених на коня садится". Разве мало вокруг подобных браков (и вообще это в абхазских традициях), и кто сказал, что в них не может быть взаимной любви? В конце концов, разве не влюбился Тютчев, когда ему было сорок семь, в двадцатилетнюю девушку, соученицу своей дочери — "О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней..." — и разве не превзошла потом ее ответная любовь его собственную? Юная душа — это податливая глина, и он, Дима, вылепит из этой девочки именно то, что им обоим будет нужно для счастья. Он научит ее всему тому, что знает и понимает сам, он введет ее в совершенно новый для нее круг людей... Дима представил себя с Мактиной идущими по сухумской набережной, заинтригованные взгляды встречающих знакомых, остановки, разговоры и свою как бы смущенную улыбку: "Да, решил вот на старости лет жениться..." Потом он снова мысленно перенесся в соседнюю комнату и увидел золотистую массу ее волос, рассыпанных по подушке, ее темные брови... Как там, в одной газели Гафиза?

Гафиз убит. А что его убило, -

Свой черный глаз, дитя, бы ты спросила.

Жестокий негр! Как он разит стрелами!

Куда ни бросит их — везде могила.

Шестнадцать лет... "Классический возраст для сластолюбцев", как прочитал недавно Дима в одной книге из жизни старой Бухары. Или там про четырнадцатилетних говорилось? ...Как Мактина обратилась вчера в самом начале застолья к Лаврику? 'Дядя Лаврентий'... Да и как иначе должна она была обратиться? А Дима моложе Лаврика на каких-то три года...

Губительная притягательность этой ситуации, наверное, еще и в том, что все здесь — балансирование на тончайшей грани, отделяющей определенную патологию, как в "Лолите" Набокова, от "святого и всеоправдывающего" чувства любви. В сущности, он был не до конца искренен, когда пытался уверить себя, что тогда, раньше, "и подумать не смел". Смел, смел... Было это, правда, почти на уровне подсознания, как безотчетная тоска, как мимолетный ожог стыда, как тайна, которую человек должен унести с собой в могилу. Хм, какие все-таки удивительные превращения без всякого труда совершает время: когда Диме было тридцать четыре, ему приходилось от самого себя скрывать свои преступные мысли о тринадцатилетней Мактине (уж не педофил ли я?), а в его тридцать восемь — тридцать девять это был бы уже просто "неравный брак".

Возможно, Дима уже вступил в тот возраст, когда все юное начинает притягивать как магнит. Инстинкт стареющих клеток?

Говорят, рядом с юностью, только открывающей мир, и сам молодеешь. Наверное, это подобно тому, как волей-неволей становясь гидом своих гостей, впервые

приезжавших в Абхазию, Дима будто заново начинал открывать для себя те красоты природы, которые их здесь так восхищают.

...Да, а ведь был в счастливом воспоминании о вчерашнем дне, с которым он проснулся, и какой-то горьковатый привкус... Та самая ложка дегтя, без которой не бывает бочки меда... Какой-то эпизод за столом, сказанное невзначай слово? Нет, нет, не то... После всего, когда разошлись гости... Ну да, когда он шел ложиться спать. То взглянувшее на него откуда-то сбоку (мгновением позже понял, что это зеркало) лицо.

Подобное случилось с ним однажды — давним, очень давним летом. В пятнадцать лет (с ума сойти, когда-то ему было на год меньше, чем сейчас Мактине, — ведь было же, было такое!) Дима вместе с родителями отправился в первое в своей жизни морское путешествие — на теплоходе в Одессу, где жили их знакомые. Вечером, немного ошалев от нахлынувших впечатлений и воображая себя пятнадцатилетним капитаном, он обшаривал закоулки громадного корабля и находил все новые лесенки, переходы, площадки... Проходя по очередному коридорчику и рванув на себя очередную дверь, машинально взглянул влево и подумал: "И что это за ладный симпатичный парень в коричневой ковбойке, который так решительно открывает сейчас соседнюю дверь?" Именно так: сперва подумал, а потом уже понял, что это его отражение в занявшем всю стену коридорчика зеркале. В его память навсегда врезались необычность той ситуации, когда он впервые увидел себя совершенно отстраненно, как бы чужими глазами, и то, что при этом он себе понравился. И вот спустя много лет — повторение давнишней ситуации, вызванное, наверное, и некоторой потерей ориентации в пространстве после продолжительного застолья, и тем, что зеркало в этом месте в доме Лаврика прежде не висело... Увы, этот тип с поношенным лицом, который взглянул на него из зеркала вчера вечером, вызвал у него чувство неприязни... Эх, Дима, Димочка, Димуля... Сам-то ты про себя все знаешь. Это ведь только такой неисправимый оптимист и мастер выдавать желаемое за действительность, как Лаврик, мог сказать, что выглядишь ты гораздо моложе своих лет.

Когда-то, впрочем, так и было, но... "чудес на свете не бывает". Хотя в волосах его не появилось еще ни седины и ни "плешинки", он не погрузнел, как некоторые его сверстники, тем не менее признаки увядания, проявляясь то в одном, то в другом, неотвратимо нарастали.

...В последнее время, просыпаясь по утрам, он не раз мертвел при воспоминании — нет, не о каком-то вчерашнем неприятном эпизоде — а только о том, сколько ему лет.

Здесь не было бы, конечно, ничего страшного — не Дориан Грей он в конце концов, — если б к этому времени Дима являлся, как пристало его возрасту, семейным человеком... Нет, совсем не веселое это дело — быть женихом в тридцать семь. "Ну как, ты еще не женился?" — поневоле почувствуешь себя "узником свободы", когда наделенный звучным голосом, но в гораздо меньшей степени таким знакомый начнет с тобой душевный разговор (да еще в переполненном автобусе, да еще под заинтересованными взглядами обернувшихся пассажиров). В иной ситуации и в ином настроении можно еще отшутиться и на вопрос: "Ну, когда женишься?" ответить: "В субботу". "Ва! — удивится и даже чуть оскорбится доброхот.

— А я ничего не слышал. В какую, в эту субботу?" "Да нет". "А в какую?" "Пока не знаю". (И на ком, мол, тоже). Десятки бесед на тему "Почему не женишься?" выработали уже у Димы целую систему мер защиты. Тут и якобы обиженное: "Что я вам, ребята, плохого сделал?", и якобы недоуменное: "Почему всем вокруг плохо, когда тебе хорошо?", и якобы удрученное, со вздохом: "Да какая дура за меня пойдет?" Для любителей афоризмов припасена сентенция: "Самая прочная семья — это та, которая состоит из одного человека", для любителей занимательных фактов — информация: "Знаете ли вы, что самая короткая в мире книга называлась "Советы желающему жениться"? Так вот, текст ее состоял всего из двух слов: "Не надо". Ладно, а если попробовать ответить на этот вопрос — "Почему?" — самому себе? Ну, уж во всяком случае не потому, что Дима был убежденным холостяком. Скорее наоборот — тут он любил сравнивать себя с Левиным из "Анны Карениной" — он придавал браку в своей жизни слишком большое значение! Или, скажем так, был здесь максималистом.

...Не знал, конечно, не ведал мамин брат дядя Энвер, чем обернется для его племянника предложенное им при его рождении имя Дмитрий. Ну что ж, Дмитрий так Дмитрий — родители согласились. И хотя накатывала иногда на Диму волна обиды на этого непрозорливого дядю, сам же себя начинал убеждать: ну, что с него возьмешь, не хотел ведь ничего плохого... Тем не менее это имечко — Дима, соединенное с фамилией Гогия, да еще с пристрастием Димы к отвлеченным умствованиям, породило донельзя обидное прозвище — Демагогия. Оно пристало к Диме еще в старших классах школы, каким-то образом, подобно зловредному вирусу, проникло в студенческую среду, а затем — и на работу. На работе, правда, народ был куда более солидным, дразнилками не увлекался, однако и здесь нет-нет, да и усмехнется кто-нибудь, не желая, скажем, углубляться с Димой в спор: "Ладно, брось ты свою демагогию..."

В общем-то, можно сказать, что в вопросе брака Дима пал жертвой собственной выстраданной концепции — убеждения, что он должен жениться по большой и страстной любви. Один грезит о хоть небольшой, но начальственной должности, другой лелеет мечту прокатиться когда-нибудь с ветерком на собственной "Волге"-матушке, а вот Диме была нужна любовь. Такая, понимаете ли, чтобы каждый день лететь с работы домой как на крыльях, чтобы и через двадцать лет совместной жизни, будучи в отъезде, писать жене нежные письма, которые обычно пишут в преддверии свадьбы, и уж, конечно, чтобы никогда ему не захотелось искать радостей на стороне... Но... Одна за другой печально кончались возникавшее у него время от времени иллюзии. Одна за другой падали на землю сбитые планки, а Дима, потирая место ушиба, уже примерялся к новой, очередной — пока однажды со всей отчетливостью не понял: а ведь ему просто не взять такую высоту. И в молодые-то годы внешность его можно было назвать, скажем так, заурядной (эпизод на теплоходе не в счет, как не в счет случайная удачная фотография), а уж теперь... Не было у него и такого подвешенного языка, как у Лаврика, и наглой самоуверенности парней вроде того, который пытался похитить Мактину... Итак, тупик? Или оставаться в одиночестве в роли вечного охотника за журавлем в небе, или смириться с тем, что тебе положено, и обречь себя на жизнь с постоянным раздражением от мысли, что рядом — нелюбимая? Но ведь и её, нелюбимую,

заранее жалко, ибо она неизбежно будет чувствовать его раздражение, неудовлетворенность, тоску... Оглядываясь вокруг Дима видел, впрочем, что он вовсе не один такой. "Не обижайтесь, — сказала ему одна довольно привлекательная особа лет двадцати восьми, по отношению к которой он обнаружил "серьезные намерения", — но я вообще в жизни такая: лучше ничего не буду есть, чем ту пищу, которая мне не нравится. Уж лучше я еще подожду — пусть год, пусть три..." Вот такая откровенность наотмашь... "Оттого-то, наверное, и держим мы, абхазцы, печальный рекорд по количеству старых холостяков и старых дев на душу населения, что слишком много у нас подобных гурманов, — принялся Дима ее "воспитывать". — Я вот недавно прочел в газете, что тридцать процентов женщин у нас никогда не рожали. Все мы слишком умные, все что-то выбираем. А в итоге — одноклассник вдруг женится в сорок лет на однокласснице... И он ни разу женат не был, и она замужем не была. Так чего ждали? А, может, стоит немного проще на жизнь смотреть? В России вон и про двадцатидвухлетнюю могут сказать: "в девках засиделась", а у нас тридцатилетние девушки смотрят друг на друга, и им все кажется, что они молоденькие... А потом уже оказывается поздно... Вы про буриданова осла слышали? Который все выбирал между двумя охапками сена, да так и умер от голода? Так вот мне порой кажется, что мы на треть состоим из буридановых ослов и ослиц". Увещевал он ее, увещевал, а потом подумал: "А сам-то ты, а сам-то?"

Время шло, и все что-то мешало ему приладить планку на подходящей для себя высоте — той, которую наверняка одрлел бы, и перемахнуть через нее, обеспечив себе на оставшиеся годы, если не счастье, то хотя бы статус "определившегося" в жизни человека. Может быть, прецеденты мешали, когда ничем, как казалось Диме, не лучшие его женихи приводили в дом настоящих фей? И вот теперь... Недаром все же, выходит, тлела в нем эта искра надежды на чудо? Вот он, его последний шанс... Вцепиться зубами в эту возможность и не отпускать, ни за что...

"Ну, ладно, — пришла в голову отрезвляющая мысль, — а вправе ли ты как порядочный человек, которым хочешь себя считать, воспользоваться ситуацией? Ведь не будь ее, этой ситуации

— будем говорить начистоту — ни на что тебе рассчитывать не приходилось бы". Хотя... неисповедимы движения человеческой души... Эх, была бы сейчас у него чудодейственная возможность заглянуть в мир ее мыслей и чувств, увидеть себя ее глазами!.. Но возможно и такое: внушат, предположим, растерявшейся девочке, что ей надо выйти за Диму, а вот потом... Да, сейчас он должен думать и за себя, и за нее.

В сущности, на выбор того самого единственного варианта жизни, который суждено прожить человеку, влияет не так уж много решений: выбор рода занятий, места жительства, наконец, так сказать, спутника жизни... И зная, какой ты сам, нетрудно каждый из вариантов прикинуть. Та самая медсестричка из райбольницы, подруга Арды, — это позволение себя любить, уверенность в том, что дома тебя ждут не дождутся, скука, тоска, взаимное непонимание, отчуждение, спокойная старость. Преподавательница музучилища из соседнего подъезда, о которой все чаще в последнее время заговаривает мама, — это круг интересных знакомых, фортепьяно по вечерам, скука, тоска, спокойная старость. Мактина — радость при утреннем

пробуждении, мысли, где бы перехватить денег (ведь дорогому камню нужна и соответствующая оправка), тревоги, может быть — страдание и сочувственно-насмешливые взгляды окружающих... И все-таки он уже выбрал. Да, выбрал, и желает сейчас только одного: чтобы она согласилась. "Дай прожить всю жизнь ликуя!" Ну же, соглашайся, Мактина, соглашайся!.. Ну когда же, наконец, наступит этот рассвет?

Рано утром, когда все остальные в квартире еще спали, Дима и Лаврик уединились на кухне, чтобы за чаем скоординировать дальнейшие действия. Было решено, что через два дня, в пятницу, Лаврик позвонит и сообщит ему о результатах переговоров с Мактиной и ее родителями. А за это время и Дима примет окончательное (со своей стороны) решение. После этого Лаврик подбросил его на своей "Ниве" до автостанции, а сам поехал на работу. "Ну, Лаврик, — порывался сказать Дима на прощанье, — если ты сделаешь это дело, я тебе... не знаю, 'памятник из чистого золота должен поставить". Но так и не сказал, сдержался почему-то.

...Два дня прошли в лихорадочном возбуждении. Это было странное состояние, когда ходишь, отвечаешь на чьи-то вопросы, сам заводишь разговор — о погоде, грядущих кадровых перестановках, вчерашней телепередаче — а кажется, что досматриваешь сладкий сон. Общение с людьми, разные будничные дела отвлекали, порой даже заставляли на минуту забыть о том, что произошло, но стоило Диме остаться одному и без необходимости что-то срочно делать, он торопился вновь сосредоточиться на мыслях о Мактине. Как легко, оказывается, бывает достижимо состояние счастья — просто сесть в кресло и вспомнить... На работе он предпочел пока никому ни о чем не говорить. Да и что, скажем, дал бы его искренний рассказ обо всем Офелии Карповне — только то, что через полчаса весь институт судачил бы на эту тему? Между тем Дима сразу сообразил, что каким бы ни был исход данной истории, слишком широкая информация о всех обстоятельствах дела ему ни к чему.

Поэтому утром по возвращению из Гудауты, отделившись от вопросов Офелии Карповны уклончивым: "Да, было одно знакомство... Поживем — увидим..." — он принялся названивать Раулю и Сергею: ведь если с кем из друзей посоветоваться, то именно с ними. Договорился с обоими, что они зайдут к нему на работу после шести.

Но первой обо всем услышала все же мама. Пошел домой пообедать — и не утерпел, поделился. И знал ведь, знал наизусть все, что она скажет... Матери и в голову не могло прийти, что такому сокровищу, как ее сыночек, кто-то может отказать. Как же! Ее беспокоило другое: что, выходит, он самый последний, что должен жениться на "опозоренной"? Пусть даже тот парень до нее пальцем не дотронулся, — разговоры все равно пойдут. Там-то, в Гудауте, небось никого не нашлось, кто бы согласился, так этот Лаврик в Сухуме решил дурака найти... А если еще тот парень будет продолжать ее преследовать?

"О Боже! — думал Дима. — О Боже!" Конечно, он совершил непростительную глупость, посвятив ее сразу в эти подробности. Вот если б она сперва увидела ее... — Почему же тогда этот твой Лаврик, — продолжала яриться мать, — раньше ничего

о ней не говорил, если она такая красавица? Значит, только после того, как это с ней случилось...

"Да потому, — чуть было не вырвалось у Димы, — что она еще школу не закончила, в последнем классе учится..." Хорошо, что вовремя прикусил язык.

Спорить сейчас с матерью, знал он, бесполезно. Но знал также и то, что, поворчав, она никуда не денется.

А вечером, после работы, они вместе с Раулем и Сергеем отправились в прибрежную кофейню, чтобы без помех потолковать.

Дима рассказывал обстоятельно, стараясь ничего не пропустить, и друзья слушали его не перебивая.

— Что ж, Дима, — сказал после некоторого молчания Рауль, своим неповторимо-изящным движением стряхивая пепел сигареты в опустевшую кофейную чашку. — Если она действительно тебе нравится, то давай... Единственное, что меня смущает... Ты не боишься неприятностей — на работе и вообще?... Я имею в виду, что эта твоя девочка еще не закончила школу...

— Почему должны быть неприятности? — пожал плечами Дима. — Шестнадцать ей есть? Есть. Значит, в конфликт с уголовным кодексом я не вступаю. А через несколько месяцев будет семнадцать, тогда и официально можно зарегистрироваться...

— Все правильно, с юридической точки зрения нарушений нет. Но я же тебе про школу толкую. Это всегда ЧП, понимаешь? Когда я в школе работал, в Сухумском районе, одна из моего класса вот так же замуж выскочила, не доучилась. Ну, с нее-то что уже возьмешь? С мужа ее, колхозного пастуха — тоже. А вот мне, как классному руководителю, да еще директору и секретарю парторганизации школы — всем по выговору закатали. А ты как думал? За ослабление воспитательной работы...

— Ну, во-первых, она здесь, в городе, в вечернюю пойдет... а во-вторых, я-то тут при чем? Не я же ее воровал... А теперь она все равно из колеи выбита, все равно в силу, как говорится, сложившихся обстоятельств в школу свою не вернется...

— Дима, — мягко сказал Рауль, — я эту ситуацию понимаю, и ты понимаешь, и все, предположим, по-житейски понимают. Но официально тебя спросят: "А почему именно ты, молодой научный работник, должен идти на поводу у отживших представлений?" И будут тебя все, кому не лень, склонять и спрягать...

— А-а, ну спросят, и спросят. Кто-то не одобрит, кто-то поддержит...

К тому же, знаешь, по-моему, от меня давно уже не ждут ничего экстравагантного, даже обидно. Пусть поговорят...

— А я вообще-то немного не понимаю, — вступил в разговор Сергей. — Вот вы все повторяете: обстоятельства, обстоятельства... А что уж за такие обстоятельства? Девчонку вернули, причем, как заверил нас Дима, похититель не успел сдуть с нее пыльцу невинности. Порок наказан, добродетель торжествует. Так почему ей нельзя вернуться домой, закончить школу, потом поступить дальше учиться — куда она захочет, выйти замуж — тоже когда захочет и за кого захочет? Сколько можно держаться за эти дедовские обычаи?

В душе у Димы шевельнулось неприятное чувство: вроде бы Сергей говорил и правильно, но говорил не как его друг, а как посторонний человек.

— Видишь ли, — начал терпеливо объяснять ему Рауль, — ты прав с точки зрения общечеловеческой морали, как современный здравомыслящий человек. Но есть еще и мораль, нравственные догматы определенной общности людей, и для блага самой же девушки, которая в эту общность входит, ей лучше им подчиниться. Да и не такие уж глупые эти дедовские обычаи. Во-первых, когда вот так, экстренно, выдавали девушку замуж, то лишали ее преследователя возможности повторить похищение. Есть еще и "во-вторых". В школе, вообще в ее селе, на нее уже не смогут по-прежнему смотреть. Понимаешь? Кто-то поверит, что было именно так, как мы слышали, кто-то не поверит, кто-то выскажет одну версию, кто-то вторую, кто-то третью... Зачем ей это надо? Ну, а замужество сразу снимает все вопросы и прекращает все разговоры. Убедил я тебя?

— Ну, допустим... — пробурчал Сергей, короткой своей стрижкой и круглолицем так не похожий на отца двоих детей, но, подумав, добавил: — Хотя, по-моему, надо же с этим рано или поздно кончать.

— Ребята, — заговорил Дима, — меня сейчас совсем другое волнует. Понимаете, если она скажет "нет", — на "нет" и суда нет. Тогда все вопросы отпадут. Если осознанно скажет "да", если я ее действительно чем-то заинтересовал, тогда... тоже понятно. Ну, а если она согласится, но согласится как ребенок, который боится послушаться старших и не понимает всей серьезности того, что происходит, — вот это самое худшее. Иногда я начинаю чувствовать себя преступником... Есть в этом что-то такое... будто воспользоваться беспомощным состоянием...

— Кажется, это уже начинается Дима Гогия, — толкнул Сергей Рауля локтем. — Узнаешь?

— Ладно, — отмахнулся Дима. — Ты ведь все прекрасно знаешь и все понимаешь и наверняка согласен со мной. К тому же не забудьте, что в семейно-брачном вопросе я — максималист. Если уж идти на этот шаг...

— Недавно я где-то прочитал такое определение, — перебил его Сергей, — "максималист — это мужчина маленького роста, женившийся на баскетболистке". Диму чуть уколола эта фраза, но он не успел разобраться, почему, так как Сергей начал припоминать всех своих знакомых, которые женились с большой разницей в возрасте, и рассуждать, как у кого сложилась жизнь.

— Да, кстати, Дима, не забывай и о таком деликатном вопросе... насчет супружеского долга. Что ты будешь делать лет через двадцать, когда ей исполнится 36, а тебе — 57?

— Как что? Разведусь и снова женюсь на семнадцатилетней.

— Ну, это из анекдота...

Так они долго сидели в тот вечер, пока Рауль после одной из реплик Димы не сказал, усмехнувшись:

— А по-моему, ты уже давно все решил и только хочешь соблюсти видимость коллегиальности. А? Признавайся... Тогда женись и ни у кого ничего не спрашивай. Дима смущенно опустил голову, но тут же поднял ее:

— Да, только давайте не забывать: у нас сейчас здесь военный совет в Филях, но наверняка такой же совет — может быть, именно сейчас, в это время — идет там, в Гудауте или Алре. В пятницу, в одиннадцать утра я жду звонка от Лаврика.

— Ну и лады, — хлопнул его по плечу Рауль. — Если там будет все нормально, имей в

виду, мой "Жигуль" в твоём распоряжении. Если надо — "Волгу" достанем, у одного моего товарища есть. Поедешь, Сергей?

— Какой разговор? — развел тот руками. — Эх, гульнем на проводах!..

Ну что, Лжедмитрий, уже подумал, куда её повезешь?

— В Пицунду, наверное. Там у нас родственники, на два-три дня всегда можно остановиться, и предупредить не надо. А потом можно было бы в Сочи съездить...

...В четверг вечером Дима слонялся по квартире не в силах найти себе места и уже заранее зная, что сегодня ему не сомкнуть глаз. (Почти не спал он и в предыдущую ночь, но нервное возбуждение не только не иссякало, но и, казалось, нарастало. Видимо, в организме были сейчас мобилизованы какие-то резервы, которые не позволяли свалиться с ног). Так и вышло: эта, последняя ночь, которую он проводил в неизвестности, оказалась и самой кошмарной, самой мучительной. В сущности, все уже было думано-передумано, но в мозгу будто работала гигантская мясорубка, прокручивая и прокручивая заново сладкое месиво мыслей, воспоминаний, видений из будущего — разве что с новыми подробностями и вариациями. А под утро Дима вдруг похолодел от мысли, что все эти бессонные ночи, раздумья и советы в Филях — все это впустую, бесполезно. Потому что — ну, надо ли ломать голову, чтобы додуматься до такой очевиднейшей истины? — Мактина никогда не согласится выйти за него замуж. Ну с какой, спрашивается, стати ей выходить за него? Потому, что это пришло в голову Лаврику?

И на работу Дима утром ехал помертвевший, уже готовый к отказу, почти успокоенный,

Лаврик, надо отдать ему должное, позвонил почти ровно в одиннадцать, с опозданием минут на десять:

— Все в порядке. Мактина ждет тебя вечером — с чемоданами и все, как положено.

Ты уже продумал маршрут?

Дима сидел за столом странно размякший, будто из тела его вынули все кости.

— Послушай... Ты серьезно? Она согласилась, ты говорил с ней?

— А ты не знаешь разве, что если я берусь за дело... — в голосе Лаврика послышались самодовольные нотки.

— Хорошо, я понял. Сегодня в семь часов вечера я приезжаю с двумя друзьями на "Жигулях". А потом едем в Пицунду, я сейчас позвоню туда своим, — Дима автоматически включил блок памяти с "положительным" вариантом разговора. — Послушай, а у нее хоть паспорт-то есть?

— Конечно, есть, — ответил Лаврик, но, как показалось Диме, недостаточно уверенно.

Мама смирилась быстро: собственно, она и так была уже готова к этому решению. А родственникам в Пицунду звонить так и не стал — может быть, из суеверия.

Впрочем, это такие родственники, которых никакие гости врасплох не застигнут.

...К семи в Гудауту приехать, конечно, не успели. Дима мельком взглянул на часы, когда они поднимались в квартиру Лаврика — было пять минут девятого. И первой — надо же — кого он увидел, войдя в переднюю комнату, была Мактина.

Тут же появились Лаврик с Ардой, началась церемония их знакомства с Раулем и Сергеем. Потом Лаврик, естественно, потянул гостей к накрытому по этому случаю столу: "Присядем на дорожку". Димой все это время владело странное ощущение

расслабленности, которое приходит, когда все вокруг совершается уже помимо твоей воли. Он машинально поднимал бокалы с шампанским, машинально что-то выслушивал, и в то же время все внимание его было сосредоточено на двери в соседнюю комнату... Боковым зрением наблюдал, как Мактина с Ардой входили и выходили из нее с разными вещами в руках, а один раз в проеме увидел и стоявший на полу полураскрытый баул — по всей видимости доукомплектовывались те самые "чемоданы". "Вот так просто и буднично, — подумалось Диме, — будто собирается к подруге на каникулы. А вдруг она и не знает, куда и зачем мы едем?.. Ну нет, на такую авантюру Лаврик не мог, конечно, пойти. Но в любом случае перед тем, как мы сядем в машину, я обязан с ней поговорить, иначе все это будет напоминать какой-то фарс".

— Я должен поговорить с Мактиной, — шепнул он, улучив момент, сидевшему рядом Лаврику.

— Я же сказал: все в порядке, — так же шепотом ответил тот.

Дима промолчал и вышел на кухню — но только для того, чтобы спустя полминуты решительным шагом, хотя и стараясь не привлечь к себе внимания, пройти в комнату, где заканчивались сборы. Мактину он застал складывающей ту самую белую блузку, в которой она была в прошлый раз, на дне рождения Алхасика, а Арду — склонившейся над баулом и что-то перебирающей.

— Арда, извини, ты не могла бы... на минутку... Нам с Мактиной надо поговорить. Арда, как будто только и ждала этих слов, бесшумно выскользнула из комнаты.

"Нам", — усмехнувшись, отметил про себя Дима. — Я сказал не "мне", а "нам". Значит, я уже не отделяю ее от себя? Не слишком ли самоуверенно?"

— Мактина, присядь, пожалуйста, — он почувствовал себя облеченным властью взрослого, который разговаривает с ребенком (хотя разве не так, собственно, и было?), и поэтому держался куда более уверенно, чем мог до этого предположить. Сам первым сел на тахту и дождался, пока Мактина опустилась поодаль.

— Дядя Лаврентий мне сказал, что у вас с ним был недавно один серьезный разговор и что в этом разговоре упоминалось мое имя. Было такое? Да? Мактина кивнула и опустила голову.

— Ну, хорошо, только прежде, чем ты что-то скажешь, я хочу высказать свое мнение. Понимаешь, Мактина, как бы ты или я ни относились к тому, что предложил дядя Лаврентий, я уверен в одном: он абсолютно искренен в своем желании нам обоим добра. Ты, Мактина, росла на моих глазах, и я относился к тебе как к красивому ребенку, красивому цветку. Не восхищаться тобой было нельзя, но я, конечно, и подумать никогда не смел... Но сейчас, после того, как Лаврик мне это сказал и я обо всем столько передумал... Теперь я смогу быть счастлив только с тобой. Только с тобой. Без тебя, Мактина, я буду глубоко несчастным человеком. Я это знаю...

Мактина напряженно слушала, не поворачивая к нему лица.

— Но я должен твердо знать и другое: что ты собираешь сейчас вещи по своей воле. Где-то я слышал такие слова: если женщина любит, то даже когда она дает тебе пощечину, ты будешь чувствовать теплоту ее руки, если же нет — между вами навсегда будет могильный холод, пусть за всю жизнь она не скажет тебе поперек ни единого слова. Конечно, такого, чтобы оба любили одинаково, почти не бывает, и я

не тешу себя особыми надеждами... Просто, может быть, потом... Главное, что для меня сейчас важно — чтобы ты меня не ненавидела.

Мактина продолжала молчать, опустив голову и водя рукой по грубой, бородавчатой поверхности тахты. Дима попытался взять ее руку в свою, но она ее быстро убрала, почти отдернула и тут же подняла на него умоляющие глаза, в которых, как ему показалось, сверкнули слезы:

— Я вас очень прошу... если можете... я не хочу выходить за вас замуж... Вы такой... намного больше меня знаете, видели, зачем я вам? А я еще учиться хочу... Я уже два года готовлюсь... Ну, представьте, если б я была вашей сестрой!

Дима сидел оглушенный.

— Ну, если все дело в учебе... Подожди, закончишь школу в Сухуме... вечернюю там или еще какую... Подготовишься, я буду тебе помогать...

Мактина изо всех сил замотала головой:

— Нет, нет...

Совсем рядом — ее беленькое, такое нежное лицо...

Чудес на свете не бывает... Возвращайся, сверчок, на свой шесток.

Дима еще некоторое время сидел молча, потом пробормотал: "Прости меня", — и вышел.

Когда он сел за стол, Лаврик оживился и начал снова наполнять бокалы, но Дима тут же поднялся и, ни на кого не глядя, потянул его из комнаты. На кухню? Нет, дальше, на лоджию... Вот сюда, где гуляет свежий ветер и раскинулись внизу черепичные и шиферные крыши частных домов.

— Лаврик, я должен тебе сказать... Все отменяется... Мактина никуда не поедет. Понимаешь, я не могу увезти ее, зная, что она этого не хочет...

Лаврик стоял, опершись руками о перила, молчал. Почему-то он сразу понял, что переубеждать Диму будет бесполезно.

...Спускаясь с лестницы и слыша за собой топот ничего пока так и не понявших друзей, Дима представлял, как они сядут в машину, помолчат с минуту и как он сам начнет все рассказывать. Как Сергей хлопнет его по плечу: "Ничего, не переживай, найдем мы тебе еще спутника жизни!", а Рауль начнет рассуждать на тему, что нет худа без добра, и вспоминать, от скольких лишних проблем и сложностей Дима разом освободился. Но все это будет потом... А пока — лишь стремительный спуск и гулкий топот в лестничных пролетах.

Так получилось, что с Лавриком после этого Дима встретился лишь спустя полгода. В их дружбе, впрочем, и раньше бывали периоды... нет, не охлаждения, а как бы перерыва, когда они по несколько месяцев не звонили и не заезжали друг к другу — просто недосуг было. При желании и нынешнее их отдаление можно было бы объяснить примерно так же, но, если положить руку на сердце, было на этот раз и нечто иное. Дима со своей стороны во всяком случае чувствовал, что натянутости в первых словах, которые он произнесет при встрече с Лавриком, ему не избежать. Обстоятельства этой встречи сложились, однако, как нельзя более благоприятно для того, чтобы не было возможной неловкости. Они встретились на свадьбе одного их общего знакомого, за несколько минут до того, как гостей должны были пригласить за столы, когда в просторном дворе хозяйского дома еще продолжались

приветственные восклицания, объятия и взаимные расспросы о житье-бытье. Лаврик, по обыкновению оживленный и прочно завладевший вниманием небольшой аудитории в тени раскидистого ореха, первым увидел и окликнул его. Они расцеловались. Уже направляясь к месту умывания рук (после того, как началась посадка и было решено, что они сядут вместе), Лаврик придержал Диму за локоть:

— А вот, кстати, и Мактина с мужем. Надо подойти.

Это была и та, и не та Мактина: те же каштановые волосы, тот же цвет глаз, овал лица, но принадлежавшие уже не ласковой и шаловливой, как котенок, девочке, а маленькой женщине со "взрослой" прической, подведенными глазами и подкрашенными сиреневой помадой губами. "Как тот же цветок, только засушенный в гербарии и успевший чуть-чуть поблекнуть", — подумал Дима и сам же поморщился от манерности этого сравнения. А в следующий момент в его голове все перемешалось, потому что рядом с Мактиной был тот самый заведующий магазином "Птица", с которым он познакомился когда-то за столом у Лаврика и имени которого не запомнил. Завмаг то и дело утирал свое благодушное лицо платком. Темно-желтые волосы его, влажные от жары, были зачесаны на какой-то особый манер: длинные их пряди, начинающиеся на затылке, тянулись вперед через голое темя и заканчивались сплетенным на лбу кокетливым подобием чубчика. Так это его, что ли, Лаврик назвал мужем Мактины? Дима успел пробормотать

что-то среднее между приветствием и поздравлением, пожать обоим руки, а потом супружескую пару увлек с собой поток людей. Дима же отправился за другой стол с друзьями Лаврика. Сели Мактина и завмаг, впрочем, не так уж далеко, и в течение всего застолья Дима мог наблюдать за ними.

"Она, конечно, вначале не соглашалась, а теперь, по-моему, довольна... Одел ее как куклу... Я, правда, ты помнишь, хотел, чтобы за тебя вышла...", — рассеянно слушал он пояснения Лаврика, сам в это время додумывая начатую мысль про завмага:

"Неужели эти люди не понимают, что если плешистый вызывает сочувствие — да и что тут такого, мало ли их таких, то скрывающий свою плешь — еще и презрительную усмешку... Фу, и противно же было на него смотреть, на эту его "прическу"... Значит, он тоже был холостяком?.. Да, этот-то наверняка не стал расспрашивать: "Ты по своему желанию идешь или нет?.." И не рефлексировал, взглянув на себя в зеркало..." Выходит, ему, Диме, надо было просто поменьше рассуждать?

Лаврик должен был в этот день попасть еще на другой свадебный стол, в соседнее село, и, лишь изредка прислушиваясь к микрофонным громоуханиям тамады, вел в своем окружении мини-застолье по укороченной программе. Дима, узнав, что в его машине будет свободное место, решил поехать с ним до трассы: ему не хотелось испытывать судьбу не только потому, что потом можно было остаться без попутного транспорта, но и потому, что в конце свадьбы, когда гости стали бы расходиться, он, подвыпивший, мог не удержаться и начать задавать Мактине всякие ненужные вопросы.

Тамада успел провозгласить только четыре или пять тостов, а Лаврик уже рассказывал свою прибаутку, которой он обычно заканчивал застолье, если куда-то

спешил. Это был рассказ о некоем семидесятилетнем Илларионе Харазия, который, гостя в одном горном селе и выпив неимоверное количество вина, захотел прокатиться на едва обьезженном жеребце. Как его ни отговаривал, ни убеждали, он стоял на своем и не успокоился, пока ему, наконец, не помогли взгромоздиться на коня, с которого, естественно, он через секунду слетел. К счастью, все обошлось благополучно. Когда к нему подбежали, он сам приподнялся на локте и сказал — почему-то по-русски, хотя по-русски почти не знал:

— Вот и все, — с этими словами Лаврик решительно поднялся из-за стола.

— Вот и все, — подумалось Диме.

1989 г.

Непорочное зачатие

— Вадим, давай так, — Рамиз сделал глоток кофе и осторожно поставил чашечку на блюдце. — Я объясняю суть — ты слушаешь, а потом говоришь "да" или "нет". Если "нет" — я извиняюсь, что побеспокоил, и будем считать: я тебе не звонил и ничего не говорил. Ладненько?

Два одноклассника, выпускники Сухумского пединститута образца 1968 года, сидели в уютных поздних сумерках на благословенной верхней площадке ресторана "Амра", а вокруг в последних всхлипах ресторанных оркестров, в колыханьи поредевшего курортного "хода" на набережной, в огоньках прогулочного катера в море отмирал бархатный сезон-77.

— Ох, как ты любишь обставлять все это... словесами, — широкоплечий и русоволосый, чем-то очень напоминающий плакатных комсомольцев с призывными лицами собеседник хлопнул по плечу маленького, чернявого, порядком уже полысевшего. — Рамиз, будь проще, и к тебе потянутся люди. Давай ближе к делу, а?

— Ближе так ближе. Представь себе женщину... ну, нашего с тобой примерно возраста, инвалида с детства. Сильно, скажем так, хромающую. Кажется, тяжелые последствия полиомиелита... Шансов выйти замуж практически нет. Она отдает себе в этом полный отчет, но очень хочет родить и воспитать ребенка. Причем внешне она совсем не крокодил какой-нибудь... Я уже говорил тебе, что дело слишком необычное и щепетильное. Она — отдыхающая из Брянска. Мне о ней недавно рассказали, познакомили...

— Ну-ну...

— В общем, план предельно прост: завтра вечером мы с тобой приезжаем ко мне, я на часик удаляюсь погулять, а тыходишь в спальню. Там будет полная темнота, чтоб ни ты ее не видел, ни она — тебя... Раздеваешься, делаешь свое черное дело, одеваешься иходишь.

— Интересно!.. Почти как непорочное зачатие... Только на голубя я не очень похож.

— Да уж, — оживился Рамиз, — такого голубка — ростом метр восемьдесят пять и весом... Сколько?

— Ну, неважно...

— В общем, понимаешь... Материально она обеспечена, с хорошей профессией, умна... То есть женщина, которая могла бы стать прекрасной матерью. Выходить замуж за кого-нибудь себе подобного... в смысле инвалидности — без любви не хочет. Да и вообще, по-моему, замужество ее не прельщает. А вот ребенок для нее — все...

Вадим не трогал пока свою чашку, дожидаясь, пока в ней полностью осядет именуемая на жаргоне сухумских кофеен каймаком — в переводе с турецкого "сливки" — светло-коричневая пенка.

— Ты хочешь спросить: почему бы ей кого-нибудь не усыновить? — продолжал Рамиз. — Но она мечтает воспитывать своего ребенка, именно своего, понимаешь? Ты хочешь иметь своего ребенка, я хочу... Вот и она тоже...

— Нет, я хочу спросить совсем другое. При чем тут я?

— Вопрос закономерный, — с готовностью кивнул Рамиз, но Вадим, не слушая его, продолжал говорить:

— Бог ей, как говорится, в помощь, но зачем надо было за этим делом в такую даль ехать? Что ей мешало завести в том же самом своем Брянске... или Бердянске какого-нибудь... одноразового мужа? Хромота для этого, по-моему, не такая уж помеха...

— Объясняю, — вздохнул Рамиз, — хотя ты, думаю, и сам прекрасно все понимаешь. Не, хочет она никаких этих историй про соблазненную и покинутую... К тому же, как она говорит, в их городе треть мужчин отягощена алконаследственностью. То есть, так сказать, прирожденные пьяницы... Вообще мужчины в ее жизни были, не беспокойся. Но ей ведь какой нужен? Чтоб высокий был, статный, красивый, высокообразованный, во всех отношениях порядочный... И притом она такого хочет, чтоб никогда с ним в жизни больше не встретиться. Понимаешь? В нашем городе-курорте она, насколько я знаю, впервые и больше сюда приезжать не собирается... В общем, дело, конечно, твое, но вспомни римского императора Веспасиана, который говорил: "Друзья, я напрасно прожил сегодняшний день: я не сделал ни одного доброго дела..."

— Ага, спешите делать добрые дела... Ну, а чего ж ты сам, если такой добрый, за это дело не взялся?

— Ладно, Вадик, — исподлобья взглянул на него Рамиз, — чего ты все непонимающего разыгрываешь? Какой из меня "производитель"? Метр с кепкой, на голове каждая волосинка свое имя имеет... Как говаривал один литературный персонаж, одно про себя знаю точно: я никогда не буду высоким и красивым. К тому же, как ты помнишь, я старый холостяк... Ну, не совсем старый, но одному Богу известно, будут ли у меня дети. А у тебя прекрасная здоровая дочка. Сам — красавец-мужчина, кудрявый бог, косая сажень в плечах, спортсмен, молодой кандидат наук... Что еще надо?

— Ладно, остановись, дружок: лезть тут не поможет. Я уже понял, что ты высоко ценишь меня как производителя, но участие в этой... случке меня как-то совсем не вдохновляет. Пойми... Я уже не в том возрасте, когда мог бы пойти на такое приключение ради лишней... Поищи лучше среди молодых ребят, голодных... Вон сколько около турбаз ошивается!

— Не знаю, ты в самом деле не понимаешь, или... Скажи: что тебя смущает? Если о

твоих семейных отношениях говорить, то, по-моему, изменой это не назовешь... С твоей стороны это ведь, можно сказать, будет чисто механический акт. Хотя Лиане, конечно, ничего говорить стоит...

— Да при чем тут это!.. "Измена"... Какая еще измена... Я не о том думаю. Может, другому кому все равно, что где-то будет расти, взрослеть плоть от его плоти, а мне не все равно...

— Так никто же никогда тебя и в мыслях не упрекнет. Наоборот, благодарны будут — что ты человеку жизнь дал...

— И потом непонятно, как она сама... Вот именно, как ты сказал, "механический акт". Ну, я-то ладно... А она? Вот так, не зная совершенно человека... Да мало ли кто я такой?

— Ну, во-первых, один раз она тебя видела...

— Интересно... И когда это, где?

— А вот это уже неважно.

— Вот оно что, — присвистнул Вадим, — так вы меня, оказывается, уже обложили как волка красными флажками...

— А во-вторых, она доверяет моему знанию кандидата, так сказать...

— Послушай, а ты-то сам чего так активничаешь?

— Исходя из все тех же принципов императора Веспасиана... Ну, одна очень хорошая знакомая меня очень попросила помочь... Эта отдыхающая у нее на квартире остановилась. В общем, Вадик, подумай сегодня вечером, а завтра с утра я тебе позвоню. "Да" — да, "нет" — нет. Я ж тебя понимаю: это дело такое...

— Ладно, я подумаю. Хотя сразу хочу сказать: вряд ли...

— Ну... — развел руками Рамиз. — На "нет" и суда нет.

Вечером следующего дня, когда они в полупустом троллейбусе ехали к Рамизу, Вадим всю дорогу был в думках и только уже входя в подъезд произнес:

— Как ее хоть зовут?

— Вадим... — Рамиз приостановился, укоризненно посмотрел на него, — ну, зачем это тебе? И вообще она просила: когда будешь там, ни о чем с ней не разговаривай, ничего не спрашивай... Пусть это будет... действительно как непорочное зачатие... Они поднялись на третий этаж, в двухкомнатную квартиру, где после смерти матери Рамиз проживал в одиночестве.

"Ага", — удовлетворенно произнес Рамиз, заглянув в смежную спальную комнату и осторожно прикрыв за собой дверь. — Все в порядке." Он принес из кухни графинчик с чачей и два маленьких стакана, тарелку с орехами, потом спохватился: "Нет, тебе как раз не надо." Налил только себе, поднял стаканчик: "Ну, за то, чтобы добрые намерения оборачивались благими результатами..." Посидели, поочередно щелкая щипцами орехи. "Ох, не нравится мне все это", — вздохнул Вадим. Просто так вздохнул, для облегчения совести. "Тсс, — прижал палец к губам Рамиз и показал рукой в сторону двери. — Может услышать..." И, перегнувшись через стол, горячо зашептал: "Ты что? Знаешь, как она этого ждала, как готовилась. Дни высчитывала, чтоб наверняка. Если вздумаешь сейчас уйти — человек может тронуться!.." "Ладно, успокойся," — похлопал его по плечу Вадим.

Спустя минуту после того, как за Рамизом защелкнулся замок входной двери, он поднялся, выключил в комнате свет и, стараясь ступать неслышно, подошел к двери в спальню. Вспомнился почему-то старый анекдот про зоотехника, который закончил на ферме искусственное осеменение, и, когда уже собирался уезжать, одна корова с большими грустными глазами просунула голову в окно его легковушки и печально спросила: "А поцеловать?.." "Ну, уж целовать я ее не буду", — подумал Вадим. Сердце тем не менее колотилось, как будто ему было восемнадцать и за дверью его ждала прекраснейшая из девушек. "Нет, доведет меня когда-нибудь этот мой авантюризм или моя доброта, как называет это Рамиз", — усмехнулся он и толкнул дверь...

В спальней комнате стояла кромешная темнота. Вадим наощупь двинулся вперед и, сделав три мелких шага, наткнулся на чью-то руку. Эта нежная женская рука, поданная, видимо, с постели, мягко потянула его за руку к стоявшему впритык с кроватью стулу. Он разделся, аккуратно повесил на спинку стула брюки, рубашку, майку и нащупал в темноте одеяло. Кровать чуть слышно скрипнула — для него освободили место.

Он лег, почувствовав крахмальную ломкость свежего постельного белья и чье-то гладкое плечо. "Ну что ж, полежим, помолчим..." Но пауза длилась недолго. Все та же невидимая маленькая теплая рука, осторожно коснувшись плеча Вадима, пустилась в путешествие по его шерстистой груди. Он повернулся и почувствовал под рукой высокие упругие груди (у него чуть было даже не вырвалось нелепо-бестактное: "Ого!"). "Что ж, совсем без "артподготовки" было бы неудобно", — подумалось ему, и когда женщина стала осыпать быстрыми, похожими на теплый дождь, поцелуями его лицо, шею, уже и сам, обхватив руками ее голову с короткими, мягкими, чуть курчавыми волосами, припал к ее губам поцелуем, на который она не замедлила ответить. Женщина эта была если не искушена, то, несомненно, талантлива в любви. И сейчас, обнимая ее, глядя ее плоский живот, плечи, руки, Вадим испытывал смешанное чувство: удивления и сострадания к той, чье дивное, будто созданное для ласк, но искалеченное болезнью тело так, очевидно, жаждало любви и жаждало материнства. Вот ведь и про свое решение не целовать ее он моментально забыл... Интересно было бы все же увидеть ее лицо, но в глухой темноте, которая стояла в комнате (наверное, окна были плотно занавешены), это было невозможно. Разве что встать и включить свет... Но нет, такое себе он не мог позволить.

Делая вид, что ласкает женщину, Вадим успел несколько раз провести рукой по ее лицу и ощутить гладкость кожи и, как ему показалось, правильность черт... Впрочем, и Рамиз ведь его заверял, что она совсем не уродка. Ну да какая ему разница! Его дело — совершить то, о чем просили; просто неудобно было сразу браться за это как за чисто механический акт, вот и решил сделать все по-людски... Рамиз словно сторожил момент, когда можно будет возвращаться: тут же раздался звук захлопываемой входной двери, щелкнул выключатель в передней комнате. И все же перед тем, как встать и начать одеваться, Вадим спросил шепотом незнакомку-невидимку: "Как вас хоть зовут?" В ответ она коснулась губами уголка его губ (он почувствовал капельки пота, выступившие над ее верхней губой) и отрицательно помотала головой.

"Может, она еще и немая?"

...Рамиз, выяснив, что все в порядке, налил по стопке и, когда они выпили, тут же потянул Вадима на улицу: "Ей же еще собираться, добираться надо..."

Хромоножка, видно, быстро уехала. Во всяком случае когда через несколько дней при встрече с Рамизом Вадим спросил о ней, тот неопределенно покрутил кистью руки: вроде уже нет ее... Вскоре другие события оттеснили воспоминания об этом вечере, тем более, что с Рамизом он почти не виделся. Примерно через год, правда, увидя Вадима в троллейбусе, Рамиз расплылся в улыбке и стал проталкиваться к нему, издали показывая поднятый вверх большой палец. А когда добрался, выдохнул ему в ухо: "Сын." Вадим сразу и не врубился, о чем он... "Отличный мальчик получился, как она пишет, — рассказывал Рамиз, — четыре двести..." Вадим и сам тогда не понял: порадовало его это событие или... Наверное, все-таки порадовало: не зря, выходит, все дело затевалось. Раз уж так эта хромуля (или хромуша) хотела, то и пусть...

* * *

— Я вас слушаю. Алло...

— Инга? Здравствуй.

— Здравствуйте. А кто это?

— Ты что, однокашников не узнаешь? Кстати, знаешь, что такое "однокашник"? Как я недавно узнал, "больничный завтрак", ха-ха...

— Что-то я...

— Вот тебе на... Десять лет вместе, почти, можно сказать, за одной партой... Могла бы и запомнить мой неповторимый баритон, а?

— Вадим, ты что ли?

— Ну, слава Богу... Как жизнь, как здоровье, как семья, как дети?

— Спасибо, тихо-тихо... А у тебя?

— В целом и общем — нормально. Слушай, у меня к тебе разговор... Но абсолютно не телефонный. Когда ты сегодня работу заканчиваешь? В шесть? Ну, я подъеду...

Вадим в задумчивости подержал телефонную трубку над аппаратом, потом медленно разжал пальцы. Трубка с лязгом упала на рычаги.

Ну что ж, о встрече — сумев к тому же сохранить непринужденный, какбымеждупрочимный тон — договориться удалось. Теперь надо продумать, как построить предстоящий сегодня разговор, хорошо продумать... Откуда оно все-таки взялось, это наваждение? Нелепица, конечно... Но какая-то неотступная нелепица. Когда он в прошлом году стал подвозить Астика... (Господи, что в самом деле за манера дополнять абхазские имена русскими уменьшительными суффиксами! Астик, Ахрик... Недавно его покорило совсем уж, казалось, непредставимое: вместо "Рица" — "Рицка"...) Когда стал подвозить Астамура в школу вместе с этим его щедрым товарищем, сыном соседей... И потом, когда издали увидел Ингу с

Астамуром в городе, переходящими улицу... Ну, а толчок? Что все-таки послужило толчком? Его невинный вопрос в машине: как папу зовут, как маму?.. Или раньше — вопрос знакомого, которого он как-то тоже посадил в машину: "А это твой, наверное? Похож..." (Знакомый долго не мог поверить, что этого мальчика он просто подвозит в школу). Или лихорадочное перелистывание семейного альбома в поисках той фотографии и, наконец, разглядывание себя — в старорежимной мешковатой школьной форме, застывшего в неловкой напряженной позе — локоток на круглом столике, другая рука опущена по швам — но с теми же, черт побери, абсолютно теми пухлыми губами, ямочкой на подбородке, очертанием бровей, завитушками волос на лбу...

И тут же, пролистав альбом дальше, наткнулся на другой снимок — коллективный портрет их 1-го "в". Эту единственную — во время выпуска почему-то так и не снялись — фотографию своего класса он и раньше любил рассматривать. И в детстве еще, и позднее... Но теперь вдруг поразился своему наивному открытию: вот ведь оно, путешествие во времени, вот она, так часто грезившаяся возможность снова оказаться в стране детства — пусть только наблюдателем и пусть одной лишь неподвижной, навеки вечные застывшей картинкой... Дяденька фотограф жестом иллюзиониста снял с объектива черную крышечку — и навеки вечные остановил мгновение того майского солнечного утра: тридцать мальчиков и девочек, чинно рассевшихся на стульях в актовом зале школы... По правую руку от учительницы сидит и через сорок лет все так же доверчиво смотрит на него этот ушастый мальчик с подшитым огромным белым подворотничком — он сам. Впрочем, все они здесь ушастые и с подворотничками... Хм, как смешно открыт рот у этого толстощекого бутуза — Толика Чичба, в будущем директора универмага, лет восемь назад погибшего в автоаварии... Одно лицо в заднем ряду размыто — ну, конечно, разве мог Вахтик хоть секунду усидеть неподвижно, даже перед объективом?.. Для стороннего взгляда, скажем, типичного скучающего разглядывателя чужих фотоальбомов, здесь просто детские мордашки, для него же эта фотография — вроде видеокассеты, которую достаточно вставить в гнездо, нажать клавишу и... магнитная лента оживет, заговорит звуками и красками... Итак, он сидел почти в центре, рядом — как же, отличник! — с болезненно худощавой, плоскогрудой (гм, сейчас только это заметил) учительницей Эллой Васильевной с ее строгой официальной "какашкой" волос на затылке. А по другую сторону от учительницы, слева, усажена была хорошенькая ясноглазая девчушка с белым бантом в волосах — Инга. Тоже отличница. Красиво очерченные губки, дырочки ноздрей, как бы он сказал много позднее, точеного носика... Рука расположилась на колонке, мизинец немного отставлен, но совсем немного — чувствуется, не из-за кокетства, а просто согласно естеству...

В классе седьмом, когда у них распространится эпидемия "любовных" записочек, он ей тоже напишет... Нет, это Вахтик, сосед по парте, написал тогда на уроке немецкого кукольно-красивой Алке Андреевой: "Андреева, их либе дайн, твой лебединый стан...", и эта рифмочка почему-то засела в голове на всю жизнь, а то, что сам писал и отсылал сидевшей через парту Инге, не запомнилось. Что-то, во всяком случае, как ему казалось тогда, изысканно-непринужденное. И она отвечала — в том же тоне, как бы вступая в не ими придуманную игру и как бы держа про

запас объясненьице: а что еще делать, если на уроке такая скукота?

Запомнилось, впрочем, как одно время он стремился незаметно для окружающих оказаться рядом с Ингой в жизнерадостной куче вываливающихся в конце уроков из класса, чтобы поневоле притиснутому к ней галдящей толпой коснуться кисти ее руки и чтобы потом еще какое-то время ощущать на тыльной стороне ладони теплый ожог того прикосновения, прислушиваться к нему, лелеять его... Ах, это время нежнейшей молодой кожи (всей нежности которой по-настоящему тогда не понять, не почувствовать, как не почувствовать человеку всей тяжести давящего на него атмосферного столба, поскольку, по объяснению учебника физики, тот же атмосферный воздух — и внутри самого человека), время подростковой гиперсексуальности и подростковой гиперскованности... Их поколение росло страшно несвободным (нынешнее, кажется, уже иное), смелость его одноклассников и одноклассниц в общении друг с другом не простиралась дальше все тех же пресловутых записочек, и на школьных вечерах во время танцев абсолютное большинство позорно жалось по углам. Отъявленный хулиган и любитель рассказывать скабрезные истории Алхазов на новогоднем вечере (в девятом это было) краснел, бледнел и упирался, когда классная руководительница параллельного тянула его пригласить на танец кого-нибудь из девочек, и потом, чтобы загладить свое смущение, под хихиканье дружков танцевал с кем-то из мальчиков, подложив себе под свитер тряпичные "искусственные груди" и изображая жеманную девицу... К выпускному вечеру, впрочем, все уже вроде как повзрослели, да и атмосфера на нем была другой: о другом думалось. Вадим пригласил один раз Ингу, это он хорошо помнил; танцевали, делились, как говорится, планами на будущее... Никакого трепета к ней он уже не испытывал и большого значения танцу не придавал: может, оттого, что давно к тому времени переболел Ингой (в десятом классе у них появилась новая ученица, красавица совершенно иного сорта, длинноногая, хрупкая, вся загадочно-мерцающая), да и мысли были устремлены туда, в будущее, к приемным экзаменам... А свою будущую избранницу (лет на пять-шесть моложе себя — так оно, кстати, потом и вышло), без единой пылинки, приставшей к ее идеальному, ослепительно светлому, хотя пока и бестелесному образу, он еще, конечно, встретит...

И — все. Как зубчики двух шестеренок в часовом механизме, встретившись на время в самом начале пути, они разошлись по своим орбитам. Он закончил пединститут, потом аспирантуру в Москве... Инга же хотела обязательно стать врачом и стала в итоге, хотя поступила в медицинский с третьей попытки... Он женился в двадцать семь. Она вышла замуж чуть позже — впрочем, ведь в Абхазии подобный брак по устоявшейся традиции не считался слишком поздним, засидевшихся до такого возраста было достаточно много, чтобы на них не ложился отпечаток некоей обойденности. Муж ее, насколько было известно Вадиму, работал в каком-то министерстве: то ли местной промышленности, то ли жилищно-коммунального хозяйства. Долгое время они с Ингой жили в соседнем городишке (сорок минут езды на машине), откуда муж был родом. Лишь года три назад получили квартиру в Сухуме... Все это Вадим знал из редких встреч с одноклассниками; несколько раз, бывало, видел и Ингу, но разговоры их никогда не заходили дальше ритуального, похожего на сегодняшний обмена вопросами-ответами...

А недавно на него навалилась тоска, и он разыскал этого подонка Рамиза — грушевидного, тонкогубого Рамиза, успевшего к тому времени поменять и квартиру, и место работы, обремененного тучной женой и двумя детишками-близнецами. Рамиз долго жевал жвачку насчет их уговора никогда не интересоваться судьбой того ребенка и его матери (хотя никакого уговора, в общем-то, не было), божился, что забыл фамилию хромоножки, а потом, прижатый в угол ("Ну, как ты с ней познакомился, через кого?"), сознался вдруг, что вообще никогда со своей протеже не разговаривал, а видел ее только на фотографии, которую ему показала одна его знакомая. Она, знакомая, и упросила, собственно, Рамизика принять участие в этом деле. Она же хромушу и на квартиру к нему привозила — с тем расчетом, что он, Рамиз, тоже ее не увидит. "Кто такая?" — чуть было не задушил его Вадим. Вот тут и выяснилось... Рамиз вроде бы и не подозревал, что они с Ингой одноклассники, и Вадим вовремя заткнулся, не стал его в это посвящать.

И вот все эти разрозненные детальки — фотография из альбома; Инга с Астамуром, встреченные как-то в городе; имя, названное Рамизом, — как при очередном повороте трубки калейдоскопа сложились вдруг в ошеломляюще правдоподобную, хотя и все равно невероятную картинку. И все же Вадим решил подождать очередного случая, когда будет подвозить Астамура в школу. То, что мальчику двенадцать, он и так уже знал, а вот когда его день рождения?.. "Двадцать пятого июня", — выпалил Астик, одновременно продолжая возню с товарищем (хотел дать ему шелобан, а тот увертывался), и Вадим похолодел: все совпадало.

Приехав на работу, он тут же принялся листать телефонный справочник...

Она долго не признавалась. Даже когда Вадим, справедливо, в общем-то, посчитав собранные им улики недостаточными (от всех "совпадений" при желании можно было отмахнуться, а про адрес несуществующей жительницы Брянска заявить, что никогда его не знала и не интересовалась им), решил прибегнуть к блефу: сказал, что узнал ее тогда, в ту ночь, под конец, когда глаза уже привыкли к темноте, Инга только усмехнулась: как, дескать, может у человека фантазия разыграться...

Поговорили и о том, что теперь-то этой гипотетической хромоножке (хотя Вадим по-прежнему не верил в ее существование) уже не пришлось бы идти на подобный поиск на свой страх и риск: теперь вполне гласные службы есть — и искусственного оплодотворения, и "мужей напрокат"... "Теперь-то за такую работу крупные гонорары полагаются..." Хотя с другой стороны, может, хромоножке там, как инвалиду, и отказали бы, сочтя, что ей не под силу воспитать одной ребенка...

И вдруг неожиданно, словно в какой-то момент устав, — он даже не уловил своего решающего довода — Инга сдалась, отодвинула вазочку с мороженым (они сидели в открытом кафе возле универсама, в ярко раскрашенной легкой беседке), подняла на него глаза и сухо произнесла сакраментальную фразу, которую он и сам уже давно крутил-поворачивал в голове:

— Чего же ты хочешь?

Да, радужка глаз и зубы (если зубы вот такие, отлично сохранившиеся, ровнехонькие и ярко-белые) — это то, что обычно не подвластно увяданию и даже

лицо почти пятидесятилетней женщины, когда оно улыбается, настойчиво стремится сделать двадцатилетним. Впрочем, Инга и так выглядела еще весьма привлекательно ("женщина с безупречным вкусом" — самое первое, лежащее на поверхности, что приходит на ум при взгляде на нее). Конечно, тончайшая кисея морщинок, собиравшаяся у глаз, когда она смеялась (а он заставил ее не раз засмеяться во время вступления к разговору), и легкий оползень подбородочного жирка, и слой грима, скрывающий дрябловатость кожи, — все это неотвратимая реальность, избежать которой, за отсутствием в нашей жизни молодильных яблок, не удавалось еще ни одному смертному. Как сказал некто мудрый, время заглаживает все, кроме морщин.

"Ряд волшебных изменений милого лица..." В автобусе, бывало, он любил уставиться на увенчанное пустышкой личико младенца и попытаться представить, каким оно будет через каких-то... лет 60-70, или, наоборот, начинал вглядываться в лицо дряхлого старика, чтобы "реконструировать" его детский облик...

— Инга, а ты знаешь, я долго вспоминал о той ночи, вернее — вечере. Не поверишь, но мне никогда и ни с кем так не было...

К чему сейчас все это? Ведь не о том же речь...

Оставшиеся детали конструкции выстроились примерно в том же порядке, как он и предполагал... Спустя четыре года супружеской жизни она поняла, что причина бездетности — в муже (тайком от него проверялась, консультировалась). Было много бессонных ночей, тоски и невозможности поделиться этой тоской ни с одним человеком. На что-то еще надеялась, на какое-то чудо?.. И вдруг — как солнечный удар, когда увидела на сухумской набережной Вадима в компании с приятелем брата Рамизом. Рассчитала, кажется, все — и то, что муж внешне похож на Вадима, следовательно, не должно возникнуть ни подозрений, ни пересудов, и то, что расти ребенок будет в другом городе... Но нет в самом деле ничего тайного, что бы не стало явным...

— Ты спрашиваешь, чего я хочу, Инга? Ты просишь меня никогда больше не делать ему подарков, никогда не подвозить в школу, забыть о нем... Извини, но разве я виноват, что он мой сын? Ты сама когда-то так решила!.. А что, если я возьму и отсужу его у тебя, а?

— Отсудишь? Ну, ты даешь... Кто же тебя в этой ситуации даже слушать будет всерьез?.. — Инга рассмеялась сухим дробным смехом, а потом вдруг осеклась: — Ты, Вадим, только не вздумай никому об этом рассказывать. Про тебя же потом просто скажут, что малость того... вот и все.

— Малость того? А мне и так порой кажется, что я скоро сойду с ума... честное слово, тронусь...

— Мне, Вадик, тоже когда-то казалось, что я тронусь... Когда весь выпускной вечер ждала от тебя, что вот-вот — и ты что-то скажешь... Когда летом тянула подружку гулять по твоей улице: вдруг, мечтала, встретимся... Но ничего, как видишь, все прошло.

— А у меня не пройдет. Послушай, он мой сын, и я люблю его больше всего на свете. Мне нужен сын. Наследник. Продолжатель рода...

— Не надо драматизировать. И у шестидесятилетних рождались сыновья!.. Что ты в самом деле внушил себе?..

— Эх, Инга-Инга... Ты же сама понимаешь, что такого сына у меня в любом случае не будет. Понимаешь ведь, а? А мы с тобой, наверное, были созданы друг для друга... Послушай, а может... Может, еще не поздно, и Астамур для нас — как... — он замешкался в поисках нужных слов, и Инга успела перебить его:

— Нет, Вадичек, нет, не надо затрудняться.

— Ты ведь не любишь своего мужа...

— Раньше, может, и не любила, а теперь люблю. Не обижайся, но в нем я вижу гораздо больше мужского начала, чем в тебе...

— "Мужского много в нем начала, но нет мужского в нем конца..." — быстро нашелся, вспомнил Вадим чью-то эпиграмму, кажется, Гафта, но вышло все равно довольно жалко: говорил — и сам уже презирал, стыдился себя за это свое кислое, как алычовая подлива, подленькое, недостойное желание мести незнакомому человеку. К тому же эпиграмма-то совсем не про бесплодие...

— Знаешь, как я вспоминаю свою девичью влюбленность в тебя? — беспощадно продолжала Инга, словно не слыша его слов. — Как проходящую рано или поздно глупость. Все же ты не тот человек, с которым стоит строить семью... А за Астика я тебе очень благодарна. Но ты бы все равно не смог бы воспитать его так, как я хотела...

Он проснулся под утро в смятении, силясь вспомнить приснившееся и понимая, что уже не вспомнит. Ладно, Бог с ним, со сном.

Какой же долгий, мучительный и странный получился вчера у них с Ингой разговор: то на повышенных тонах, будто с врагом, то...

За окном проехала одинокая ночная машина, полоснув по шторам желтым светом фар и на мгновение высветив угол спальни.

...И снова, как всегда, он оказался виноватым. И его, не кого-нибудь уговаривала, совестила Инга, объясняла, что его слишком близкое общение с их семьей не сможет рано или поздно не вызвать подозрений. Что ж, все правильно, ведь он обречен быть виноватым. Он — мямля. Да, можно быть силачом — и завидовать хилиякам с подвешенным языком, можно защитить кандидатскую диссертацию, иметь престижную работу, машину — и остаться неудачником... И как бы ни протестовала, ни раздражалась душа против "чудовищного нагромождения нелепостей" — того, что она говорила вчера о нем, — в глубине души понимал: она права. Так было не раз: введенные в заблуждение его мужественной красотой, его ростом, всеми его бицепсами и трицепсами, твердые натуры вроде Инги при дальнейшем общении с ним разочаровывались. И чем дольше было это общение — тем неизбежней и дальше. И Инга бы наверняка разочаровалась в нем. А может, может — и нет? Может, как раз та удобная, тихая, бессловесная тварь — его жена — и делала его таким: переставшим самосовершенствоваться?

Он очнулся в сорок семь лет и увидел вдруг, что вокруг пустота. Впрочем, нет, и раньше ведь его бросало порой от сонливой удовлетворенности собой к крайнему отчаянию. С одной стороны — есть квартира, есть работа, есть жена, есть три дочери... С другой — все не то, не те, не так!

Как-то раз он взял лист бумаги и вычертил свое генеалогическое древо. По рассказам старших сумел восстановить имена и фамилии всех прадедов и прабабок, а по отцовской линии дойти и до четвертого колена. И вот он — единственный сын

у родителей, венчающий это хрупкое сооружение. А дальше кто? Астамур — мой красивый, чернобровый малыш... Живой, неутомимый на выдумки, заводила в классе... Как горько-радостно ему бывало угадывать в сыне то, что не сбылось в нем самом.

Эх, жизнь... Куда ни кинь — везде клин. Хотя кто знает?.. И не старалась ли вчера Инга убедить в никчемности Вадима и в том; что все сложилось правильно, не столько его, сколько себя?

...Если б только он мог внушить сейчас этому мальчику, который через толщу лет смотрит на него со школьной фотографии: "Не отдавай, никою не отдавай вот эту девочку с белым бантом!"

1992

Теплый снег

А что, собственно говоря, случилось? Жизнь есть жизнь, и если каждый раз все заново вспоминать... Ну, была когда-то, давным-давно, такая Астанда, ну, были "шепот, робкое дыхание" и все такое прочее... А что, разве не мог бы Даур, если уж на то пошло, припомнить сейчас и Риту, и двух Римм, и Селму, и Ирочку, и Лейлу? Вот этого только, пожалуйста, не надо — представлять себе нашего героя неким профессиональным покорителем женских сердец и вертопрахом. Подозревать его в подобном было бы делом поспешным и даже не слишком умным. И хотя хорохорился он когда-то, отвечая на анкету курсовой стенгазеты: "Ваш любимый месяц?" — "Медовый", "Ваше любимое занятие в часы досуга?" — "Срывать цветы удовольствия", — все прекрасно понимали, что это — напускное. Ибо был Даур, в сущности, скромняга-парень, который, никогда особо не увлекаясь ни прочесыванием летних пляжей в поисках приятных знакомств, ни проникновением с той же целью на танцплощадки в дома отдыха и турбазы, постигал "науку страсти нежной" на вечерних курсах в школе жизни с заметным от большинства сокурсников отставанием. Да и сейчас Даур Петрович был одним из тех, характеризуя кого, обязательно воспользуются штампом: "прекрасный семьянин". Скажем иначе: кто из живших (а не существовавших) в этом мире мужчин не хранит в душе списочка женских имен, которые заставляли его сердце в юные, а порой и в не совсем юные годы учащенно биться, а в отдельных случаях, что называется, и трепетать? Не был исключением из этого правила, как вы догадываетесь, и Даур. Как бы то ни было, появление в кабинете в конце рабочего дня его молодящейся тетушки Ферида вместе с мальчиком лет пяти-шести поселило в нем душевную смуту. "На минутку забежала... Такие здесь на углу босоножки дают, а десятки не хватает... — говорила и говорила тетушка, присев на краешек стула и обмахиваясь носовым платком. — А это вот наш Бесланчик... Астанда приезжала, на два дня оставила. У-у, душемотатель! Дома-то на голове ходит, а здесь — ишь как присмирел! Ну что, Бесланчик, с тобой? Дядя хороший..."

А Беслан таращил на "хорошего дядю" огромные черные глаза и — подавленный незнакомой обстановкой — вот-вот готов был расплакаться. Даур протянул ему

оказавшийся в ящике стола бублик, и, вцепившись в него ручонками, как в спасательный круг, Бесланчик, кажется, успокоился. "А ведь красивый мальчишка растет", — думал Даур, украдкой поглядывая на него.

Когда тетушка, получив желанные десять рублей, ушла и увела ребенка, он встал из-за стола и, прислонившись лбом к прохладному оконному стеклу, стал смотреть на улицу...

И зачем ему нужно было сейчас это воспоминание? Тем не менее оно не оставляло его весь день и потом еще, дома, разбудило посреди ночи.

...В тот год была очень снежная зима. На удивление всем снег выпал уже к Новому году и держался не только в предгорьях, но и на побережье. Снег в Сухуме, сочетание ярко-белого и ярко-зеленого — зрелище уже само по себе удивительное и немного фантастическое. Ветви пальм, согнувшиеся под тяжестью белой ноши, синие тени на снегу... И вот в такой чудесный день Даур вдруг с досадой осознал, что ему негде встречать Новый год. То есть не то, чтобы вообще негде, вне праздничного стола он бы в любом случае не остался, но в те времена — Даур тогда учился на последнем курсе АГУ — встреча Нового года в так называемом "кругу семьи" воспринималось им как личное поражение, как вариант, когда ничего другого уже не остается. Но так уж вышло, что многие его друзья разъехались, намечавшаяся ранее компания распалась и перед ним открывалась довольно скучная перспектива встречи Нового года в роли пай-мальчика — участника добродетельно-пресных разговоров домочадцев. В последний момент, правда, домашние планы изменились: решили пойти в гости к родственникам, которые давно звали к себе на Новый год, — что, впрочем, для Даура дела в принципе не меняло.

Эти родственники жили в одном из частных домишек, построенных в стиле, как его именовал Даур, "баракко", сразу за пустырем позади их пятиэтажки: дядя — двоюродный брат отца, его жена и трое детей. В тот новогодний вечер у них, как всегда, царил шум: дети бегали вокруг стола, ссорились, мирились и снова ссорились, и в то же время всем было уютно и весело. Вскоре вся эта атмосфера жизнерадостности, а также несколько бокалов шампанского и на славу приготовленная индейка в ореховом соусе подняли настроение Даура. К тому же за столом оказался и новый для него человек — сельская родственница хозяев, жившая у них около полугода, после того, как не поступила в университет и устроилась работать швеей на галантерейную фабрику. Звали ее Астанда и, если говорить точнее, она была племянницей Фе — риды — жены его двоюродного дяди. Сначала Даур не обратил на нее особого внимания — только, заметил, когда Астанда помялась поздороваться с ним, что она высока ростом и стройна — и лишь потом, приглядевшись, понял, что эта восемнадцатилетняя девушка красива — той неброской красотой, которая запечатлевается в памяти не в ярких красках написанного маслом портрета, а в скупом карандашном рисунке.

Вскоре отгремела в городе новогодняя пальба из охотничьих ружей, истошились за столом все главные тосты, и десятилетний постреленок Батал — старший сын хозяев — вошел, как говорится, в застольный коллектив с предложением пойти поиграть в снежки. Идея, на взгляд Даура, была великолепной, но принять участие в ее осуществлении смогли в итоге лишь он, Батал и Астанда: старшие предпочли

общению с природой продолжение своих разговоров и телевизор, а младшие брат и сестра Батала к этому времени после энергичных уговоров и громкого плача были уже уложены спать и смотрели, наверное, сказочные новогодние сны.

Как удивительный новогодний сон вспоминалось потом дальнейшее и Дауру. Когда они вышли на пустырь, он замер при виде открывшейся картины. Весь вечер и половину ночи валил густой снег, и лишь недавно он прекратился. Свежайший пушистый покров лежал перед ними в ярком лунном свете, и, казалось, от него самого исходило сияние. Даже на вид он был так мягок, что хотелось броситься в него и утонуть, как в перине. Заметно потеплело — и даже выскочив из дома без пиджака, в одной рубашке и шерстяной безрукавке, Даур совсем не боялся замерзнуть.

Он будто снова очутился в детстве. Они беспорядочно и часто кидали друг в друга снежки и умирали от смеха после наиболее удачных бросков. То и дело двое из них, заключив между собой кратковременный "военный союз", окружали третьего и набрасывались на него, чтобы накормить снегом. А снег в ту ночь был и впрямь необыкновенным — никогда ни раньше, ни позже Даур не видел снега, настолько подходящего для игры в снежки. Он был не тем сухим, жестким, который обычно рассыпается как крахмал, и не мокрым, быстро сбивающимся в ледышку, а похожим на вату — мягким, невесомым и даже, казалось, теплым.

Щеки Батала полыхали свекольным румянцем, когда Даур с Астандой в очередной раз вываливали его в сугробе. Азарт сражения, искрящийся вокруг снег и — близость этой девушки... И вот, теперь уже с каким-то подсознательным умыслом объединившись с Баталом, он, смеясь, старается залепить снегом лицо Астанды. Она слабо отбивается, а он ощущает непреодолимое желание поцеловать ее. Понимает, что это невозможно: во-первых, Батал рядом, а во-вторых, сама мысль о том, чтобы злоупотребить доверием родственников, кажется ему преступной — и в то же время он ничего не может с собой поделать.

Бывает, что слабое, лениво шевельнувшееся в душе желание легко подавляется, тормозится таким же слабым усилием воли. Здесь же обе силы были слишком велики, и ни одна из них не могла взять верх над другой. Несколько раз Даур почти физически чувствовал, как наклоняется к Астанде, и в то же время будто невидимая преграда останавливала его и он с удивлением обнаруживал, что не приблизился к ней ни на миллиметр. И чем яснее было понимание невозможности того, что он хотел сделать, тем сладостнее и мучительнее была его нерешительность.

Лицо Астанды, бледное в лунном свете, проступающее сквозь серебристую снежную пыль, как сквозь оттаявший кусочек замерзшего оконного стекла, было совсем рядом; он, кажется, чувствовал то маленькое магнитное поле, те силовые линии, что исходили от ее губ, и где-то в глубине его сознания непостижимым образом рождалась уверенность в том, что она не отведет лица в сторону, что это магнитное поле уже соединило их невидимой, но неразъединимой связью.

Вот и Батал, будто чувствуя что-то и насмешничая, хохочет и старается их столкнуть...

Он нарочно тянул время. Сколько они уже провели на пустыре — час, полтора? Баташке это было на руку: он и думать забыл о том, что надо идти домой. Но и Астанда ничего не говорила, молча соглашаясь на продолжение этой затянувшейся

игры, словно ожидая чего-то... Был момент, когда они очутились возле бетонных плит, привезенных, видимо, одним из здешних хозяев и сложенных на краю пустыря. Не припомнить уже, как это вышло — случайно или преднамеренно со стороны Даура, — но на несколько секунд Батал оказался по другую сторону этих плит, а они с Астандой — одни и вне его поля зрения. Совсем, совсем рядом он увидел ее профиль, а потом и лицо вполоборота. И снова ему почудилось: она не отведет лица. И снова он не смог переступить запретной черты... Их, конечно, давно ждали, но в новогоднюю ночь, как известно, не принято сильно сердиться.

А потом, придя домой, он еще долго, лежа в постели, не мог уснуть. Возбуждение пережитым медленно уходило из души, как тепло из остывающего тела, и, заново переживая каждую минуту их "снежной войны", он досадовал на незавершенность, недосказанность случившегося, из-за которых эта ночь так и не смогла стать для него совсем сказочной. Впрочем, в последующие дни, по мере отдаления ее во времени, именно эти ее незавершенность, зыбкость, загадочность постепенно становились для него все более привлекательными. "Нет больше тайны у цветка — расцвел", — написал как-то один его знакомый поэт. Пусть же эта ночь, думал Даур, останется для него такой тайной. Как бы ни сложились дальше их отношения с Астандой, теперь ему уже не узнать наверняка, как бы она повела себя, если б он решился... Сколько раз потом ни заходи у них об этом разговор, всегда у него будет оставаться микроскопическая доля сомнения в ее искренности. (Кстати, в дальнейшем он так никогда и не заговорил с Астандой о той ночи: было что-то всегда в их отношениях хрупкое, нежное, чего не хотелось касаться словом). А ведь не приходится сомневаться, что у Даура не было тогда никаких намерений по отношению к Астане: иначе почему он не пытался встретиться с ней и ни разу за несколько месяцев не зашел к своим родственникам, в тот самый домик за пустырем?

Зима того года была не только снежной, но и на редкость длинной. Но вот в начале апреля отхлестали по земле последние холодные дожди и установилась, наконец, та теплая солнечная погода, которая нередко бывает и в другое время года, но лишь весной вызывает такую радость. С пальм, укутанных на зиму, снимали белые покрывала, и это было похоже на торжественное открытие по всему городу памятников. На набережной сразу стало оживленно.

И вот на исходе одного такого дня, наполненного ярким солнцем и почти летним теплом, Даур встретил в городе Астанду. Он окликнул ее, и когда увидел ее ответную улыбку, то сразу почувствовал и предугадал все. Все дальнейшее было простым и будто бы само собой разумеющимся. Они заговорили как старые добрые друзья, лишь по какому-то странному стечению обстоятельств разлученные на долгое время и сами удивляющиеся этому недоразумению. Даур предложил свернуть на набережную, и Астанда послушно пошла за ним. Они пили кофе в одной из прибрежных кофеен, потом шли куда-то вдоль берега моря. Он рассказывал ей... впрочем, и не упомянуть всего, о чем он ей тогда рассказывал. Вспоминал, как летом участвовал в археологической экспедиции — Даур уже тогда помышлял о кандидатской диссертации и намеревался поспорить в ней по некоторым вопросам с признанными авторитетами, — но тут же разговор

переходил и на совершенно другие темы. Астанда смотрела на него не отрываясь и ловила, казалось, каждое слово. Мы невольно становимся такими, какими нас представляют и хотят видеть, и в ту минуту он, наверное, был и весел, и уверен в себе, и многоопытен, и остроумен... И когда, пожимая на прощанье ее ладонь и все-таки волнуясь, Даур предложил ей завтра встретиться, она, потупив взгляд, кивнула.

Встретившись вечером следующего дня, они забились в угол какого-то кинотеатра, но высидеть смогли лишь минут десять. Фильм был северокорейский, очень глупый и к тому же двухсерийный, так что ждать его конца было выше их сил, и они тихонько выскользнули на улицу. А на улице шел дождь, лужи блестели в свете фонарей, и зонтик — цветастый зонтик Астанды — был у них один на двоих. Они шли под ним, мешая друг другу, толкаясь и смеясь, и сами не знали, куда идут. Дождь все усиливался, но ничто не могло утихомирить радости, которая нахлынула вдруг на них. Набережная в этот час была совершенно пустынна, да и какому еще сумасшедшему пришло бы в голову гулять под проливным дождем?

Астанде в конце концов так надоело обходить лужи, что она, оставив Даура, выбежала на середину самой большой из них и стала, хохоча, поднимать брызги своими черными лакированными босоножками. Мокрые, блестящие кусты вокруг, песчаная дорожка и белый свет молний, время от времени затевающий все это безлюдное пространство...

Они говорили почти без умолку. Астанда, смеясь, рассказывала о соседе, инструкторе физкультуры, "которому, по его собственному уклончивому выражению, "сильно за двадцать" (так, по-видимому, "сильно", что уже за тридцать) и который недавно решил-таки жениться. Кандидатуры — обе выдвинутые соседскими сердобольными тетусками — у него две: Астанда и еще одна девушка с их улицы — Нана. Астанда привлекает его ростом (значит, и дети высокие будут), зато у Наны высшее образование. Астанда приехала из села, а сельское воспитание ему больше нравится, но зато Нана наверняка — это уже сейчас видно — будет в доме хорошей хозяйкой. И так он, бедный, извелся за последнее время от этих сомнений, что даже похудел. Встречает Астанду, здоровается, а на лице у него так и написано страдание. Ну, а согласен ли кто-нибудь из них выйти за него замуж — об этом он, похоже, еще как-то не задумывался.

В этот момент они подошли к самому берегу, туда, где бились внизу темные волны, и Даур, вскочив на парапет, закричал — ведь вокруг не было ни души и кричать можно было во всю глотку и сколько угодно:

— Эй, вы, все инструкторы физкультуры и вообще все мужчины в мире! Я никому из вас не отдам Астанду! Запомните это!

А Астанда стояла рядом и с умоляюще-счастливой улыбкой тянула его за рукав с парапета... 1

С этого дня они стали видеться довольно часто. Он старался найти предлог, чтобы заглянуть к родственникам, у которых она жила, и, улучив момент, пригласить ее прогуляться... Любили бродить по верхней части города, поднимались к замку Баграта. Каким непривычным, почти незнакомым открывался отсюда город! Пестрота усеянной домишками долины Беслетки, море, вдающееся в берег двумя голубыми заливами...

Они возвращались обычно когда уже темнело и неизменно останавливались на пустыре, у тех самых памятных Дауру бетонных плит. Он прислонялся спиной к краю верхней из них, клал руки на плечи Астанде, и они могли стоять так, казалось, бесконечно. Темнота вокруг них быстро густела, и хотя из ближайших дворов еще долго слышались голоса, окружающий мир постепенно переставал для них существовать. Он видел перед собой только ее лицо: ее светло-карие глаза, улыбку, рассыпавшиеся по плечам длинные блестящие каштановые волосы. Наверное, и она в те минуты обо всем забывала, потому что ей и в голову не приходило настороженно оборачиваться на чьи-то шаги и беспокоиться, не увидит ли ее кто из соседей.

И еще одно воспоминание той поры — воскресный день середины лета, который обе их семьи решили провести вместе на пляже. Расположились целым табором, стащив в кучу десяток лежаков: Даур с родителями, Астанда, ее тетя, дядя и вся их орава ребятишек. Астанде, воспитанной в патриархальной сельской абхазской семье, конечно, было неловко загорать рядом с ним: он видел стыдливость, с которой, возвращаясь из раздевалки, она прижимала к груди снятое платье, видел, как, выбрав самый дальний от него лежак, стеснялась смотреть в его сторону. "Ну и что тут такого, — мысленно убеждал он ее, — ведь мы здесь все по-семейному, по-родственному".

Постепенно неловкость ее исчезла. Даур не мог вскоре не почувствовать, что оба они одинаково тянутся друг к другу — еще бы, быть целый день вместе, рядом, и не сметь даже одним взглядом, движением выдать свои чувства... Слишком долго на это его не могло хватить.

Время от времени они с Астандой один за другим, соблюдая необходимую паузу, поднимались и шли к морю. Там, затерявшись среди купальщиков, они одновременно ныряли и начинали плыть навстречу друг другу (лишь в первый раз, когда он крикнул ей: "Ныряй и плыви ко мне", Астанда непонимающе пожала плечами и послушалась только потому якобы, что приняла это за какую-то новую игру вроде салочек под водой). Скользила перед глазами мозаика галечного дна, потом из зеленой мглы появлялась Астанда — со своими длинными развевающимися волосами похожая на русалку. Его губы касались ее губ, их руки встречались в слабом рукопожатии, потом его ладонь успевала скользнуть по ее предплечью, и они быстро расплывались в разные стороны. После этого надо было плыть, плыть сколько хватало дыхания, чтобы вынырнуть как можно дальше от места встречи и с видом человека, заинтересованного исключительно доставанием с морского дна камешков. Это не значит, конечно, что с берега за ними бдительно следили — но ведь могли что-то случайно и заметить. Потом они возвращались к своему "табору", ложились холодными мокрыми телами на обжигающий песок (Астанда, как и Даур, предпочитала его лежаку), и снова длился этот бесконечный жаркий июльский день...

Тем не менее о любви они не говорили. Ни разу. После той самой прогулки у моря под проливным дождем, Даур, поразмыслив, решил в будущем никогда не возвращаться к данной теме и старательно избегал всего, что могло вывести на конкретный разговор. Кричать: "Я никому не отдам Астанду!", стоя на парапете и размахивая руками, — это, безусловно, романтично, но правдиво ли? Да,

несомненно, его влекло к Астанде — иначе почему так сладко ныло сердце, когда думал о ней? Он даже гордился ею, радовался каждый раз встрече с друзьями, когда шел с ней по улице и мог представить им ее — красивую, высокую, тоненькую — ну, скажем так: "Познакомьтесь... это Астанда" — и все. Но он слишком бережно — да, да, именно так! — относился к ней, и их отношения казались ему слишком чистыми и искренними, чтобы приносить в них хоть малейшую долю фальши.

Стоп... Нынешний, проснувшийся сейчас в своей постели спустя восемь лет и заново переживающий все Даур едва не застонал, почувствовав вдруг уязвимость этих гладких, как галька морем отшлифованных временем мыслей. А разве не было фальшью продолжать встречаться с девушкой, не любя ее, заведомо зная, что у их отношений нет будущего? Хотя вот тут как раз и стоит разобраться: "не любя" — это одно, а "зная, что у их отношений нет будущего" — наверное, все же другое. Скажем так: костерок чувства к Астанде был аккуратно обложен в его душе оградой из огнеупорного кирпича и горел в строго отведенном ему пространстве, не грозя перекинуться дальше.

Так в чем же было дело? Ах, Вадим... Ну да, конечно, можно все списать и на Вадима... Где он, кстати, сейчас — лысеющий (за это время, наверное, совсем уже облысевший) увалень Вадим с его грустно-снисходительной улыбкой повидавшего виды человека и негромким размеренным голосом? В те годы они были близки, даже очень, а потом как-то постепенно потеряли друг друга из виду. В общем, как мавр, сделавший свое дело, он исчез из жизни Даура...

Его старший друг Вадим, несомненно, принадлежал к тем практическим натурам, которые всему могут найти применение. С не меньшей непосредственностью, чем святые отцы, которые обращают испеченные из пшеничной муки просвирки в тело Господне, он обращал свои сугубо личные семейные передрыги (незадолго до этого Вадим развелся) в запасы житейской мудрости, дабы бескорыстно оделять ею окружающих: "Познакомился с девушкой — обязательно присмотришься к ее матери; ведь какая мать, такой через лет двадцать-тридцать будет и дочь... Слишком красивая жена — головная боль на всю жизнь... Жизнь похожа на шахматную партию: каждый раз надо как следует подумать, чтобы сделать сильнейший ход, а уж когда собрался жениться — особенно..."

И, очаровав его последней сентенцией, Вадим далее уверенными штрихами набрасывал портрет той, которая, по его мнению, была Дауру нужна. Во-первых, ей должно быть года двадцать два — двадцать три: чтобы уже закончила вуз и работала. Во-вторых, чтоб была дочь уважаемых родителей ("и это вовсе не мещанский предрассудок, а залог хорошего воспитания, образования и т. д."). В-третьих...

22-23 года... Ну, над этим-то как раз Даур мог и посмеяться как над чем-то наивно — или даже примитивно-утилитарным. И в то же время...

В то же время Даур был молод, полон планов, надежд и уверенности, что самая главная встреча в его жизни еще впереди. "Самая звонкая песня не спета, самая лучшая девушка — где ты? Все еще впереди, все еще впереди..." — пело ему радио вкрадчивым голосом Марка Бернеса, и Даур не сомневался, что ему еще предстоит найти ту необыкновенную девушку, которую он мысленно называл Единственной и Неповторимой. Это должен был быть человек очень близкий ему по духу, по

интересам и в то же время в каком-то смысле его антипод — начисто лишенный его недостатков, как бы восполняющий своими качествами то, чего в нем не хватало. Пусть эта девушка будет чуть недоступной, недостижимой для него; от этого он станет более требовательно относиться к себе, каждый день их будущей совместной жизни ему надо будет завоевывать ее и от этого он будет становиться лучше, чище... А Астанда... Астанда казалась Дауру слишком обыкновенной, слишком простой и слишком уже завоеванной им.

И еще ему очень не хотелось принять за любовь лишь видимость любви, или, как он прочел в одной книжке, "томление молодых тел". "Ах, эта снежная новогодняя ночь, — иронизировал он сам над собой. — Ах, эта замечательная прогулка по берегу моря под проливным дождем, этот длинный жаркий летний день на пляже и наши свидания под водой, когда мы играли в ихтиандров! Как же можно не расчувствоваться от всего этого и не вообразить себя по уши влюбленным! Только вот вопрос: что изменилось бы, если б на месте Астанды была в этих случаях какая-нибудь абстрактная Амра, Сима, Эсма?.. Пожалуй, ничего, так как не сама Астанда произвела на меня такое впечатление, а просто романтические обстоятельства наших встреч, как в свое время на несчастного героя толстовской "Крейцеровой сонаты" — катание на лодке с девушкой в джерси..."

Ну, а если уж совсем начистоту? Разве не казалось самым, может, решающим то несоответствие Астанды образу Единственной и Неповторимой, что она была не из того круга? Кто у нее был в семье? Мать-колхозница, рано постаревшая, пожухло-морщинистая (рассуждения Вадима оставляли-таки след в душе Даура). Куча младших братишек и сестреноч, которые выросли без отца, умершего десять лет назад, и которым неизбежно пришлось бы помогать становиться на ноги. А почему, собственно, он, Даур, должен кому-то помогать, а не ему кто-то? Тем более, когда столько вокруг девушек на выданье, которые выросли в благополучных семьях, где ни в чем не знали отказа, и любвеобильные отцы которых готовы сделать все для дорогого зятя?..

Неужели именно это имело тогда для него, говоря языком газетных статей, приоритетное значение?

Ладно, будем уж вспоминать все, до конца. Так археологи, раскопав древнюю мостовую, находят под ней другую, более раннюю, потом еще одну... Недавно он перелистывал свой дневник тех лет и наткнулся вот на такую, сделанную еще за год до встречи с Астандой, запись:

"Но что же всерьез гнетет меня сегодня? О чем мечтаю? О баре, искрящемся созвездием дорогих коньяков, о роскошном интерьере, о вечерах с красивыми женщинами? Да, черт возьми, я мечтаю об этом наборе "мещанского счастья"! Мечтаю прежде всего потому, что не хочу всю жизнь чувствовать унижительную зависимость от мелочных подсчетов, от мыслей о днях, оставшихся до зарплаты, от взвешивания того, что я могу себе позволить и чего не могу. Вот именно: лучше презирать деньги имея их, чем презирать не имея. Не в деньгах, говорят, счастье, но с ними — как-то веселей".

Печальное подтверждение последней мысли маячило перед глазами. Мать, которая несмотря на все попытки оздоровить семейный бюджет вот уже третий год не может купить себе приличное пальто. Отец, начавший и заканчивающий карьеру

рядовым инженером и конфузливо краснеющий, когда его бывший соученик, а ныне ревизор райпо предлагает скинуться на встречу однокашников по пятьдесят рублей — краснеющий потому, что нет у него сейчас таких денег... В чем же был выход? Пуститься во все тяжкие подобно ревизору райпо? Нет, этот путь никак не устраивал Даура: его влекла чистая наука, чистая работа, а в качестве лучшей подушки — чистая совесть. Выход был сформулирован предельно четко и ясно: "выгодно жениться". И не случайно в дневнике тех, молодых, лет с вышеприведенной записью соседствовала и такая:

"Любовь в чистом виде" я бы уподобил тем элементам таблицы Менделеева, про которые все знают, что они есть, но которые никто не видел, так как, полученные в лаборатории, они могут существовать лишь доли секунды. Вот и любовь — что это такое в "чистом виде" и как отделить ее от пресловутого расчета? Если на материальное положение избранницы смотреть — это уже, получается, конечно, не любовь, это брак по расчету. Хозяйственность? Но и в этом своя корысть есть. Характер, ум? Опять дело можно с выгодой связать: чтобы в доме был мир и порядок. Что остается — красота? Но и тут кто как мыслит. Можно ведь и так рассуждать: хочу жениться на красивой, чтобы мы с ней шли по улице и все оборачивались, завидовали мне. Выходит, чтобы никто не мог упрекнуть в каком-то расчете, корысти, я должен жениться на некрасивой, крикливой и глупой мегере, да еще, на всякий случай, хромой и кривой? Или такой, допустим, неожиданный поворот мысли... Чуть ли не половина сюжетов мировой литературы строится на противопоставлении "большого и светлого чувства" к красивому и бедному предмету любви (что возвышенно и чисто) и пресловутого брака по расчету (что эгоистично и аморально). А может, все наоборот? Может, эгоистично как раз думать только о собственных постельных радостях с тем, кто красив телом, а думающий о том, в каких материальных условиях будут расти его дети, поступает гораздо более нравственно и альтруистично?

Нет, братуха Вадим, не беспокойся, уж он-то не сглупит, как некоторые, потерявшие голову из-за первой попавшейся юбки. Зачем отдавать столь важное дело на волю случаю, зачем плыть по течению? Из всех вариантов — а их столько, сколько вокруг девушек, то есть очень-очень много — надо обязательно выбрать оптимальный. Ведь если решать эту проблему — а жениться так или иначе надо — то решать ее в комплексе, чтобы ко всем преимуществам семейной жизни приплюсовать и заметное улучшение, а не ухудшение своего материального положения. Как было написано на самодельном плакатике на стене в их студенческой столовой, "любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда". Чувство? Да, конечно, как же без него!.. Только чувство не случайное, не незрячее, а умеющее вдаль видеть. Придет и такое... Разве понятие брака (тоже он где-то читал) не гораздо шире понятия любви? Любовь — это важная, но все-таки только составляющая понятия брака. И вообще, не Даур ведь это выдумал, а данные многих социологических исследований говорят: что браки по расчету прочнее браков по любви.

Даур тогда, помнится, разработал даже балльную систему определения достоинств потенциальной невесты. Внешность и "материальная обеспеченность" (неуклюжий эвфемизм нашего времени, призванный заменить такое простое, но ставшее в последние десятилетия неприличным слово "богатство") оценивались согласно этой

системе максимально по четыре балла, образованность и характер — по три, хозяйственность и... еще что-то, уже не упомянуть — по два. Впрочем, система эта, кажется, несколько раз им перерабатывалась, корректировалась. И, кстати, "просчет" интереса ради достоинств Астанды не позволял, как и следовало ожидать, говорить о ней как о серьезном варианте. Баллов, кажется, семь-восемь получалось, не больше... Потом, правда, в августе, Астанда поступила-таки на иностранный факультет АГУ, и это прибавило ей баллов в графе "образование", но в принципе дела не меняло. К тому же, если вспомнить о резонах Вадима, "учить" ее пять лет на свою небольшую зарплату и родительскую пенсию (отец тогда уже собирался на "заслуженный отдых") — довольно-таки обременительно...

Бог ты мой, неужели он тогда так примитивно, по-обывательски грубо рассуждал? А ведь в то же время он наверняка считал бы оскорбительным для себя любое сравнение с одним своим бывшим одноклассником, который, говорят, учась в Москве, примерно так знакомился с девушками: "Как вас зовут? А сколько вам лет? А кем ваш папа работает?" Или с тем же самым инструктором физкультуры... Впрочем, наверное, прежде всего потому, что те были беспросветно глупы, раз позволяли окружающими знать и рассуждать о своих мечтаниях. Собственные-то мысли об Астанде Даур хранил в душе куда как надежней.

Подводя теоретическую базу, Даур не забывал и о практической стороне дела, зорко осматриваясь в поисках Единственной и Неповторимой. После окончания университета он начал работать в музее; еле-еле зацепился там за какую-то невнятную должность — не то, чтобы уж совсем "смотритель зала", но что-то среднее между техсекретарем и экскурсоводом. И вскоре ему показалось, что он нашел то, что искал.

— Вон та, в углу, — это дочка моего шефа, — шепнул ему приятель. — А та, что рядом с ней, светленькая, в сером платье, — да не оборачивайся пока — Раждена Несторовича.

Дело происходило на дне рождения в одной приличной квартирке, куда Даур попал, в общем-то, случайно, благодаря этому самому приятелю. Ражден Несторович был известен как ученый-историк, автор многочисленных монографий, доктор наук и прочая, и прочая, и прочая...

Вот она, "девушка для паспорта"! Сделав вид, что пропустил информацию мимо ушей как малоинтересную, Даур внутренне напрягся, обдумывая план действий. Девушке в сером было двадцать четыре — двадцать пять. Довольно обыкновенное лицо, короткая стрижка, белесые, будто присыпанные мукой брови. Не красавица. Но это его только ободрило: чтоб дочь такого родителя, да была бы еще с внешностью кинозвезды — такая могла оказаться) ему не по зубам.

Когда начались танцы, подсел к ней в угол с коктейлем в руках. Начал с привычного трепана о биополях и экстрасенсах — за столом только что говорили об этом.

— Я, конечно, не экстрасенс, но хотите, Лиана, проведем такой эксперимент: я запишу на бумажке, чтоб вы не видели, все ваши недостатки, а вы назовете их. И сравним.

К тому времени Даур набил руку на подобных психологических опытах и почти не сомневался в успехе.

Вырвали из блокнота листок, и он с минуту сидел, уставившись на Лиану и

сосредоточенно сдвинув брови, а потом написал: "Я слишком доверчива. Не хватает собранности. Очень близко принимаю все к сердцу. Бываю обидчивой. Порой мешают излишняя самокритичность." Сложил листок вчетверо.

— Итак...

— Я слишком доверчива, — начала Лиана, и он, не выдержав, рассмеялся. Она взглянула удивленно.

— Ничего, ничего.

— Потом... разбрасываюсь как-то по мелочам. Мама мне всегда говорила: если б тебе усидчивость некоторых твоих подружек, ты бы гораздо больше их смогла сделать... Слишком близко принимаю все к сердцу...

Протянул ей листок. Мучнистые брови полезли вверх.

— Как вы узнали? Может, Марина рассказала?

— Марина — это вон та ваша подруга? Да нет, ни разу не имел еще чести с ней беседовать.

Святая простота, как она поразила тогда проникновению в ее внутренний мир! А ведь он просто прибег к универсальному набору фраз, с помощью которых вот уже тысячелетия дурачат человечество всевозможные ясновидцы и гадалышки: из всех возможных недостатков характера большинство людей выбирает для себя самые простительные — собственно, не недостатки даже, а так, слабости...

Проводив в тот вечер Лиану вместе с Мариной почти до самых ворот ее дома по Тбилисскому шоссе, Даур ночью долго не мог уснуть. Вот он, тот шанс, который нельзя упускать! В принципе это был оптимальный вариант. Тесть — руководящий работник? Что ж, сегодня он на коне, а завтра его с треском снимут как несправившегося (сколько таких случаев можно вспомнить!) и от бывшего могущества останутся лишь воспоминания. Какой-нибудь "цеховик", "долевик", подпольный магнат? Ну, с этим может произойти история и похуже, и вообще лучше держаться подальше от любых темных дел. А вот Раждена Несторовича уже ничто не сможет свергнуть с его пьедестала. Его труды уже вошли, как говорится, в анналы, и авторитет его в научном мире незыблем. К тому же очень удачно, что Даур подвизается в той же самой области. Говорят, чересчур старик принципиален, высоконравственен? А от тебя и не требуется ничего, дорогуша! "А-а, это зять Раждена Несторовича? Да, да, очень перспективный молодой человек". Ну, молодых-то да с перспективой у нас хватает, а вот зять Раждена Несторовича при единственной-то дочери соответственно один, и обойти его при очередном выдвижении или распределении чего-то уже никак не обойдешь. Неужели он хотя бы не сможет помочь ему перебраться в этот самый свой институт, о котором Даур давно мечтал? Разумеется, и прожиточный минимум (ха-ха, минимум!) любящий отец-профессор молодым обеспечит.

И то сказать: что лучше — начинать с нулевой отметки, пыхтя и надрываясь тащить себя и свой семейный воз по крутым ступеням и лестничным пролетам жизни или разом вознестись на скоростном лифте на десятый этаж, чтобы оттуда, снисходительно взглянув на копошащийся внизу люд и опираясь на законную материальную и моральную поддержку большого человека — тестя, уверенно продолжить восхождение? Тратить лучшие годы на толкотню локтями или всецело отдаться чистой науке?

Дайте мне, в общем, дочку опоры, и я... А что, разве не такой урок он вынес из рассказа Вадима об одном процветающем ныне ученом и организаторе науки, который прямо объявил в свое время будущему тестю мотивы своего выбора: "Мои способности и энергия плюс ваши связи — и мы такого добьемся!.."

В конце концов, это было для Даура только восстановлением справедливости, той самой справедливости, которую беззастенчиво попирали его однокурсник Гурам, полагавший, что Тмутаракань — это такое место, где тьма тараканов, а кинолог — то же самое, что и киновед, и который тем не менее вместо самого способного на их курсе Бориса принят в аспирантуру (потому что его папа — декан), одноклассник Рудик, который всегда списывал у Даура по время школьных контрольных, а ныне попал на работу в весь уважаемую организацию (потому что его дядя работает в еще более уважаемой)...

Нередко перед глазами Даура возникала картинка: играли, резвились в шумном дворе детишки, тренировались кто на самокате, кто на трехколесном велосипеде, а потом был дан старт и все рванулись вперед, в ралли, именуемое жизнью. Ревут клаксоны, мчат, обгоняя друг друга, автомобили, и в этой гонке трудно порой сразу разобрать, кто же вырвался вперед, кто отстал, а кто, не вписавшись в очередной поворот судьбы, вылетел на обочину... Как бы то ни было, он, Даур, обязан был сейчас вырваться вперед. Вырваться хотя бы для того, чтобы не оказаться потом в подчинении неучей и бездарей, пользующихся поддержкой своего клана.

"У верблюда два гврба, потому что жизнь — борьба". Так что вперед, без страха и сомнений, на абордаж!

Утром, посулив соседскому мальчонке катание на автодроме, он повез его с собой на рынок, где был куплен огромный букет, чуть ли не куст красных и белых роз, а затем — к дому Лианы. В подъезде дома напротив Даур долго инструктировал пацана: "Откроют двери — попросишь Лиану. Если это будет она сама или потом она выйдет — отдашь букет и скажешь: "Это просили вам передать". А если вдруг ее дома не будет, скажешь: "Передайте ей, пожалуйста, вот это". На вопросы: кто да что — не отвечай, тут же сматывайся". Мальчонка не сплеховал, розы попали в руки Лиане.

Вечером следующего дня, в понедельник, Даур выждал Лиану в скверике напротив проектного института, где она работала, и, быстро нагнав "случайно встреченную знакомую", пошел рядом. Поболтали о том, о сем, а потом он, будто между прочим, спросил:

— Да... Вы получили вчера цветы, которые я послал с мальчиком?

Затягивать развитие событий у него не было ни резона, ни — за неимением общих друзей и прочих точек соприкосновения — возможностей. Поэтому он сразу открыл свои карты, сказав, что она ему очень понравилась, и предложив объединить усилия в целях создания здоровой советской семьи.

Последовал отказ, который Даура, конечно, опечалил, но не заставил смириться с поражением.

Тем более, что через пару дней к нему просочилась информация: Лиана пытается выяснить, кто он, да что он, короче — ведет сбор сведений о нем. Ну, ну, собирай, собирай, голуба...

Он стал регулярно встречать ее после работы и провожать до дома. Она не

протестовала, хотя на все попытки вернуться к начатой теме отвечала будто записанным на магнитофон "нет". Судя по всему, она "держала" его в качестве запасного варианта.

Даур не унывал: время работало на него. От кого-то он услышал, что Лиана уже "устала ждать". Не то, чтобы совсем не находилось охотников войти в профессорскую семью — просто таких, чтобы во всех отношениях ее устраивали, не находилось.

Наконец, настал день, когда во время очередного его провожания Лиана сказала: "Хорошо, я подумаю..." Гуляя, они дошли до пустынных в ту зимнюю пору пляжей, и Даур, радостно-взволнованный, предложил: "Пойдем назад по железнодорожной насыпи, по шпалам". С давних, чуть ли не с детских лет, когда он только начинал думать о Единственной и Неповторимой, сложилась в его воображении эта картинка: они с Ней будут идти по этой вот насыпи, будто одни в целом мире, держась за руки и любясь морем. Но Лиана посмотрела на него с удивлением и, сколько он ни уговаривал ее, лишь качала головой. И не потому, что боялась поезда, а просто потому, что не могла понять: зачем шагать столько метров по неудобным шпалам, если есть ровная асфальтированная дорожка?.. В первый момент Дауру стало очень досадно и скучно, но потом он подумал: "А ведь она, пожалуй, права. Почему ей должно быть дело до моих причуд, до возникших некогда в моей голове романтических картинок?"

...Да, и, конечно, по его балльной системе Лиана имела очков пятнадцать, то есть весьма высокий показатель.

Вскоре Даур на правах хорошего знакомого и увлеченного книголюба, интересующегося редкими изданиями, стал вхож в дом, а потом был и приглашен разделить семейную трапезу. Поначалу робел за столом — стыдно вспоминать, как привставал каждый раз, когда к нему обращались, терялся, чуть-чуть — и хвостиком (имейся у него таковой) завилал бы. Но в итоге он будущему тестю все же понравился и в следующий раз чувствовал себя здесь гораздо уверенней.

А ведь какие люди бывали до него за этим столом!.. Да, он должен, он обязан был войти в этот круг, где пьют кофе не просто со сливками, а со сливками общества... Ухаживал красиво. Один раз, в день ее рождения почти всю зарплатку (слово-то какое, вроде "заплатки") употребил на корзину с семьюдесятью семью роскошными гвоздиками. Семьдесят семь — это было магическое счастливое число.

Свадьбу им справили по высшему разряду...

Поселились у Даура, рассчитывая в ближайшем времени на кооперативную квартиру, но вскоре возник другой вариант: умерла одинокая престарелая бабушка Лианы, имевшая дом на Маяке, и родители Даура перебрались туда, оставив молодым квартиру (после хорошего ремонта) в полное распоряжение.

Ну, а Астанда... Можно было бы, конечно, пригвоздить сейчас Даура к позорному столбу, заклеить как отступника и предателя, который, представ перед нравственным выбором, предпочел... и так далее. Только ведь не было, господа присяжные заседатели, никакого выбора! Уже задолго до той самой встречи с Лианой на дне рождения их отношения с Астандой прекратились, исчезли, как исчезает, бывает, в никуда, уходит в песок река в пустыне.

Произошло это не сразу. В каждом человеке, наверное, живет потребность в

созерцании прекрасного, в нежности и теплоте, и Даур не раз ловил себя на мысли, что его тянет к Астанде именно в те дни и часы, когда эта потребность становится у него наиболее ощутимой, когда ему одиноко. И он приходил к ней, как приходят, скажем, к роднику в лесу, к месту любимому, но неодушевленному, не задумываясь о том, ждет ли он этой встречи.

При этом он был последователен: кроме скромных детско-юношеских поцелуев и хождения по нагорным улочкам, взявшись за руки, — ни-ни! Ибо, как говорил мудрый Сенека: "Пользуйся настоящим удовольствием так, чтобы не повредить будущим".

Таким образом, при желании все то, что было между ним и Астандой, можно было представить как подростковую "дружбу" (хорош, однако, подросток — с вузовским дипломом!) или, может, как "любовь-игру" (да и правда, как еще назвать то, что было в тот жаркий летний день на пляже?). Собственно говоря, в этом он и старался убедить себя, и исподволь — отца, который однажды, нарушая традиционные представления об отношениях старшего с младшим, завел "разговор по душам": — А тебе нравится Астанда? Ее родные, я знаю, не против...

Прибегнув к маске смущения, перевел тогда разговор на другую тему, хотя на душе все кипело: "Астанда... При чем здесь Астанда? Мало ли кто там "не против"!"

Может, как раз это "не против", за которым ему уже чудились красные флажки, заставило Даура свернуть их отношения.

...Встречались все реже и реже: вначале он заходил к ней в студенческое общежитие, куда она перешла поступив учиться, раза два в месяц, потом раз в два месяца...

Появлялся неожиданно-негаданно, будто выныривал из небытия, и никогда не связывал себя договоренностью о следующей встрече.

Астанда была достаточно тонкой натурой, чтобы не чувствовать себя уязвленной, и в то же время слишком гордой, чтобы первой завести какой-нибудь разговор об их отношениях. А так как молчал он, молчала и она.

...Дауру вспомнилось, что была у него в те молодые годы — когда нет-нет да и хотелось поозорничать — такая довольно гнусная привычка. Любил, бывало, поздним вечером по дороге домой пристроиться вслед за какой-нибудь одинокой девушкой, идти в шагах трех-четырех за ее спиной и молчать. Вокруг — ни души, только уличные фонари горят, а там, дальше, в проулке — вообще темень... Не выдержит какая-нибудь, раскричится (ну, это обычно если натура грубая, базарная попалась, не привыкшая особо думать над мотивацией своих поступков) — недоуменно глянешь на нее: "Что с вами, уважаемая? Вы домой к себе? Так и я к себе домой иду, вам не мешаю". Обычно же девушка продолжала нервно, пугливо коситься на его тень до тех самых пор, пока им было по пути и ему не приходило время свернуть к своему дому.

Может, из того же самого ряда было и их с Астандой молчание? Нет, ну уж это, пожалуй, слишком, не стоит так на себя грешить...

Ясно, что бесконечно так продолжаться не могло. Астанда стала встречать его все отчужденней. Пошли недомолвки, затаенные обиды, натянутость в разговорах... Как там поется в одной некогда популярной песне с бодреньким мотивом? "А что случилось? Ничего не случилось: были мы влюблены, а любовь не получилась". А тут уж кто виноват — если что-то не получается или, как говаривал Вадим, не

вытанцовывается?

Через год после его женитьбы и Астанда вышла замуж — кажется, за однокурсника... или на курс старше он учился... Произошло это, рассказывали Дауру, так. Как-то вечером этот парень пригласил ее покататься на машине своего друга. Они выехали за город, и когда свернули в горы, в сторону его селения, Астанда уже начала догадываться, в чем дело. Подъехали к дому его родителей, и тут она наотрез отказалась выходить из машины: не выйду, мол, пока сюда не приедут мои родные. Вряд ли она, говорят, была в общем-то против, но и не собиралась выходить за него замуж в таком скором времени.

Мать Астанды привезти не удалось, а вот родственников — тех самых, у которых она жила в Сухуме, — вскоре привезли. И лишь после длительных переговоров, убедившись в их согласии, она вышла из машины. А в доме их уже ждали накрытые столы и гости, которым не терпелось поднять стаканы за молодых...

Помнится, рассказ об этом неприятно кольнул Даура. Хотя казалось бы: а тебе-то чего?.. Может, именно в тот момент, при воспоминании об Астанде, у него впервые мелькнула сравнение Лианы с безвкусным пресным хлебцем для диабетиков? И еще одна дурацкая мысль маячила какое-то время в сознании: будто тогда, сидя в машине и дожидаясь родственников, Астанда, скрывая сама от себя, надеялась, что каким-то сверхъестественным образом он, Даур, узнает о случившемся и примчится, успеет... Но он тут же с усмешкой отгонял эту мысль.

Сколько же зим сменилось после той самой новогодней ночи, когда он впервые встретился с Астановой?.. Некоторые из них были в городе совсем бесснежными, в другие снег изредка выпадал. Шел он обычно ночью, а утром быстро таял под лучами солнца, превращаясь в подобие жидкого стекла, смешиваясь с грязью, хлюпая под ногами. И не раз, с отвращением пробираясь по этому студню, Даур вспоминал ту зиму и тот снег...

Не раз он думал о том, что та или иная девушка нравится ему только потому, что чем-то, пусть даже отдаленно, напоминает Астанову. Часто, идя по улице, оглядывался, увидев ее каштановую челку, ее стройную фигуру. Но это, конечно, оказывалась не она... Астанда жила в селе и почти, кажется, не появлялась в городе. Как-то раз он забылся, придя домой после затянувшегося застолья, и, обнимая ночью жену, пробормотал: "Астанда..." Лиана никак не среагировала: скорее всего сделала вид, что не расслышала, не поняла. Она вообще была очень уравновешенной и спокойной, его маленькая заботливая серьезная жена, его "вычисленное счастье". И эти ее уравновешенность и спокойствие доводили его порой до тихого бешенства.

Обычно он заранее уже знал, что она скажет в ту или иную минуту. Едва заходил в квартиру, из глубины ее неслось: "Надень тапочки!" (хотя лишь раз, кажется, за все время он прошел на кухню не переобувшись — потому что руки были заняты кучей магазинных свертков). Когда на экране телевизора появлялось лицо известного музыканта, он уже знал, что в следующую секунду она его "узнает": "А-а, это любовник этой самой... как ее...", а если выходила петть не менее известная певица — сообщит: "Я ее не люблю" ("Ну и не люби себе на здоровье, только мне, мне-то что до твоих любовей и нелюбей?!").

...Лиана, будто услышав во сне его мысли, произнесла что-то невнятное и

перевернулась на спину. В посветлевшей комнате хорошо были видны ее профиль, жирно блестящая от крема щека. "Пробормотала что-то, как команду себе дала перевернуться!" — продолжал по привычке заводить себя Даур.

И все-то у нее было целесообразно, все продумано. Порой Дауру казалось: если она когда-нибудь вдруг попадет под машину, то только под "скорую помощь" — чтобы тут же, на ней, и быть доставленной в травмопункт... И еще в ней жила святая вера в необходимость буквального следования любым предписаниям. Если в газете было написано: "Отмена летнего времени производится по всей территории страны 29 сентября, ночью в три часа переводом часовой стрелки на час назад", то она так и делала: ставила будильник на три часа ночи, просыпалась, переводила назад стрелки на всех часах в доме и, успокоенная, с чувством выполненного долга, ложилась спать.

Однажды его сильно уязвила случайно услышанная история — лет в семнадцать Лиана всерьез комплексовала по поводу своей невзрачности, и мамаша, женщина не без чувства юмора, стала ее успокаивать: "Да не бойся, купим мы тебе мужа!" Как-то читая в постели на сон грядущий неизвестный ему до того роман Чапека, Даур наткнулся в нем на одно место и похолодел — словно про него было когда-то, задолго до его рождения, написано:

"Вспомни только, как часто, лежа рядом с ней, спящей, ты думал: 'Господи, задушить бы ее! Сдавить обеими руками эту шею и сжимать, сжимать... Только вот вопрос — что делать с трупом... Глупости! Не было этого — да если б и было? Как можно отвечать за такие мысли? Допустим, человек никак не уснет и злится, что жена спит так спокойно? И скажи на милость, за что мне было ее ненавидеть?'" Хорошо хоть, что сохранилась у него эта способность прочно запираť свои мысли в черепной коробке. Если не считать, конечно, случая, когда ночью расслышался, пьяненький: "Астанда..." Впрочем, Лиане это имя наверняка ничего не могло сказать.

В принципе он не ошибся в благожелательности и помощи тестя. И в НИИ работать перешел, и защитился... Но все чаще в последние годы в голову приходила мысль: ведь всего, чего добился, вполне мог добиться и не принося этой жертвы. "Жертвы"? Но когда-то он так совсем не думал...

Жизнь, кстати, все равно расставляет все по своим местам. Вон хоть и Гурам теперь "остепенился", а не случайно ходит за ним по пятам ироническое прозвище "Умный". Борис же так или иначе, а заявил о себе своими работами во всеуслышанье.

Даур стал замкнут, раздражителен, ввязался зачем-то в совершенно не нужную ему склоку в институте, стоившую столько нервов... Сам замечал, что привычным для него стало мнительно-подозрительное состояние человека, которого только что обманули или собираются обмануть.

А может, просто те дивиденды, на которые он рассчитывал в этом браке, оказались недостаточными?

Нет, нет, теперь-то, когда все чаще начинаешь вести счет годам не только от начала, но и от конца, прикидывая, сколько тебе осталось, только теперь и начинаешь видеть все в истинном свете. И понимаешь, насколько был глуп, насколько банально-самонадеянно был глуп в годы, когда казался себе таким рано

повзрослевшим и поумневшим.

Что ж он, подлец, натворил со своей жизнью!..

Лежа сейчас в полутемной спальне рядом со своей законной нелюбимой женой, Даур тихо застонал, вспомнив, как несколько лет назад, именно здесь, на этой кровати, в этой комнате, придя домой в новогоднюю ночь после игры в снежки с Астандой и Баташкой, он все засыпал и никак не мог заснуть и все длилось и длилось то измучившее его вконец состояние счастья... Да, да, как будто ничего вокруг не изменилось — тот же ночной столик под рукой, те же смутные очертания окна! О, с какой силой он навалился бы сейчас на несуществующий рычаг несуществующей машины времени, способной перенести его в ту ночь!

...Впрочем, необязательно в ту ночь. И спустя полгода, год, даже полтора — было бы еще не поздно.

"Астанда, милая моя, дорогая, единственная! Прости меня, что я не доверился своему сердцу, слышишь, прости! — Даур с силой ткнул кулаком в подушку, да так, что, прихватив прядь волос, поморщился от боли. — Мало тебе еще, гадина, мало!" Вспоминая все заново и в очередной раз казня себя, он думал сейчас, что подобно всем мелким натурам постоянно боялся тогда продешевить и потому привязанность к нему Астанды воспринимал с подозрением, как свидетельство того, что не такой уж, может, она ценный товар. Между тем как все наоборот, и если уж прибегать к его любимой балльной системе, то самый высший балл там следовало бы давать за способность девушки любить и ее любовь к тебе..

...Однажды ему приснилось какое-то очень знакомое место. Это была лужайка, которую со всех сторон обступили сады: с нежным белорозовым цветением яблонь, с кустами диковинных, пышно разросшихся цветов. Запомнилось тугое гудение пчел, смех играющих где-то поодаль детей (среди которых был, кажется, и он) и закатное солнце, озаряющее всю эту картину мощным и в то же время мягким светом. Как же необыкновенно хорошо ему там было! Такое чувство уюта и счастья испытываешь только попадая в самое близкое и дорогое с детства место. Это прародина твоего сознания, тот заветный уголок, где малышом ты сидел в высокой траве и открывал для себя облака, солнце, пение птиц... Проснувшись, Даур долго перебирал в памяти места, где рос, где вообще когда-либо приходилось бывать. И, наконец, догадался: ему же приснился, и приснился точно, до мельчайших подробностей, тот самый пустырь возле его дома. Станным в сне было то, что в этот дом они переехали, когда он уже заканчивал школу, и место это никак не могло быть связано в его памяти с детскими воспоминаниями...

А как-то недавно Даур ехал в автобусе с двоюродным дядей, тем самым, у которого когда-то жила Астанда, — возвращались с похорон одного родственника. Несколько выпитых на похоронах стаканов вина придали разговору элегическое настроение. Зашла речь об Астанде. "Сколько мы в ту ночь ждали вас, беспокоились, — усмехнулся дядя. — А когда она вернулась, долго еще спать не ложилась. Сидела у камина, в огонь смотрела. "А он неплохой мальчик", — говорит вдруг. "А кто тебе сказал, что плохой? — засмеялся я. — Конечно, неплохой..." Эх, вы, молодо-зелено..."

И надо же было тетушке Фериде — теперь, когда уже отболела душа, — притащить этого ребенка, сына Астанды, который мог, сложись иначе его судьба, быть его

сыном...

"Астанда, — не раз шептал он, идя по улице, и от жалости к себе сжималось сердце. — Если бы ты знала, как часто я думаю о тебе и как мне без тебя плохо!"

Но ведь когда-то, когда-то это было — и это воспоминание, у него уже никому, никогда не отнять — мокрые, блестящие от дождя кусты приморского сквера, песчаная дорожка и ослепительные иероглифы молний в ночном небе.

И тот бесконечный жаркий июльский день на пляже, весь наполненный ожиданием счастья.

И теплый снег...

1988

Арзамет

Памяти Ивана Кокоскира посвящаю

До чего же хитроумно бывает сцепление зубчиков всех этих бесчисленных разновеликих шестеренок — мелькающих в течение дня событий, одно из которых предопределяет другое, а то неумолимо влечет за собой третье... Вот и нынешний ясный нежаркий день в начале лета не предвещал Арзамету ничего, кроме посильной возни по хозяйству да кое-каких дел по обновлению экспозиции его домашнего музея, а в итоге — перевернул всю душу... И ведь что несомненно: не было б никакой встречи в автобусе; не вздумай он отправиться в город, ехать же наверняка не пришло бы в голову, не обрядись он к этому времени в свою амуницию...

А началось все незадолго до полудня, когда у ворот засигналила черная райкомовская "Волга" и из нее вышли двое: колхозный парторг Мусик Палба и незнакомый Арзамету толстенький лысоватый парень с комсомольским значком на лацкане пиджака. Мусик скучным голосом поведал, что через полчаса в село на встречу с долгожителями прибывают японские туристы, а посему Арзамету надо срочно переодеваться во все "долгожительское". И хотя душа Арзамета, который уже примерялся было к старым рваным штанам и поношенной рубаше — идти в огород невестке помогать — сразу же радостно встрепенулась, виду не подал, даже повозмущался для порядка (в основном перед старухой своей и старшим внуком): надоело, мол! Как японцы в село какие: "Арзамет, выручай, ты ведь у нас и то, и это", а как шифер для крыши выписать — два года не допросишься...

Мусик скорбно молчал, давая понять, что ему нечем возразить на эту справедливую критику в адрес председателя колхоза, но после того, как Арзамет поинтересовался, кого, собственно, у них в селе можно отнести к атахмада (старцам), и выразил осторожное сомнение, есть ли они вообще, не выдержал и яростно обернулся к комсомольцу (Арзамет слышал дальнейшее уже из соседней комнаты, куда ушел переодеваться):

— Понял, что участник всемирно известного ансамбля "Нартаа" говорит? А я тебе что доказывал? Долгожители с девяноста лет начинаются, а у нас самому старшему

— спасибо скажи, если восемьдесят наберется...

Комсомолец — он был в явно послебанкетном состоянии и до этого момента с трудом поднимал припухшие веки — вдруг тоже взорвался:

— Мне, Мустафа Киаминович, ничего не надо объяснять, ты иди в обком партии и Квеквеция все объясни. ...Им хорошо там в прохладных кабинетах сидеть и команды по телефону отдавать. Я грю: при чем тут вообще мы, этим "Интурист" должен заниматься, и тем более у нас в районе какие долгожители? А он грит: все понимаю, но безвыходное положение. Кто-то там, видишь ли, что-то забыл или перепутал, как всегда, а японцы настаивают, у них тургруппа специализированная, как раз геронтологией интересуются. И два часа свободных у них в программе всего осталось, куда, мол, успеем еще свозить?

— Геронтологи, мать их... — вполголоса выругался Мусик и обернулся на звук шагов появившегося Арзамета. — Ладно, не в первый раз. Вот у нас Арзамет Дигович один чего стоит!

Арзаметом и впрямь в тот миг нельзя было не залюбоваться. Только что, в домашней одежде — сухощавый, если не сказать тщедушный, старик, похожий на отломившийся от дерева сухой сучок, сейчас он — в черкеске и белой каракулевой папахе, в горделиво блестящих азиатских сапогах, перепоясанный наборным ремешком, с кинжалом в отделанных мельхиором ножнах на боку — выглядел удивительно молодцевато, едва ли не как юноша. Эх, если бы не лето на дворе! В другое время года он накинул бы еще на плечи белую пушистую бурку, в которой выглядел вообще орлом... Правда, сам же порой начинал жаловаться, что при собственном весе в шестьдесят килограммов, при "полной амуниции" (в нее входили еще и тяжеленный револьвер "Германия" со сбитым бойком, и его знаменитая шашка, и многочисленные медали со значками, приколотые над газырями черкески) приходится носить на себе килограмм пятьдесят — почти при таком же собственном весе...

...Когда уже подъезжали к правлению, комсомолец завидев шедшего вдалеке бездельника и пьяницу Никуалу попросил водителя притормозить и заорал, высунувшись из машины: "Эй, товарищ, можно вас? У вас дома черкеска есть?" — и лишь потом оглянулся на Мусика: "Этого возьмем?"

"Это Никуалу-то, которому за шестьдесят едва перевалило?" — возмутился в душе Арзамет, но Мусик в отчаянии махнул рукой: "Делай уже, что хочешь..."

Через полчаса у конторы собралось-таки человек семь "долгожителей". А тут и японцы на интуристовском "Икарусе" подкатили. Один за другим — черноголовые, увешанные фотоаппаратурой — они медленно, с комической даже степенностью выходили из автобуса, оглядывались вокруг: на лесистый склон холма, словно драпированный зеленым плюшем со светлыми потертостями, живописную группу стариков у входа в приземистое здание правления, белые кристаллики многоэтажных домов, как бы выпаренные цивилизацией на плато за рекой, и синеватую стену гор, которая возвышалась над всей этой картиной...

Расположились в председательском кабинете, где на "ножке" Т-образного стола уже красовалось организованное Мусиком в соседних дворах угощение: лиловые, отливающие свинцовым блеском сливы, желчные груши, персики — румяные и пушистые, как незнакомый еще с бритвой подбородок юноши, и похожие на

багровых змей, которые наглотались орехов, чурчхелы...

Пока тучный и обстоятельный председатель колхоза Лейба рассказывал гостям о положении дел в основных отраслях хозяйства (в очередной раз поразив Арзамета памятью на великое множество цифр), двое молодых японцев — юноша и девушка — незаметно поднялись со своих мест и, мягко, по-кошачьи ступая, оказались вдруг на высоком подоконнике, откуда затем принялись общелкивать сидевших затворами фотоаппаратов...

Наконец, перешли к разговору непосредственно о долгожительстве. Японцы задавали вопросы, а похожая на лисичку, с остреньким подбородком, переводчица излагала их на русском. Не сказать бы, что кто-то из стариков не понимал по-русски, но энергичный коротышка с продолговатой лысой головой — то ли из "Интуриста", то ли из обкома, — словно боясь оказаться здесь ненужным, начал переводить ее слова еще и на абхазский, впрочем — довольно плохо.

С самого начала японцы прицепились с вопросами к Никуале, хотя в том если и было что, на взгляд Арзамета, примечательного, то разве только огромные уши, похожие на оброненные и ненароком растоптанные на полу вареники. Причем первый же вопрос — о возрасте — поверг Никуалу в панику, и он беспомощно оглянулся на председателе:

— Что сказать?

— А сколько тебе?

— Шестьдесят пять...

— Ну, скажи... семьдесят пять.

"Этому аксакалу, — не моргнув глазом, "перевел" коротышка, — восемьдесят шесть лет". Японцев интересовали: род занятий и состав семьи Никуалы, режим его питания, сколько лет прожили его родители и родители его родителей... Арзамет даже посочувствовал коротышке, который из сил выбивался, чтобы превратить бесхитростные ответы Никуалы в "правильные": и что всю-то жизнь он активно трудился по дому и в общественном производстве (это Никуала-то, хе-хе, который давно забыл, с какого конца за мотыгу браться), и что пища его состоит к основному из свежих овощей, зелени, вареного мяса, буйволиного сыра, а главное, конечно, — кислого молока... ("Хочешь долго жить — пей побольше кислого молока", — не преминул вернуть он поговорку). Острые приправы — да, мол, употребляет, а вот соли — самую малость; при этом даже попенял японцам, что те, мол, напрасно много соленой рыбы едят (коротышка, понятное дело, попенял, не Никуала). Но тут японцы решили что-то уточнить по поводу кислого молока, а Никуала возьми и брякни по-русски: "Какое там молоко... Несколько лет уже как продали со старухой корову, не смогли держать, а покупать сейчас — три рубля литр стоит..." "Лисичка" тут же принялась на японский переводить и, наверное, половину успела перевести, когда коротышка опомнился и, гневно перебив ее, начал с увлечением рассказывать о целебных свойствах молочного напитка ахшца, который получается, если на дно деревянной кружки положить раскаленный в очаге гладкий морской или речной камень и доливать в нее козье молоко.

В этот момент Арзамет понял, что пора ему брать бразды правления разговором и соответственно судьбу встречи в свои руки.

— Как говаривал мой дедушка по материнской линии Харазиа Тараш, проживший

105 лет, для того, чтобы понять, почему абхазцы так долго живут, надо просто оглядеться вокруг. Посмотрите, уважаемые, направо, — не понимая пока еще слов Арзамета, японцы тем не менее автоматически проследили за направлением его руки и увидели колыхавшееся за окном море, — теперь посмотрите налево, — в другом окне лиловели заостренные кверху белым далекие горные хребты. — Разве захочется человеку, даже если он и прожил уже девяносто, сто лет, оставлять такие красивые места?

После того, как "лисичка" перевела (чтобы избавить коротышку от ненужных хлопот, Арзамет говорил по-русски), японцы заметно оживились, заулыбались, некоторые даже вновь взялись за блокнотики, в которые поначалу записывали все подряд. Старики тоже после этого разговорились — уже без всяких наводящих вопросов. Один толковал, что долголетие высокогорье дает — поэтому надо каждое лето в горы скот пастись уходить, другой — что надо побольше "фрукту кушать". А Никуала начал развивать свою версию — что самое главное не спешить жениться: от ранних браков, мол, рождаются физически слабые дети, не способные жить и работать долго; нормальный возраст для женитьбы — лет тридцать пять. А в общем, — снова взял слово Арзамет, — главное дожить до семидесятилетия, а дальше уже "все пойдет, как под горку".

— А почему раньше в Абхазии долгожителей было больше, чем сейчас? — задал вопрос Арзамету высокий седовласый японец, самый на вид пожилой из них.

— Я сам долго над этим думал, — вздохнул Арзамет. — Наверное, все-таки дело в микробах...

Коротышка настороженно уставился на него.

— ...Ведь и дедушка мой Харазиа Тараш, и Ванача Теймураз, не говоря уже о знаменитом Ашхангерии Бжаниа — все они родились и выросли задолго до того, как стало известно об этих самых микробах, и потому меньше, наверное, волновались... Ну, а если серьезно хотите, товарищи японцы... Вы, когда сюда ехали, видели, наверное, с левой стороны чайную плантацию, а на ней — двух женщин и ребенка лет двенадцати. Так куда ему сто лет прожить, этому мальчику, если он с малолетства все лето под палящим солнцем чай собирает? Спасибо еще Нестору Лакоба, что не дал в Абхазии хлопок разводить...

Если раньше Арзамет чувствовал, что коротышка испытывает от его шуток-прибауток явное раздражение, то теперь и Лейба заерзал на стуле, а лицо его, и так похожее на ахул *, стало вообще багровым от возмущения. Но Арзамет считал, что самое лучшее в подобных случаях — не обращать на таких внимания. Прочно ухватив в свои руки нить беседы, он начал рассказывать, что в последнее время у него стали слабеть глаза, но обнаружилось неожиданное лекарство — как поедет в город, выйдет на набережную, где "импортные женщины" гуляют, — сразу почему-то зрение улучшается.

И вот только-только, значит, нащупали они контакт, только разговорились, а коротышка, будь он трижды неладен, уже вскочил, заторопился: ну все, мол, спасибо за гостеприимство, за беседу, нам пора, по графику нас новоафонская пещера ждет. Да пещера эта уже пять миллионов лет их ждет, или сколько она там существует... ничего бы с ней не случилось, если б еще час-полтора подождала, пока люди поговорят. И понимал ведь Арзамет, что этого коротышку ничем не

проймешь, и все-таки не утерпел, подошел к нему, когда все уже стали подниматься и прощаться, и вежливо, культурно так взял под локоток: это, мол, много времени не займет, я тут совсем близко от трассы живу — прошу, в общем, товарищей японцев посетить мой домашний музей.

Тут никак не обойтись без того, чтобы, пусть даже кратко, не описать этот самый музей Арзамета. Начал он собирать его экспонаты лет десять назад. Сперва здесь были развешанные по стенам небольшой комнаты доставшиеся от предков, родственников и знакомых кинжалы и прочее оружие, папахи, седла (причем одно женское, на котором когда-то привезли сюда, в Эшеру, бабушку Арзамета...). Потом к ним прибавились макет апацхи **, подаренный соседом — народным умельцем, многочисленные альбомы с разными вырезками из газет и журналов и фотографиями (в том числе и та, на которой молодой Арзамет красовался в качестве кавалериста — чемпиона эскадрона по рубке), старинные ковры, чеканки и почему-то еще игрушечная железная дорога. По периметру комнаты в разных направлениях шли разноцветные лампочки, которые при включении начинали вовсю мигать, чем неизменно приводили самого Арзамета в восторг. Он так полюбил свой "домашний музей", что вскоре перебрался в эту комнату спать. Некоторые относились к этому его увлечению как к причуде: старый, мол, что малый — но большинство в селе, между прочим, любило похвалиться музеем, да и самим Арзаметом, как несомненной местной достопримечательностью. Заглянуло даже как-то районное начальство. Все ему пришлось по душе кроме одного: трех картинок полуголых соблазнительных девиц, которые Арзамет приклеил к стене над кроватью у себя в ногах. "А это зачем здесь?" "Все-таки вы хоть и умные, но не совсем, — ответил, рассказывали, Арзамет. — Так ведь если б я их вон на ту стену приклеил, шея бы искривилась постоянно туда смотреть..."

Вот в этот-то музей, хоть на минут десять, и мечтал сейчас затащить японцев Арзамет. Но коротышка, как и следовало ожидать, стоял насмерть, тем более, что ему представилась возможность поважничать. "Ну ладно, — видя, какое дело, предложил компромисс Арзамет, — тогда хоть на пару минут задержитесь, я станцевать перед вами хочу".

Ну и что, если не было музыки — ладоши стариков да перевернутое подобрешшим председателем и использованное в качестве бубна донышко стула послужили отличным музыкальным сопровождением. Выйдя на середину комнаты, Арзамет исполнил несколько характерных па абхазского танца и закончил его столь резво, азартно, что вызвал неопишуемый восторг японцев. Тем не менее скоро их "Икарус" уже мягко катил в сторону шоссе...

Осадок на душе Арзамета, что ни говори, остался. Тем более, как он уловил из реплик, которыми коротышка перебрасывался с "лисичкой", после пещеры гостей уже ждала в каком-то месте хлеб-соль. Будь японцы в курсе этого, наверняка бы пригласили с собой и его, неутомимого плясуна и говоруна, истинного долгожителя — пусть и не вышедшего для долгожительства годами, — но разве этот коротышка, с первых минут невзлюбивший его, согласился бы на такую в дальнейшей поездке себе конкуренцию?..

"Что я им, наемный трубадур?!" — сам не заметил, как в сердцах вырвалось у него, когда, погруженный в обиду, стоял уже у решетчатой ограды дома отдыха на

остановке автобуса (раз такое дело, раз при полном параде оказался — решил съездить в город). Тут же, словно очнувшись от звука собственного голоса, оглянулся: не услышал ли кто. И — точно...

— Арзамет, о, Арзамет! — раздался жизнерадостный возглас сына Бадза, который в компании двух молодых людей приближался к нему, картинно воздев в приветствии руки. — Не в город случайно? Тогда милости прошу в нашу компанию... Решили вот с ребятами где-нибудь посидеть, остограмитесь... Маврик приглашает...

— Деньги — как чала *** имею, — в тон ему подтвердил розовощекий, пухленький Маврик, своими мелкими зубками напоминавший какого-то третьестепенного хищника вроде ласки, и звонко похлопал по заднему карману джинсов, которые туго облегали его ляжки.

— Все пропьем, но флот не опозорим, — гаркнул, ударив Маврика по плечу, сын Бадза (Арзамет все никак не мог вспомнить его имя).

Сыну Бадза сейчас, наверное, уже годам к сорока. Плотен, коренаст, с пробивающимися седыми волосами в густом "ежике" и неизменной улыбкой на полных красивых губах. Вообще-то Арзамет никогда не прочь побалагурить с молодежью, но с соблюдением, естественно, возрастной дистанции; этот же сын Бадза, честно говоря, становится порой чересчур дерзким, забывает, что такое "старший-младший". Именно про таких говорят: "Посади ребенка на колени, а он тебя за усы схватит".

— Нет, в другой раз, — сдержанно поблагодарил Арзамет. — По делу еду. Он догадывался, что у приглашающего есть свой интерес: где бы ни появилась колоритная фигура Арзамета в черкеске и папахе, всюду к нему и соответственно его спутникам устремлялись взгляды — особенно со стороны приезжих, а быть в центре внимания, черт побери, приятно. Да и само по себе присутствие Арзамета создавало веселую атмосферу в любой компании.

— Жаль. А на набережной сейчас, между прочим, столько импортных женщин... — вздохнул сын Бадза и повернулся к третьему — высокому парню с влажным пробором светлых волос — типичному на вид представителю "средней полосы". — Кстати, рекомендую, Сева: Арзамет. Тоже воспитанник нашего клуба. Гордость села, танцор, участник знаменитого ансамбля "Нартаа". Что еще сказать? Чемпион эскадрона по рубке, ворошиловский стрелок, обладатель именной шашки Буденного. Его сам товарищ Буденный во все уста целовал... Да у него, бывало, генералы "бычки" докуривали... Правильно я говорю, Дигович?

— Было дело, — кивнул Арзамет, как бы нехотя входя в навязанную ему роль рассказчика-балагура.

— Расскажите.

— Ну, что... Был такой случай. Как-то сопровождал я в поездке одного генерала, а ему курить захотелось. В войну это было, в горах — снег, ветер... Зажег ему спичку, только поднес — задуло. "Что делать, — говорю, — последняя осталась..." Пошутить, в общем, решил. А генерал как разозлился: "Балда, не мог что ли сам раскурить? Сейчас не до церемоний". Ну, закурил я папиросу и ему подаю. Он пых-пых — и задымил...

Молодежь с удовольствием расхохоталась.

— А однажды... — не успев как следует отсмеяться, выдавил сын Бадза, — на фронте в один день тридцать человек из строя вывел... Это когда его на неделю поваром на полевую кухню направили...

— Дай-ка лучше твоих сигарет попробую, — перебил его Арзамет.

— А-а, пожалуйста, — широким жестом протянул ему пачку сын Бадза. — "Загарманичные". Но — крепкие, дядя Арзамет. Человека вашего здоровья с ног валят...

— А ничего, — подмигнул Арзамет новому знакомому Севе, беря три штуки. — Я их лежа буду курить.

— Горный орел... — в восхищении, отступив на шаг и любуясь подтянутой фигурой Арзамета, произнес сын Бадза. — Только у нас такие джигиты бывают.

Представляешь, Сева, один раз нашему участковому его обезоруживать пришлось: повздорил с ним, вытащил свой кинжал и — "в атаку" на него...

— Психическую, наверное?

— Ну, конечно, психическую. Но три дня потом порог милиции обивал, чтобы кинжал вернули... Да, чуть не забыл: он же когда-то на самого Берия помочился, и ничего ему за это не было...

Арзамет скромно кивнул.

— Как "на Берия"? На какого?

— Ну как на какого? Лаврентия Павловича. Он тогда в Сухум приехал и к каким-то родственникам зашел, а Арзамету Диговичу годик и три месяца было, и его мать с ним у этих самых родственников гостила. Ну, начал Лаврентий Павлович с ним играть, вверх подбрасывать, а тот возьми и пусти в него струйку — прямо на шею, на грудь... Все вокруг перепугались, потому что Берия уже тогда большой человек считался, но ничего, обошлось... А Арзамету Диговичу рассказали об этом уже только после пятьдесят третьего года...

— Ауф, — воскликнул в этот момент Маврик, — посмотри, Боря, как раз твой вкус — кофе с молоком...

Все посмотрели на стоявшую рядом хорошенькую, загорелую до орехового блеска белокурую курортницу лет двадцати, которая, надо отдать ей должное, не стала кукситься, а отреагировала на дружное внимание к себе открытой белозубой улыбкой.

— Сочная, — глядя на свежий цвет лица девушки, на гладкую кожу ее плеч, с одобрением произнес сын Бадза. — Эх, жаль, что я уже ушел из большого секса... Просто ангел в джинсах... Как ваше просвещенное мнение, Арзамет Дигович?

— Что день грядущий мне готовит?.. Ее мой взор напрасно ловит! — скороговоркой выпалил вдруг Арзамет, сопроводив эту декламацию выразительным движением правой руки по направлению сперва к девушке, а потом к своим глазам.

— А вон ту как бы ты, дядя Арзамет, охарактеризовал? — отсмеявшись, кивнул сын Бадза на худую девицу в желтой шляпке и пестрой жакетке. Та стояла вдали, метрах в двадцати.

— Фестивальная эксцентричка, — едва взглянув в ее сторону, отрезал Арзамет. Компания снова загоготала.

Потом сын Бадза, заранее ехидно поглядывая на Маврика, начал рассказывать Севе свой изрядно надоевший уже в селе анекдот:

— В Москве на вокзале подходит, значит, один к кассе: "Мне, пожалуйста, билет до Лиссабона". "Лиссабон? Что за Лиссабон? Это где такой?" — кассирша растерялась, в карту на стене смотрит... А тут следующий подходит: "Мне — до Эшеры". "До какой Эшеры желаете — до Верхней или до Нижней?" ... Ну, что, Маврик, молчишь? "Неправильный" анекдот, да?

Маврик сперва собирался отмолчаться, а потом все-таки не выдержал, буркнул: — Конечно, неправильный. В Верхней Эшере откуда железная дорога?..

И это вызвало куда больший смех, чем сам анекдот.

Так бы и продолжалась эта трепотня, если б не появился, наконец, "пятнадцатый". Все стоявшие на остановке быстренько загрузились в него, а Арзамету даже досталось сидячее место — какой-то паренек шустро вскочил, уступил. Рядом, у окна, сидела седая женщина в черном...

Кто из них первый узнал — точно и не скажешь. А может — одновременно.

Расцеловавшись, как водится, начали друг дружку расспрашивать, что до как...

Анета, как выяснилось, на оплакивание свояченицы приезжала, а вообще в селе уже несколько лет не была. А что до Арзамета, так он ее, надо сказать, вообще уйму лет не видел — удивительно, но как-то все не встречались нигде, хоть и жила Анета не за тридевять земель — всего-то навсего в соседнем районе.

Пористая, как кожура позднего, побуревшего апельсина, кожа лица, рука в старческой гречке — неужели это та, которая когда-то была Анетой?..

Да, все те же ее прозрачные выпуклые скорлупки ногтей...

Красиво изогнутые брови, к молочно-белой шее прильнули мягкие темные пряди волос, тоненькая талия и нежная ласковая улыбка — Анета из того далекого послевоенного года... Какой же это был год — сорок шестой или сорок седьмой? Год молодой радости, крепкого, здорового тела, удачи во всем...

Вернувшись домой после войны с одним легким ранением и двумя медалями, ранее ничем не примечательный Арзамет неожиданно оказался в селе одним из завидных женихов. Наверное, и на фоне оставшихся (многих ведь лучших-то не досчитались) как-то по-другому уже смотрелся, да и сам изменился. Начинал, кстати, служить еще до войны, в кавалерийской дивизии, и во время одного из смотров был отмечен лично Буденным...

В колхозе приняли хорошо, поставили бригадирствовать; выяснилось, что и язык у него неплохо подвешен. Вот тогда-то ему — тщедушному, небольшого роста — и закралась в душу мысль, которая раньше вряд ли могла бы прийти и от которой теперь ему все чаще становилось трепетно-радостно, — об Анете.

...Он входил в клетушку приемной председателя колхоза, где за фанерной перегородкой сидела Анета, и сердце билось так, как, кажется, никогда не билось на фронте, во время самых страшных артобстрелов. Шел дождь: серая скучная вода стекала с неба, и все вокруг было наполнено этим бесконечным серым цветом.

В селе было немало красивых девушек, но Анета... Этого, наверное, и не выразишь словами: было что-то во всей ее стати, легкой походке, изгибе шеи, быстром взгляде темно-синих глаз, мелодии голоса, что, соединяясь, выделяло ее из всех хорошеньких и красивеньких, делало волнующе-недостижимой.

Прямо ей сказать или так, как многие поступали, через третье лицо, — никогда бы не решился. Чтоб кто-то потом, когда ничего не выйдет, посмеялся: куда, мол, конь

с копытом, туда и рак с клешней? Стать посмешищем, человеком, потерявшим чувство реальности? Нет, ни за что! Надо поэтому было сделать как-то так, чтоб, как говорили старшие, и мясо поджарить, и вертел не спалить..

Останавливался, бывало, встречая Анету — а отношения у них установились хорошие, дружеские, — начинал как бы в шутку разговоры разговаривать: ну что, мол, наша красавица, замуж не собираешься? Есть, между прочим, у меня для тебя неплохой парень... Та смеялась, отшучивалась. И постепенно он приходил к мысли, что настало время более определенного разговора. Узнав как-то случайно, что в конторе, кроме нее, никого не будет, решился. А тут — этот дождь... Приближался, чтоб не вымокнуть, короткими перебежками, очутившись в коридорчике, остановился отдышаться, отряхнуться...

Когда Анета — на лице приветливая улыбка, высокий узкий бюст затянут в сиреневую кофточку — поднялась навстречу, у него перехватило дыхание... Но не успел вымолвить и слова, как зазвенел телефон и она начала объяснять кому-то, куда и зачем уехал председатель. Разговор по телефону длился довольно долго. Сам не зная, досадовать ему на эту неожиданную отсрочку разговора (о котором Анета еще ничего не знала) или радоваться ей как возможности продлить надежду (которая, быть может, рухнет через минуту), он все смотрел на ее высокую грудь, мягкие темные волосы, льющиеся к шее, худенькие пальцы, сжимающие телефонную трубку... Но вот она прижала, наконец, этой тяжелой неуклюжей черной трубкой двузубые черные вилки рычагов телефона и подняла на него все тот же ясный взор...

— Анета, помнишь, я тебе говорил о том парне, который давно к тебе присматривается... ну, которому ты нравишься?

За этим началом по замыслу должно было последовать несколько несущественных промежуточных фраз ("Да, помню, помню, только ты все не говоришь, кто такой..." "Здесь, у нас, в Нижней Эшере живет..." "Так что он, — со смехом — свататься ко мне хочет, что ли?" "Ну да..."), а потом, наконец, признание: "В общем, Анета, я сам себя имел в виду под тем парнем..." И — будь что будет!

Но разговор не потек по намеченному руслу, потому что Анета вдруг сказала: , — Нет, не стоит даже... Не надо... Понимаешь, Арзамет, у меня другой вкус: я люблю, чтоб парень высокий был, широкоплечий...

Ну, "а как ты думал: разве не могла она понять, догадаться из многочисленных его разговоров на эту тему, к чему он клонит?

— Да?... Ну что ж, так тот, о котором я говорю, вполне, можно сказать, такой", — залепетал он, пытаясь теперь хотя бы с честью выйти из игры, — ну, может, не такой уж великан...

Странно, но из конторы выходил с чувством облегчения, довольный собой, едва ли не веселый: вот ведь как удачно все обошлось — пусть хоть мясо не поджарил, но зато и вертел не сгорел... Главное — теперь все выяснилось, и не надо будет сомневаться, мучиться... А она — умница! Какая она все же умница — не дала договорить ему то, что потом при встречах неизбежно жгло бы стыдом, пощадила его самолюбие, сделала вид, что речь и впрямь идет о ком-то другом... И ему после ее слов ничего не оставалось, как довести эту игру до конца...

Но под этим слоем мыслей холодела тоска: вот и все, не видать ему уже в этой

жизни... ничего...

Через несколько месяцев Анета вышла замуж в Гудаутский район. Арзамет тоже в холостяках не остался, подыскали ему родители подходящую невесту, посватали... Сказать, чтоб "с горя женился" — не скажешь. Жена ему неплохая попалась, грех жаловаться. Но... Так, кажется, и проносил все эти годы под сердцем холодок той тоски... А Анета для него будто в воду канула: а Абхазии, рядом, жила и в родное село, говорят, не раз приезжала, а вот не виделись почему-то: ни на свадьбах, ни на похоронах... Четверо детей у нее, внуки взрослые. Да и Арзамета всевышний потомством не обидел: трое правнуков уже...

И что удивительно: ни в юности, ни в зрелые годы он не чувствовал себя так уютно и "при деле", как в старости. Наверное, и впрямь у каждого человека есть его возраст. Вот и Арзамет вдруг, оказалось, вошел в роль старичка — острослова и балагура, участника ансамбля долгожителей и местную "достопримечательность" плотно, как нога входит в хорошо пошитый сапог из мягкой кожи...

...Какой-то крошечный осколок разговора засел в мозгу и мучительно ныл там. Погоди, как же она сказала?

Внизу горящим на солнце клинком вытянулось море. Выдохшийся "пазик" застрял на миг в высшей точке подъема, и в этот момент морщинистая старуха Анета спросила его: "А как Дикран поживает — тот, что за меня когда-то сватался?" Со смехом спросила, со все той же мягкой улыбкой. Какой Дикран? Дикран Ласурия, пояснила она. Ах, этот рыхлый толстяк, его сосед, которого столько лет мучает гипертония... А что ему, живет, как все. Новый дом вот недавно закончил строить... И лишь когда уже подъезжали к городу, тысячу раз до этого повернув в голове и так и этак ее вопрос, произнес с заранее отрепетированным про себя смешком: "А что, действительно Дикран когда-то к тебе сватался? Я что-то и не слышал..."

А глаза ее — темно-синие, проникновенные — так и не изменились за все это время. Но, как и тогда, поди разбери, что таится в их глубине: насмешка или бесхитростность, святая простота? "Ну, сватался — не сватался... Так ты ведь сам же об этом мне и говорил. А я еще тебе ответила, что такие, как он, толстяки, мне не нравятся. У меня на работе, в конторе говорили, помнишь?"

— Да, вспоминаю что-то, — пробормотал Арзамет и уставился за окно, чтоб скрыть поселившееся в душе смятение. Неужели и впрямь она посчитала тогда, что он имел в виду своего толстопузого соседа Дикрана? Но почему? Что в его словах могло быть воспринято как намек на это? Господи, не дай мне сойти с ума...

Был уже поздний вечер молодого, окрашенного в нежно-зеленые тона лета — с отгорающей зарей, с проступающими на небе бледными звездами, когда, пройдя по шаткому мостку через ручей, Арзамет остановился у подножия холма, на котором стоял его дом. Остановился и застыл, будто впервые увидев эту цепочку кипарисов, спускавшихся вдали по пологому склону, заросший мелким кустарником берег ручья, горный хребет, нависший вдали, как нахмуренная седая бровь старца... Много десятилетий эту картину изо дня в день видели перед собой его родители и родители его отца, родители его деда...

И все это — точь-в-точь как тогда, в тот знойный день, когда ему было девять лет... Никогда ни до, ни после не было на памяти Арзамета такой невыносимой жары. Тень не спасала. Вместе с соседскими ребятами он то и дело залезал в мелкую,

по пояс, безымянную речушку — приток Шицквары, но это не приносило облегчения; стоило вылезти на берег — и мокрые их спины и плечи миглом обсыхали. И тогда они отправились гурьбой за два километра, к морю. Пока шли, босые, по дороге — ничего, а как добрались — непредвиденное препятствие: широкая, метров в тридцать, прибрежная полоса песка вперемежку с галькой оказалась раскаленной, как сковородка. Что делать? Полетели, обжигая пятки, зато уж когда бултыхнулись с разбегу в прохладную, зеленоватую толщу воды, да вынырнули, да наплавались — полегчало... Зной не спадал до самого вечера, и вечер тоже хорошо запомнился: вон там, под старыми ветлами, они долго, до одури играли в ножички, пока один, самый маленький, Никуала, не умудрился поранить ногу и не побежал, ревя, к своему дому в сопровождении таких же ревуших — от страха — друзей...

А может, и приходилось ему потом, в последующие шестьдесят с лишним лет, выносить жару и посильней, но только ни один жаркий день уже не запомнился так: наверное, потому, что все тогда, в начале пути, было впервые...

Вон там, слева — авидзбовский сад. Очень давно, когда нынешнего его хозяина и на свете еще не было, Арзамет с мальчишками лазил туда за инжиром и очень при этом боялся, что их застукают. Этот смутный липучий страх до сих пор всплывал вдруг, бывало, в душе, когда он проходил мимо...

У калитки тихо шевелил, волновался листьями эвкалипт — гигантское дерево-змея, вылезающее в эту пору года из старой, почерневшей коры, которая разошлась на его туловище кольцами и повисла длинными лоскутами-канатами, дерево-змея, блистающее под этой корой молодой белой нежной кожей. На погашенной сумерками травянистой зелени двора, в глубине его, густыми, алыми капельками крови рдели розы. Двор был пуст.

Арзамет крадучись пробрался вдоль колючей живой ограды — темно-зеленых стриженных кустов трифолиата — и, через заднюю калитку пройдя во двор, вошел в апацху. В свое плетеное чудо апацху — любимое детище последних лет, второе любимое после "домашнего музея". Внутри апацхи было уже совсем темно, и дверь он оставил приоткрытой. Сев на низкую скамеечку, качнул зачем-то надочажную цепь, растер приставшую к ладони сажу...

Отправиться к ней в Абгархук, разыскать, спросить прямо: "Выходит, ты не знала, что это я о себе говорил? А если б знала, что ответила бы?" До чего же глупо...

Ржавый немощный старичок выясняет отношения с немощной старушкой...

Смешно пытаться достать из кармана положенное туда пятьдесят лет назад. Да ведь при любом ответе он будет в проигрыше — обида ли возьмет верх, досада ли...

Неужто в итоге он проклянет и эту сегодняшнюю встречу? (Зачем было ее видеть? Была бы как светлая мечта, как юный прекрасный светлый образ... И не пришлось бы воскрешать старые тревоги и волнения.)

"Нет, нет, — раскаялся он вдруг в своих мыслях, — все, что ни дарит жизнь, — благословенно. Потому что это жизнь". Вот и эта встреча, озарившая вдруг новым светом прожитые им годы, могла состояться только потому, что и он, и Анета пока живы...

Завтра будет новый день. Утром роса исчезнет с травы, чтобы выступить затем на теле крестьянина в поле... Солнце, совершив свой урочный путь, начнет плавиться в

вечерней заре... А за это время, может быть, он узнает еще что-то такое, о чем и не подозревал сегодня.

...Внизу, у берега моря, словно протянули по черному бархату нитку жемчуга — в ночной темноте промчался и угас вдали пассажирский поезд. И Арзамету, как когда-то в далеком детстве, подумалось вдруг о том, сколько человеческих душ, мыслей, мечтаний, спрессованных в узкие ящики вагонов, пронеслось мимо... Он вышел из апацхи, и огромное звездное небо обняло его.

* Ахул (абх.) — капуста кольраби, при засолке приобретающая густой красный цвет.

** Апацха — старинный абхазский плетеный домик.

*** Чала — сухие кукурузные листья, корм для скота.

1990

СМЕРТЬ ХОДИТ ПО ГОРАМ

*"Во время мира сыновья хоронят отцов,
во время войны отцы хоронят сыновей".*

Геродот

"Да будет свет!" — Господь провозгласил.

"Да будет кровь!" — провозгласили люди.

Дж. Г. Байрон

*"Та война справедлива, которая необходима, и то
оружие священо, на которое единственная надежда".*

Тит Ливий

*"Стремится доблесть к звездам,
стремится трусость — к гибели".*

Сенека

*"Настало время, когда народы будут исчисляться
не по числу голов, а по числу сердец".*

Г. Гейне

Остановка "Золотой шлагбаум"

— А вот еще опоздавшие едут, — прервал Лаша молчание-полудрему, когда навстречу им со стороны Гагры в направлении к Псоу пронесся битком набитый "Жигуль".

— Не говори, — мотнул головой сидевший за рулем Чика. — Так хотели ребята

повоевать, а их подвели, поздно сообщили...

— Что грузины уже чухнули, — закончил за него Лаша.

Собирался добавить еще что-то язвительное, но передумал: на душе была такая благодать, что даже не хотелось разговаривать — чтоб не расплескать ненароком это состояние. Гладкий асфальт пустынного шоссе убаюкивал; Артура на заднем сиденье, кажется, совсем разморило.

Необычайно теплый и солнечный день 6 октября 1992 года клонился к закату. Еще часа полтора-два езды — и, глядишь, Эшера, а там до базы в Уаз-абаа, где на крутом лесистом берегу Гумисты стоят две большие палатки их группы, рукой подать...

Неужели это правда, думал Лаша, и мы действительно едем сейчас по полоске земли, которая полтора месяца, вплоть вчерашней ночи, была в руках врага?

Значит, можем, абхазцы, когда захотим?.. И он вновь с наслаждением принимался перетасовывать в памяти картинки сегодняшнего дня. Вот на рассвете измученные двухсуточным переходом по горам в тыл противника ребята его, Лаши Чкадуа, группы — некоторые шли босиком, потому что от обуви их остались одни ошметки — появляются на трассе. Вот гранатометный выстрел вслед уходящему грузинскому "бэтээру"... Вот ликующая толпа на левом берегу Псоу: знакомые и незнакомые обнимаются, целуются, десятки автоматных очередей в воздух сотрясают окрестность...

Но примешивалась в его душе к восторгу тех минут и горчинка. Как быстро прикатили сюда, на российскую границу, эти хорошо одетые, в костюмах, а некоторые и при галстуках, парни с благополучными сытыми физиономиями, которых он не видел ни во время одной боевой операции, с какой радостью палили они в небо из новеньких автоматов! Одно дело, что его, привыкшего беречь в бою каждый патрон, брала досада из-за этой неуместной траты боеприпасов. Главное же — ему не нравилось само их присутствие здесь, он ревновал их к своей (и таких, как он сам, ободренных, голодных "вояк") победе. Ну ладно, не всем идти в бой, так и радовались бы, салютовали где-нибудь там, в Гудауте, не мозолили бы тут глаза...

Он не знал, кто и как потом продолжал отмечать на Псоу завершение гагрской операции, потому что завалился спать на лужайке, возле высокой стелы неподалеку от моста. До чего же сладко было спать на согретой солнцем траве после пяти суток почти непрерывного бодрствования! Спать и спать в окружении таких же спавших вповалку боевых товарищей, вдыхая пьяный воздух победы, не ощущая жесткости подложенного под голову приклада АКМ...

Когда он проснулся, было уже около пяти вечера. И надо было как-то добираться назад... Перед тем, как заснуть, он присмотрел брошенный грузинскими гвардейцами при отступлении новенький трехмостовый дизельный "Урал" и подумал: вот как раз то, что надо его команде. Совершенно здраво рассудив, что на эту нехилую машину наверняка и еще кто-то положит глаз, поставил возле нее караульного, но не учел, что этого может оказаться совершенно недостаточно... Словом, от "Урала" остались рожки да ножки: нашлись, конечно, на него еще претенденты, которые, психанув, во исполнение распространенного в таких случаях "соломонова решения" — "ни тебе, ни мне" — сожгли его дотла. Пришлось рассовывать ребят — около двадцати человек — по уезжавшим чужим легковушкам.

В том числе, увы, и одного раненого: этот парень, вопреки приказу Лаши "никуда не шлындать" во время командирского сна, полез-таки в чей-то брошенный дом, который оказался не совсем брошенным, и нарвался на пулю... Под конец остался втроем с Бесиком Тания и Артуром Гицба. Подвернулись красные "Жигули", "девятка", но там было только одно свободное место, и Лаша усадил в нее Бесика: "Давай ты... Но чтоб через сутки был на базе". Многих ребят из команды он отпуская сейчас по домам — у кого дом был в свободной зоне Абхазии — чтоб хоть показались, живые и невредимые, перед родными.

"Девятка" укатила, и после этого они с Артуром застряли на Псоу еще на полчаса. Уже начинали отчаиваться, когда увидели знакомого парня — Чика Хварцкия, который собирался отчаливать на пустой "двойке" цвета "кофе с молоком". "Чика, ты куда?" "В Эшеру". "Уговорил, мы с тобой."

...Да, как, интересно, там, на Гумисте? Ведь почти все наши силы были брошены на гагрскую операцию, и Гумистинский фронт держат сейчас сотни две ополченцев. Если у грузин мало-мальски работает разведка, им ничего не мешает смять эту чисто номинальную оборону и двинуться на Гудауту. И если они до сих пор не сделали этого, то последние лопухи. (Впоследствии он пришел к выводу: грузинское командование было настолько шокировано Гагрой, что мысль о Гумисте даже не могла там никому прийти в голову).

А вот и так называемый "золотой шлагбаум" — место неподалеку от Гагры, где шоссе на протяжении довольно длинного отрезка зажато между железнодорожным полотном над крутым берегом моря и почти отвесным горным склоном. Много, ох, много стражей правопорядка обогатилось здесь когда-то в разгар мандариновых сезонов — за три месяца, рассказывали, на новенькую машину собирали, — а через них и власть имущие кормились не только в Сухуме, но и в Тбилиси... Именно здесь, у "золотого шлагбаума", их "двойка" въехала в большую группу вооруженных людей в серой защитной форме. Человек 25-30, они запрудили трассу, как, бывало, запруживало ее на трассе стадо коров — невозмутимо поглядывая на сигналящего водителя и лениво обмахиваясь хвостами. Вот так же лениво, почти вдогонку машине махнул рукой один из этой толпы — высоченный парень с ручным пулеметом на груди. "Смотри, какие у нас, оказывается, отряды есть крутые: полная экипировка, три снайперские винтовки, два гранатомета..." — машинально подсчитал Лаша, опуская стекло. В окошко просунулась черная борода высоченного: — Сигарети хо ара гаквс, дзмао? * (* Сигареты не имеешь, братишка? (груз.)) "Что?! Он чего, этот бородатый? Он — в натуре грузин?"

Лаша покрылся холодным потом, что называется, до самой задницы и на мгновение потерял дар речи. Но хорошо, что только на мгновение, ибо следующее могло стоить жизни всем троим в машине. В это первое мгновение он еще соображал: что происходит, не снится ли ему эта бородатая рожа? Может, моргнуть сейчас — и она исчезнет вместе со всей толпой на шоссе, как мираж? Но тут же мозг заработал с предельной ясностью и все стало на свои места: их окружал отряд грузинских гвардейцев, который отстал от своих и явно потерял ориентацию в происходящем. Итак, около тридцати человек с кучей оружия наизготовку против троих, сидящих в салоне легковушки. Хорошо еще, что Чика не заглушил мотор... Хотя сможет ли это их спасти? Краем глаза успел заметить, что Артур как ни в чем ни бывало

продолжает кемарить на заднем сиденье. Ну, это как раз сейчас, пожалуй, и к лучшему...

"Хорошо смеется тот, кто стреляет первым", — говаривал один знакомый Лаши. Но тут его присказка ни к черту не годилась. Какой толк для них троих, что они возвращались со Псоу победителями — грузины, которые не подозревали об этом, в минуту могли покончить с ними одним выстрелом из гранатомета. Даже если б Лаша и Чика сработали необыкновенно синхронно и удачно: первый стреляет в бородатого из автомата (до него еще надо дотянуться; поставленный на предохранитель, он стоит у ног на полу), второй рвет машину вперед, — то далеко они все равно б не уехали — вон каким оружием напичкана эта группа! — и через несколько мгновений их "Жигули" полыхали бы на шоссе, словно банка с бензином. — Ара маквс, дзмао. * (*Не имею, братишка (груз.)*)

Ну, разве это не чудо, что бородатый обратился именно к Лаше, неплохо говорившему по-грузински? Насобачился, кстати, не дома, в Сухуме, а в армии — служил в Керчи, где в его взводе все остальные были кахетинцы, бельмеса не понимавшие по-русски (пытался их учить, а в итоге все получилось наоборот). Ну, а Чика с Артуром... В эту минуту Лаша молил Бога, чтобы ни один из них не вздумал что-то произнести.

Высоченный был огорчен, но расставаться с Лашей не спешил, ему явно хотелось пообщаться.

— Садаа абхазеби? * (*Где абхазы? (груз.)*)

Он стоял, небрежно опершись локтем о ребро полуопущенного стекла. Видный, в общем-то, парень: гладкая белая кожа, прямой тонкий нос, выпуклый лоб, и даже сквозь черную щетину на щеках пробивался, играл румянец. Было в то же время в нем — и в позе, и в выражении лица — что-то неуловимо пижонское, которое Лаша встречал в тбилисских; именно это пижонство, по его убеждению, было причиной того, что местные ребята разных национальностей, в том числе, кстати, и грузины, всегда с таким удовольствием били отдыхавших в Пицунде тбилисцев.

— Гаграци, — пожал плечами Лаша, всей своей мимикой показывая: где же, мол, еще, как не в Гагре? Ведь Гагра была взята абхазским ополчением еще второго октября и отряд грузин, скорее всего, не мог не знать этого. Не исключено, что он был направлен в горы преградить путь его, Лаши, и Шамиля Басаева группам, но, не встретив их там, спустился сейчас по ущелью к трассе. Да, скорее всего, так и было...

— Тквэн сад миди харт? * (*А вы куда едете? (груз.)*)

— Гаграци, — повторил Лаша с тем же выражением на лице и в голосе: мы-то, мол, на передовую...

Тбилисец, наконец, стал прощаться, говоря что-то о том, что и они сейчас двинутся к передовой.

— Кай * (*Хорошо, счастливо (груз.)*), — кивнул ему Лаша, и тот ответил:

— Кай.

И тут наступил самый страшный момент, потому что Чика, совершенно не понимавший по-грузински, сидел за рулем в оцепенении. В то, что вокруг враги, он врубился сразу, и его вытянутое, как у французского комика Фернанделя, лицо, вытянулось еще больше, так что нижняя челюсть едва не доставала руля. Пока Лаша разговаривал с грузином, Чика сидел неподвижно и молчал, но ничего большего

тогда от него и не требовалось. Сейчас же Лаша физически чувствовал, что Чика парализован, и это состояние начало передаваться и ему самому. Как, не вызвав подозрений "гоги", дать Чике понять, чтобы трогался с места? Просто сказать по-русски "поехали!" (ну, перешел на русский и перешел, да и мало ли кто за рулем — может, какой-нибудь ахалкалакский армянин?) почему-то не сообразил. Незаметно его толкнуть — поймет ли? Не растеряется ли еще больше? И не покажется ли со стороны эта возня странной? Впрочем, и сама по себе возникшая пауза становилась все более нелепой — превращаясь в вечность, набухая в ушах грохотом крови. Продолжить разговор с бородачом — после того, как уже попрощались? Это не давало ничего, кроме затяжки времени, и было рискованно, поскольку грузинский Лаши в любой момент мог его подвести.

Грузин, между тем, снова просунул голову в окно и начал зыркать по салону, заглядывая главным образом на заднее сиденье, туда, где, развалясь, дремал Артур. И тут Лашу обожгла мысль: у Артура ведь на шее зеленая повязка, какую с первых дней войны абхазские ополченцы и северокавказцы повязывали в виде ленты на голове. Дальнейшие действия Лаши были совершенно алогичными, скорее инстинктивными, чем осознанными, но в конечном счете спасшими их: он буквально выпихнул рукой бородачую голову из салона и заорал Чике: "Уца!" * (* *Поезжай! (абх.)*)

Чикю этот крик вывел из состояния прострации. Мигом "воткнув" передачу, он рванул с места. Они отъехали метров на сто, и, когда дорога завернула за крутой, выложенный каменной плиткой склон горы, Лаша выкрикнул: "Стой! Грузины!"

Чика, действуя как робот, в автоматическом режиме, резко затормозил.

Когда машина стала, все трое переглянулись, как бы еще не до конца соображая, на каком свете — том или этом — находятся.

— Слушай, а я думал, вы с ним прикалывались, с этим длинным... — произнес Артур.

— Ты что, гонишь? — вскинулся Лаша.

Порой ребята в его группе, да и не только в ней, действительно хохмили, обмениваясь простейшими, в пределах знаний, фразами на грузинском, так что теоретически и здесь подобное было возможно. В другой момент Лаша наверняка бы не упустил случая развить тему, тем более, что симпатичный, рослый Артур в кругу их общих друзей пользовался репутацией флегматика, но сейчас, естественно, было не до того. Лаша и Чика лишь громко расхохотались, причем в смехе их присутствовали истерические нотки.

— Ладно, вы уже и поверили... — обиделся Артур. — Я ж для понта сейчас сказал... Вон, посмотрите, я и автомат незаметно с предохранителя снял, пока ты с этим "гоги" трепался. И повязку под рубашку заправил — как будто почесался во сне...

— Так, что у нас есть? — решительно отложил дискуссию до лучших времен Лаша и оглядел друзей, будто и без того не знал: у него с Артуром по автомату, а у Чики — наган... Негусто... Причем наган был такой, который четыре раза дает осечку, а на пятый стреляет. — Чика, поезжай немного вперед и тормози всех, кто будет оттуда ехать, чтоб не наравались... А мы с Артуром здесь...

Он и сам еще толком не знал, что будет делать, просто понимал: вот-вот со стороны Псоу появится еще какая-нибудь машина и грузины обязательно остановят ее,

чтобы стрелкнуть сигарет... Если, конечно, до них еще не дошло, что случилось, пока они шастали по горам.

Лаша с Артуром, держа автоматы наизготовку, вышли из-за поворота — и как раз вовремя, потому что к толпившимся на трассе грузинам приближался со стороны Псоу ЗИЛ, в кузове которого стояло несколько человек, а высокий грузин, который кланчил сигареты, уже сигналил водителю. Лаша выстрелил в воздух и, размахивая рукой, заорал по-абхазски: "Не останавливайтесь, не останавливайтесь!"

Водитель, между тем, уже притормозил, но Лаша видел, как один из ехавших наверху похлопал по крыше кабины и что-то ему сказал. Грузин уже занес ногу, чтобы поставить ее на подножку, но тут ЗИЛ рванулся вперед.

Грузин — судя по всему, старший в этой группе — так, очевидно, ничего до сих пор и не понял, поскольку начал кричать Лаше, который в горячке, паля время от времени в воздух, шел и шел ему навстречу:

— Шен сулели хом ара хар? * *(Ты дурак, что ли? (груз.))*

Значит, и зеленую повязку на шее у Артура не заметил, и то, что слышит абхазскую речь, до него не дошло... Наверное, у них, у этих грузин, просто не укладывалось в голове, что тут по трассе могут спокойно разъезжать абхазы. Да и вообще, по правде сказать, очень мало походила эта грузинская группа на боевое подразделение, понюхавшее порошу, — скорее уж на туристов, которые отправились в экзотическое путешествие, или на бойскаутов, участвующих в военной игре.

"Бойскауты" продолжали стоять там, где стояли, а Лаша подбежал к тормознувшему за поворотом ЗИЛу.

— Что случилось? — высунулся из кабины водителя.

— Грузины там, грузины!

— Где грузины?

— Да вон же грузины, останавливали тебя сейчас.

Разговаривая с ним, Лаша окинул беглым взглядом всю команду, теснившуюся в кузове. Это были безоружные юнцы 17-18 лет — то ли дебютанты-мародеры, то ли "экскурсанты", приехавшие посмотреть на освобожденные окрестности Гагры. Один из них, правда, сообщил Лаше, что у него есть ручная граната.

— Ладно, проваливайте, — махнул рукой Лаша, который уже сообразил, что помощи от них не будет никакой, а будет только лишняя обуза и, возможно, лишние жертвы.

— И предупреждайте всех по дороге, что тут целый взвод грузин...

Водила дал по газам, и ЗИЛ скрылся из виду. А к Лаше тем временем спешил удрученный Чика. Как выяснилось, он только что остановил появившийся со стороны Гагры "уазик" с пятью парнями, у каждого из которых был автомат.

Объяснил ситуацию и предложил объединиться, чтобы вместе как-то заблокировать грузинский отряд. Но "уазик" тут же развернулся: "Нет, у нас спецзадание, мы не можем. Спасибо, что предупредил." "У-у, пидоры, они мне еще встретятся", — мрачно закончил Чика.

Взглянув между тем в сторону грузин, они увидели: в гуще их остановился красный "жигуленок". Лаша похолодел: кажется, это была та самая красная "девятку", в которой он отправил со Псоу Бесика. Но каким образом она оказалась позади их? Наверное, куда-то сворачивала с трассы... Впрочем, это уже не имело значения. Сердце подсказывало: три раза подряд чуда произойти не может.

...Когда бородатая физиономия просунулась в салон "девятки" со все тем же вопросом: "Сигарета хо ара гаквс?", — сидевший на переднем сиденье рядом с водителем Бесик растерянно улыбнулся. В голове его промелькнула, было, мысль: "хохмят ребята". Но тут же совокупность многих деталей: и махающий руками, стреляющий вверх где-то впереди Лаша, и вооружение вояк на обочине, и меняющееся на глазах выражение лица бородатого — заставило все в нем сжаться. Бородатый увидел шеврон на гимнастерке Бесика — прямоугольник ткани в виде абхазского флага — и понял, наконец, все. Надо отдать ему должное: решение он принял мгновенно — в доли секунды снял пулемет с предохранителя, просунул ствол в салон машины и нажал на спусковой крючок. Длинная и направленная веером очередь должна была оставить в салоне "Жигулей" пять трупов, и это неминуемо бы произошло, если б в самое последнее мгновение Бесик резким рывком правой руки не задрал ствол пулемета вверх. Все пули ушли в крышу "Жигулей". Но тут же вскинули автоматы и другие грузины.

...Через несколько секунд после начала стрельбы "Жигули" взорвались. Лаша видел, как выметнулся вверх огромный алый протуберанец пламени, как отлетел в сторону, упал один из грузин — то ли пуля его скovyрнула, то ли взрывной волной смело... Выждать было уже нечего, и все трое, стоя прямо на шоссе в полусотне метров, открыли по грузинам бешеный огонь. То есть бешеный огонь открыли Лаша и Артур, Чика же со своим наганом вел стрельбу скорее символическую, зато орал и матюкался за троих: "Эй, вы, пидоры, сдавайтесь, вы окружены!" "Уши вам пообрезаем!" — грозился вслед ему Артур.

Грузины же и впрямь могли решить, что они окружены, поскольку со стороны Псоу одна за другой появились еще две легковушки — "Таврия" и "ГАЗ-24". Конечно, грузины тоже вели стрельбу — да такую, что Лаше и его друзьям пришлось, расстреляв почти все патроны, перемахнуть через бордюрик, отделявший шоссе от железнодорожного полотна. Железная дорога в этом месте проходила метра на два ниже уровня шоссе и, спрыгнув вниз, они оказались в мертвой зоне, недостижимые для автоматов и даже гранатометов врага. Конечно, если б грузины двинулись на "добивание", Лаша с приятелями имели бы бледный вид, но уже через секунд двадцать Чика, поднявшись к трассе и выглянув наверх, доложил: "Уходят!" "Куда?" "Вверх по ущелью."

...Когда они подбежали к месту побоища, все было кончено. Вокруг догорающих останков "Жигулей" на асфальте и в кюветах распласталось пять неподвижных тел. Четверо из лежавших были в серой защитной форме грузинских гвардейцев, один — в "гражданке" — из "Жигулей". Один грузин — тот самый высокий пижон — лежал навзничь, издавая предсмертные хрипы; в уголках его рта пузырилась розовая пена. Бедолага так и не успел покурить перед смертью... Вышедший из "ГАЗ-24" немолодой ополченец выстрелом из автомата успокоил его.

Лаша с замиранием сердца заглянул в дымящееся смрадное нутро развороченных взрывом "Жигулей". Красные лохмотья металла, зловоние горячей резины, три обугленных тела... Нога — почти целехонькая — одного торчала наружу, и Лаша, преодолевая тошноту, потянул ее за полусожженный ботинок. И тут же отшатнулся, потому что в машине начали взрываться боеприпасы...

У бордюра сидел и стонал оставшийся в живых пассажир "девятки". Он был ранен в

голень, но не страшно: пуля, не задев кость, прошла навывлет. Пока Лаша и Чика бинтовали ему ногу, он рассказал, как все было. Если б они не заехали к знакомым водителя в Цандрыпш — провести их и поднять по стаканчику за победу — то, конечно, были бы уже далеко за Гагрой... Когда грузинский пулемет начал дырявить крышу "девятки", он, сидевший крайним слева на заднем сиденье, успел открыть дверцу, выскочить наружу и открыть по "гоги" огонь. Сразу был ранен и стал отползать в сторону. Тут и бабахнуло — видно, одна из пуль попала в бензобак (то, что выстрела из гранатомета не было, он помнил точно). Еще один — сидевший сзади справа — тоже успел покинуть машину до взрыва и был прожит очередью. Но куда же подевался пятый пассажир "девятки"? Лаша сходил с ума, потому что не сомневался: это — Бесик. Обуглившиеся тела в машине опознать было очень трудно, но ведь переднее сиденье рядом с водительским, где ехал Бесик, пустовало... А что, если грузины увели его как заложника с собой? Обыскивали трупы грузинских гвардейцев. У всех в нагрудных карманах оказались студенческие билеты ТГУ и командировочные удостоверения. Вот так — съездили в командировку на войну...

* * *

Спустя неделю Лаша навещал в госпитале Гагры раненого товарища. В коридоре его окликнули. Он обернулся и увидел Бесика, который стоял в дверях палаты с перевязанной кистью правой руки и широко улыбался...

Когда машина взорвалась, его выбросило вниз, за железнодорожное полотно. Бесик упал в кусты и пролежал без сознания около суток. Лишь вечером следующего дня на него наткнулся кто-то из местных жителей. Все его ушибы и царапины быстро зажили, осталось только подлечить ладонь, которая была обожжена раскаленным стволом пулемета, — и снова в бой...

1997

Анжелика и ее братья

— Рома нашелся!

— Рома-а!

Никогда еще, кажется, не было такого радостного переполоха в просторном, травянистом и ровном — будто зеленым паласом застеленном — дворе Камлия. Шестнадцатилетняя Анжелика тоже повисла на шее у брата и, конечно же, не смогла сдержать хлынувших слез... Четыре дня они искали Рому по всем госпиталям, расспрашивали о нем у всех знакомых ребят... И вот он явился домой — живой и невредимый. Правда, его трудно было узнать: измученный до невозможности, глаза тусклые, губы высохли и потрескались — во время трех дней скитаний по горам пил обычно только росу с листьев. Исхудал, руки страшно ободраны о скалы... Через час-полтора Рома сидел за накрытым столом и, держа в руке стакан с молодым вином, в который раз уже пересказывал домочадцам и всем собравшимся

удивительную историю своего спасения... Он пошел в шромскую вылазку без оружия — был минером. Атака абхазских бойцов была отбита. И когда грузинские гвардейцы стали прочесывать сухие папоротники, в которых укрылись оставшиеся ребята из их боевой группы, у него была одна надежда и одна устремленная к небу мольба: быстрее бы солнце зашло за ту гору...

"Ну, что, Реваз, есть там кто?" — переключались гвардейцы. — "Нет, никого не нашел. А ты?"

Их тени под косыми солнечными лучами становились все длиннее. Вот одна из них накрыла ложбину, где лежал, припав к земле, Рома.

— А-а! — мощный, исполинского роста гвардеец схватил Рому за шиворот и приподнял над землей как котенка. — Апсуа! Уабаказ, апсуа? * (* Абхаз! Где ты был, абхаз? (абх.))

Ему почему-то очень нравилось повторять заученные абхазские слова. Остальные столпились вокруг, с любопытством, как диковинного зверя, рассматривая Рому, который бессильно висел, не касаясь подошвами земли.

— Пристрели его. Он, наверное, минер.

— Эй, колобок, ты минер?

— Смотрите, "колобок повесился"! — выдавил кто-то сквозь смех.

"Колобком" они, видно, называли за круглолицесть, а вообще Рома был вполне подтянутый спортивный парень — он и боксом занимался, и бегом, и плаванием... Но с гигантом, который держал его в вытянутой руке, он ничего не мог поделать. И знал это. И Рома решил молчать — ведь если не знаешь, что и как сказать, лучше промолчать. В общем, он сказал себе, что если смерти не миновать, то по крайней мере надо встретить ее достойно.

И в этот момент из-за валунов, метрах в тридцати от места, где они все находились, грянула автоматная очередь. Это Рудик Хаджимба, парень из очамчирского села Арасадзыхь, — Рома сразу узнал его — выскочил из своего укрытия и, стоя во весь рост и широко расставив ноги, будто подражая Рэмбо, застрочил из автомата. Первую очередь он дал поверх голов стоящих. Когда грузинские гвардейцы, матюкаясь, попадали на землю, Рома тоже упал. Сперва он растерялся, но потом, когда огляделся и увидел, что все лежат, а Рудик что-то кричит ему и машет рукой, он дал такой старт... Рудик тем временем поливал свинцом лежащих (скольких навсегда уложил — Бог знает), а когда расстрелял весь рожок, рванул в сторону, противоположную той, куда бросился Рома.

— Я не знаю, что потом стало с Рудиком Хаджимба, — завершил свой рассказ Рома, — но я восхищаюсь этим парнем. Это человек, который меня спас, благодаря которому я заново родился на свет...

Анжелика обслуживала сидевших за столом и то и дело отлучалась на кухню, поэтому слушала рассказ Ромы урывками, но эпизод с Рудиком Хаджимба представила себе очень хорошо, во всех подробностях. "Как я хочу увидеть этого человека, спасшего жизнь моему брату, — думала она. — Кажется, все бы сейчас отдала, чтобы его увидеть."

Такая же круглолицая, как и Рома, со светло-каштановыми волосами и темными глазами, небольшого росточка, симпатичная и очень живая, Анжелика сама себя прозвала придуманным словом "ветрушка". Она вообще любила придумывать

всякие слова и сочетания слов и частенько, прервав какое-то дело, бросалась записывать на листке бумаги пришедшие в голову стихи. Порой ей казалось, что чувства, которые захлестывают ее, можно выразить только на абхазском языке, порой — только на русском, поэтому она писала свои стихи то на абхазском, то на русском. Когда-то, до войны, сочиняла что-то лирическое, про любовь (хотя что такое любовь, она представляла только по книгам и фильмам), ну, а потом, конечно, война вытеснила все остальные темы. Вот какое стихотворение принесла она как-то в редакцию газеты:

"Солнце Апсны в Гумисте утонуло
в эти кровавые дни,
но время пришло — вставай, Отчизна,
солнце свое верни.

Близится буря гневная,
кровью набухла трава,
и в ожидании страшного вихря
кружится голова..."

Но о любви она все-таки задумывалась. Как-то привязались строчки услышанной по радио русской песни про "Самару-городок": "Я росла и расцветала до шестнадцати годов. А с шестнадцати годов кружит девушку любовь..." Может, потому, что она тоже "беспокойная", как та девушка из песни...

...Рома и потом не раз вспоминал о Рудике — через несколько дней выяснилось, что тот тоже спасся и вышел к своим. И вот однажды Анжелика увидела: в калитку входит Рома, а за ним какой-то парень. Красивый, статный. Высокий — до невозможности. Так, во всяком случае, ей тогда показалось. В общем, смотришь на такого — и душа радуется. "Может, это и есть Рудик Хаджимба? — подумала Анжелика. — Вот было бы здорово!"

И это действительно был Рудик. Как она летала в тот день — будто на крыльях — накрывая им стол, как была счастлива глядя, с каким аппетитом принялись они за ее аджапсандал, за хлеб, сыр, вино...

— Выпьем за ту грушу, там, в горах, — говорил Рома и начинал вспоминать, как набрел он, скитаясь по горам, едва живой, на дикую грушу, и как она его спасла: и жажду утолила, и голод, как он набил ее плодами карманы и двинулся дальше. Он мечтал, что когда-нибудь, после войны, отыщет с друзьями эту грушу, и они усядутся под ней и будут долго-долго пировать...

Подняли и за Анжелику. "У меня тоже есть сестра — дома, в Арасадзыхе, — сказал Рудик, — и хотя она совсем на тебя не похожа и постарше будет, уже закончила школу, но я, когда смотрю на тебя, думаю о ней". Анжелика заметила, что, обращаясь к ней, Рудик стеснялся и низко опускал голову. И еще она всегда обращала внимание на то, какие у человека руки; и тут, когда Рудик поднимал стакан, не могла не заметить, что у него красивые длинные пальцы — она почему-то называла такие пальцы "философскими".

...Рома и Рудик очень привязались друг к другу, Рома полюбил Рудика, казалось

Анжелике, даже больше своих родных братьев. Только и слышно от него было: Рудик сказал, Рудик сделал... Роме было тридцать лет, Рудику двадцать пять. Они решили стать названными братьями, устроить в честь этого большое застолье. Так, кстати, Анжелика и представила однажды Рудика двоюродной сестре: это, мол, теперь мой брат... Сказала она так в Гудауте, на похоронах одного своего родственника, на которые Рудик поехал вместе с семьей Камлия. Но когда двоюродная сестра отошла и они остались вдвоем, Рудик неожиданно спросил: "Ты думаешь, мне очень нравится, что ты меня так называешь?.. Нет, Анжелика, пойми... То есть мне, конечно, хотелось бы иметь такую сестренку, как ты, но..." В тот день получилось так, что после они целых полчаса сидели вдвоем в машине и разговаривали.

Ночью Анжелика долго не могла заснуть. Как сладко-мучительно было думать о Рудике, вспоминать его глаза, брови, его речь. Так как же в самом деле она относится к нему: как к брату или?.. Она вспомнила чувство, с которым смотрела на него во время их первой встречи... Конечно, он ей нравится... Но с другой стороны, сейчас война, все ее братья воюют, и Рома считает Рудика своим братом... И Анжелика начинала стыдиться своих мыслей о Рудике, своих мечтаний, которые уносили ее далеко-далеко, на многие годы вперед, на "после войны"... И вообще ей еще школу надо окончить.

А через месяц после этого, 5 января, было наступление на Сухум. Рома лежал в госпитале с ранением, а Рудик пошел в атаку...

Ей потом рассказывали, что в самый критический момент атаки он поднялся и начал безостановочно стрелять по позициям противника. Стрелял, пока не упал...

А накануне Анжелике приснился сон, будто она идет по Республиканской больнице в Сухуме и ищет Рудика. Заглядывает в одну палату, другую... И вот он — Рудик — на больничной койке. Она радостно вскрикнула. Они обнялись. Рудик погладил ее по голове. И показал следы от пули на своей груди: "Но это ничего, заживет..."

Наутро Анжелика пошла к пресс-центру в Гудауте. У вывешенного списка погибших толпились люди. Она пробилась к списку, и первое, что выхватили ее глаза, было: "Рудик Хаджимба"...

...Спустя несколько месяцев ей показали одну бумагу, где были показания о смерти Рудика: "8 и 10 января 1993 года следственной группой произведена проверка причин смерти военнослужащих Вооруженных сил Республики Абхазия, трупы которых были доставлены в морг Гудаутского военного госпиталя из оккупированного Сухума. У Хаджимба Р. Р. на передней поверхности грудной клетки спереди на уровне 2-3 ребра по средней ключичной линии имелась рана, проникающая в грудную клетку. Отмечены также колото-ножевые раны шеи у ее основания слева с признаками кровотечения. Судебно-медицинское исследование свидетельствует, что он попал в плен еще живым, а затем его истязали и убили."

Апрель 1993 г.

* * *

Эта история была опубликована 22 апреля 1993 года в выходившей в прифронтовой Гудауте газете "Республика Абхазия", где я тогда работал. Появилась она под

рубрикой "Рассказы о грузино-абхазской войне". Я по сути лишь изложил на бумаге услышанное от Анжелики — она приносила в редакцию свои стихи — да домыслил некоторые эпизоды. Помню, как сидели мы на садовой скамейке в приморском гудаутском сквере и как, сжимая кулачок, она говорила о том, каким виделся ей Рудик — "мужественный, благородный, беспощадный к врагу..." Фамилию Анжелики я в рассказе по понятным причинам изменил: во-первых, ее братья продолжали воевать, а мы в редакции во время войны старались не "засвечивать" живых абхазских бойцов, во-вторых, речь все же шла об очень личных чувствах. По правде сказать, уже то, что Анжелика пошла на такую откровенность, было довольно удивительно: далеко не всякая абхазская девушка решится на подобное. Но Анжелика была своеобразной девочкой: общительной, разговорчивой и в то же время, мне кажется, пребывающей зачастую в воображаемом книжном мире. А вот имя и фамилию Рудика решил оставить неизменными — чтобы люди знали и помнили о погибшем герое...

Как раз в тот день Анжелике исполнилось 17 лет. Мы снова сидели с ней в приморском парке и разговаривали. Анжелика вспоминала, как Рудик спросил, когда у нее день рождения, и сказал, что подарит ей... Нет, что именно подарит, он не сказал, узнаешь, мол, в тот день — 22 апреля 93-го... А подарок оказался вот такой — рассказ в память о нем в газете...

А через пару недель я увидел на подоконнике здания районной администрации, где размещались и пресс-центр Верховного Совета Абхазии, и кабинет нашей редакции, в россыпи конвертов, доставленных очередным вертолетом из заблокированного Ткуарчала, адресованное мне письмо. Кто же мог его написать? Посмотрел на обратный адрес — село Арасадзыхь — и сразу почему-то догадался. Вот что было в том письме:

"К вам обращается Инга Хаджимба, сестра Рудика Хаджимба, героя напечатанного у вас рассказа "Любовь поры свинцовых дождей". Мой бедный брат воевал с первых дней войны. О нем мы слышали от его товарищей, приезжавших из Гудауты. Они рассказывали, как он мужественно боролся, защищая свою Абхазию. О его гибели нам сказали только 14 февраля. Каково было нашей матери, и без того истерзанной горем! Ведь когда мы были детьми, наш отец погиб в автомобильной катастрофе. Она воспитала нас троих: меня, Рудика и среднего сына. С нами живет наша 90-летняя бабушка. Чуть ли не каждый день мать, отправлялась пешком в Ткуарчал, чтобы узнать в штабе что-нибудь о Рудике...

Мы подробно ничего не знаем о его товарищах, о том, как он погиб, где его документы...

В газете говорится о Роме и Анжелике Камлия. Наверняка они вам рассказывали о нашем бедном Рудике. Просим вас, если сможете, узнать и передать нам адрес семьи Камлия. Может, они смогут больше сказать о моем брате, о последних днях его жизни.

Мы, жители Очамчирского района, осажденные, отлученные от всего мира, живем без электричества, не смотрим телевизор. Газет из Гудауты мы в селе тоже не получаем. Этот номер попал к нам чудом. Это был даже не номер, а обрывок газеты..."

Я тут же сел писать ответ, представляя, как далеко за линией фронта, в горном селе,

в котором мне довелось до войны побывать лишь раз, мать Рудика Хаджимба, разглаживая руками клочок газетной бумаги, пыталась вычитать что-то новое о последних месяцах жизни сына. Сообщил в своем письме адрес и настоящую фамилию "семьи Камлия". Это небольшое ответвление фамилии Квициния, распространенной в Абжуйской Абхазии, появилось в поселке Алра (в переводе — "ольховая роща") села Аацы после того, как когда-то их предок переселился в Бзыбскую Абхазию.

В семье было четыре сына и — самая младшая — дочка Анжелика. Кроме Ромы воевали еще его братья — старший Вадик и младший Баграт. Баграт был неутомимым разведчиком, друзья на фронте прозвали его "Одиноким волк". Он погиб в бою на северной окраине Сухума чуть позже случая с чудесным спасением Ромы, в ноябре 92-го. Взятый в плен, враги подвергли его нечеловеческим мучениям: ломали кости, били по спине чем-то тяжелым, жгли. Потом повесили. Кому-то этого показалось мало, и он еще выстрелил труп в ухо. Только через пять дней семья смогла получить тело сына, которое обменяли на военнопленных. После войны Баграт был посмертно награжден орденом Леона.

* * *

Рома встретился с семьей Рудика Хаджимба еще до освобождения Абхазии, в конце августа 93-го. Это был период самого длительного за все время войны перемирия, в которое (в то, что все кончится именно им), впрочем, мало кто верил и по одну, и по другую сторону линии фронта. Тем не менее перемирие пока действовало, и Республика Абхазия получила возможность доставить груз гуманитарной помощи в блокадный Ткуарчал автотранспортом. Рома, классный водитель, который еще до войны работал на собственном, купленном им КамАЗе, вызвался поехать в колонне. Сидя за баранкой грузовика, который отправился по маршруту Гудаута — Сухум — Очамчира — Ткуарчал, он видел и злые, ненавидящие глаза грузинских гвардейцев на блокпостах, и слезы радости и надежды, с которыми смотрели на них многие измученные жители оккупированных городов...

Сдав груз в Ткуарчале, Рома с друзьями решил доехать до села Арасадзыхь — благо, оно было неподалеку и грузины не рисковали в эти места соваться. Встреча с семьей Хаджимба — матерью Рудика, его бабушкой, сестрой Ингой и братом Джамбулом — была волнующей. Родные Рудика ловили каждое слово Ромы о нем...

После войны тело Рудика перезахоронили в родном селе. Рома еще несколько раз приезжал в Арасадзыхь... И в какой-то момент он признался Анжелике (они поселились в Сухуме в живописном ущелье Беслетки), что тянет его в это село и желание вновь увидеть Ингу... Инга и впрямь, как говорил когда-то Рудик, была совсем не похожа на Анжелику — тихая, немногословная. (Впрочем, и сам Рудик, вспоминают его однокашники, был тихим и скромным — в классе, но как оказалось, совсем не в бою). Щеки ее заливал нежно-розовый румянец.

Услышав такой разговор, Анжелика обрадовалась. Как никак брату уже за тридцать. То там, то сям у Ромы были "сердечные привязанности", но все это казалось ей несерьезным, а вот Инга, подумала она, это уже наверняка совсем другое дело. Правда, Рому смущало то, что Инга была сестрой его названного брата... Но ведь

они с Рудиком только собирались побрататься, стала убеждать его Анжелика, обряда же братания совершить не успели...

И вот, когда Рома с товарищами в очередной раз приехал в Арасадзыхь, он предложил Инге выйти за него замуж, и она и ее семья ответили согласием. Свадьбу наметили в апреле 95-го... На ней было много гостей и из Бзыбской, и из Абжуйской Абхазии. И я радовался вместе со всеми счастьем этих заочно ставших для меня дорогими и близкими молодых людей.

Вспоминаю, как на следующий день после свадьбы мы сидели с Ингой и Анжеликой в гостиной их дома. Говорила по большей части, конечно, Анжелика. Инга, как ей и положено было, стеснялась и участвовала в разговоре в основном кивками головы. И, конечно, не обошлось без рассуждений на тему: состоялась бы ли эта свадьба, если б Анжелика не пришла когда-то в нашу редакцию со своими стихами и не рассказала мне о Рудике Хаджимба, если б я не написал тот рассказ-быль и если б дядя Инги не принес к ней домой обрывок номера газеты, которую доставил в Ткуарчал очередной вертолет с "большой земли"?

Неожиданно для меня Анжелика совершенно убежденно сказала (и Инга согласно кивнула в конце ее речи):

— Конечно, если б не было чувств, если б они не нравились друг другу, ничего бы не было... Но рассказ создал общественное мнение... и это тоже сыграло роль. И Инга и Рома как бы подчинились этому мнению.

Общественное мнение... Я долго потом думал над этими словами. А что, разве не "общественное мнение" (хотя называлось оно как-то по-другому) создавало, выкристаллизовывало тот моральный кодекс, который абхазы называют "апсуара"? Доблесть, воинская слава, самоотверженность — все это мы видим и в современной нам истории Анжелики и ее братьев. Разве что на смену кремневым ружьям пришли автоматы и гранатометы, а песне народного сказителя под апхярцу — печатный станок... И как хочется верить, что красота человеческих отношений, которую мы видим в предыстории возникновения этой семьи, сохранится и в ней самой! Будь же счастлива, молодая семья Ромы и Инги! Будь же счастлива, Абхазия!

1993-1995

Р. С. 2 апреля 1996 г. в семье Романа и Инги родилась дочь, которую называли Альбиной. Рома сперва, как водится, переживал, что родился не сын (пусть это будет самое большое огорчение в его жизни), а потом, как водится, очень привязался к дочке.

Объяснение в ненависти

Да, мир перевернулся...

Обычно эту фразу произносят с трагической ноткой в голосе, но с какой стати Мурману Хубутия было оплакивать мир, в котором он жил до 14 августа девяносто второго года? И дело не только в том, что "наши пришли", как воодушевленно говорили друг другу в те дни сухумские грузины. Рухнул вообще прежний —

устоявшийся, утрамбовавшийся — уклад жизни, где все было расписано на годы и десятилетия вперед и где Мурману, что скрывать, не светило ничего хорошего. К своим двадцати четырем годам он уже достаточно ясно понимал, что его "шесток" — две убогие комнатухи в уголке города, именуемом "Нахаловкой" (поскольку это когда-то было место самовольной застройки) и раздолбанный "пазик", баранку которого он крутил с самого начала работы в пассажирском АТП.

В последние годы Мурман жил, все больше ненавидя и мать, вдвоем с которой ютился в домике-развалюхе, — толстую крикливую торговку рыбой на рынке ("Девочки, риба! Девочки, риба!" — в доме, кажется, уже все провоняло рыбой, некуда было деться от этого запаха; отец же его, в последние годы жизни не просыхавший, умер, когда Мурману исполнилось тринадцать); и свое костистое лицо, которое мрачно смотрело на него из зеркала, когда он брился по утрам; и тех знакомых сверстников из "благополучных семей", которым судьба со дня их рождения преподнесла все на блюде. Мурман знал, что сколько бы он ни горбатился, у него никогда не будет ни гостиной, заставленной дорогой мебелью, ни телевизора "Сони", ни даже телефона, потому что нет у него "поддержки", нет родственников среди начальства. И невольно провожая на улице взглядом веселых и беспечных "хозяев жизни", он с тоской ощущал свои обделенность и неприкаянность в этом мире. "Сто тысяч "почему?", как в детской песенке, толклись в голове. Почему какой-нибудь его ровесник приходит домой в прекрасно обставленную квартиру, а он, Мурман, — в свою конуру с грязными выщербленными половицами? Почему кто-то в мире запросто летает на денек по делам из Европы в Гонконг, а он задыхается, оскотинивается, затевает драки в ужасных хлебных очередях, которые появились в городе с начала 92-го? Почему этот Жорик Агрба, которого из класса в класс тащили за уши, закончил благодаря "заслугам" отца институт и работает в теплом месте в какой-то коммерческой фирме, а он, Мурман, возвращается с работы еле волоча от усталости ноги и уже в десять заваливается спать, потому что наутро ему вставать ни свет ни заря? И вдруг действительно мир перевернулся, во всяком случае очень многое в нем изменилось. На третий или четвертый день после прихода грузинской армии Мурман увидел одного ответственного работника — всегда величественного, утомленного от сознания собственных неоспоримых достоинств — бледным от страха, суетливым и заискивающим. Он увидел, как люди, жившие в домах-дворцах, в один миг становились нищими. Он видел, как из дома его соседа, бежавшего за Гумисту лектора АГУ, выносили мебель, и сердце его наполнялось мстительной радостью, потому что Мурман знал, скольких грузин в свое время тот завалил на вступительных экзаменах.

Мурман записался в гвардию, получил автомат и обмундирование. У него появились новые друзья и почти неограниченная свобода действий, когда выходил с ребятами на патрулирование в городе.

В доме завелись вещи, ранее там невиданные: хрусталь, видеодвойка, музыкальный центр... Мать все время что-то выменивала, прятала, перепродавала. Мурман попробовал вкус мартини и всяких импортных штучек, которые его мать называла "деликатезами". Но главным, почему он почувствовал себя, наконец, человеком, было, конечно, другое. Это было непередаваемое ощущение: просто передернуть

затвор автомата, просто направить ствол на хозяина дома, где проводится обыск (Мурман особенно любил проверять дома бывших "ответработников"). И увидеть, как хозяин на глазах мертвеет, как лоб его покрывается испариной, дыхание стесняется и, запинаясь, он начинает подбирать слова так, чтобы ненароком не рассердить тебя... И все чаще в голову Мурману приходило два адреса, по которым сам Бог велел ему отправиться. Илона и Петрович — это были два человека из прежней его жизни, с которыми он обязан был встретиться в жизни нынешней...

* * *

Илона Ковалева училась вместе с Мурманом до восьмого класса и жила когда-то в соседнем квартале. Бело-розовая, похожая на Снегурочку отличница, единственная дочка известного в городе врача-кардиолога. В седьмом классе, пользуясь своим соседством, Мурман повадился носить из школы ее тяжелый, набитый учебниками портфель. На робкие попытки Илоны протестовать, как и на смешки наблюдавших за ними издали одноклассников, внимания не обращал и шел рядом с ней вполне счастливый. Илона принимала эти неуклюжие ухаживания двоечника и драчуна Мурмана со смешанным чувством страха и презрения и в конце концов избавилась от них, сменив свой портфель на легкий ранец, в котором болтались только тетради да одна-две самые необходимые книжки. Мурман растерялся от такого коварства: снимать с Илоны при выходе из школы и напяливать на себя миниатюрный девчачий ранец было бы совсем уж нелепо, и повода для провожаний не стало. Это был юношеский период тайного разглядывания себя во всех подвернувшихся по дороге зеркалах, беспощадной борьбы с угрями на лице и наивной надежды, что вот-вот из черт гадкого утенка начнет вырисовываться нечто лебединое... Нет, уродом он себя никогда не считал, но и сказать, что его темное лицо, широкие скулы, чуть приплюснутый нос и лопатообразные кисти рук притягивали девушек как магнит, было бы натяжкой.

С грехом пополам окончив восьмой класс, пошел учиться в автошколу, но их с Илоной пути-дороги разошлись и без того: ее родители получили квартиру на Лечкопе, и школу она заканчивала уже там. Но однажды, надев новый костюм и даже, впервые в жизни, галстук, Мурман на правах бывшего одноклассника заявился к Илоне домой — она училась к тому времени на первом курсе АГУ — с огромной коробкой конфет и обручальным кольцом, которое сжимал в потной ладони в кармане пиджака.

Сердце билось, когда он поднимался по лестнице, чуть не выламывая ребра... Новая квартира Ковалевых (впрочем, в старой он никогда не бывал) поразила его больничной чистотой и порядком, паркетом, гладким, как каток, и великим множеством книг в шкафах. Илона ничуть, вроде, не удивилась тому, что он знает ее новый адрес, но встретила более чем прохладно. Не исключено, что и на порог бы не пустила, выйди открывать сама. Но открывать вышла мамаша, которая помнила Мурмана не столько даже как бывшего одноклассника дочери, сколько как бывшего соседа. Она принялась расспрашивать его о жите-бытье и даже кофе сварила, в то время как Илона ходила по комнатам, словно фурия, бросая на Мурмана косые взгляды. Тем не менее Мурман продвигался вперед уже неостановимо, как тяжелый

танк, и, оставшись в какой-то момент с Илоной наедине, предложил ей свои руку и "пламенный мотор" в смысле сердца. Оскорбил его даже не отказ, а та брезгливость, с которой она отодвинула лежащее перед ней кольцо. Вот этот жест и ее злое лицо ему не забыть никогда...

Он шел тогда из ее дома на остановку троллейбуса раздавленный и жалкий, не в силах проглотить комок в горле, а в голове была настоящая каша: "Как она, русачка, меня презирает! А ведь не время с ней провести хотел, жениться собирался. Между прочим, еще и неизвестно, как бы моя родня ее приняла... Ну, конечно, дома у них — и пианино, и стереосистема, и "стенка" какая... А я — простой работяга. Ну, подожди, подожди..."

Чего ждать — ему и самому было не совсем понятно. Ведь догадывался: подкати он к дому Илоны и на собственной иномарке — она все равно не согласится. Да и не будет у него никогда иномарки...

Еще через года три Мурман узнал, что Илона вышла замуж за какого-то абхазца. С неделю ходил убитый, хотя казалось бы: чего переживать — ведь после того, как нахлебался дерьма с тем кольцом, он ни разу больше к ней не совался и давно уже должен был смириться с мыслью, что она достанется кому-то другому. Тем не менее, в подробностях представляя себе, чем сейчас этот некто занимается с его белоснежной голубкой, скрипел от обиды зубами: ну, конечно, "апсуец", как могло быть иначе! Нет, и среди абхазцев встречались порядочные ребята — с одним в гараже Мурман даже кентовался, но в целом, как нацию, он их ненавидел. За что? Да за то, что большинство их считало: раз они родились абхазцами, значит, родились начальниками. Неслучайно и анекдот такой есть: какой, мол, абхазец без портфеля? Типичный пример — их, в гараже, главный инженер. Ну, тупой из тупых, тупее не бывает, начнет говорить — вообще его не поймешь, что хотел сказать, но туда же — "руководитель"... У них ведь целая мафия: все — родственники, один тянет наверх другого, другой — третьего...

Это отношение к абхазцам, которое коротко, по-простонародному выражалось в душе Мурмана исключительно матерными словами, сформировалось у него еще с младших классов школы. В его классе училось всего три абхазца, но все — дети "шишек": у одного отец в органах работал, у другой — кандидатом наук, у третьего — директором мебельного магазина. Конечно, это отражалось и на их оценках, и вообще на отношении учителей, и все это видели... Как-то в шестом классе Мурман без всякого повода так отмутузил директорского сынка, что тот его потом за километр обходил.

И уж наверняка, будь его родители абхазцами, давно они бы квартиру получили. Отец, помнится, всегда рассказывал, что когда приехал сюда, ему золотые горы обещали... (Самое смешное, что Адгур, тот, с которым он кентовался в гараже, тоже однажды начал жаловаться, что его отца в чем-то зажимают: "конечно, если б он был не абхазец, а грузин..." Мурман сперва даже подумал, что Адгур его разыгрывает, а потом они чуть не подрались.)

И в доме у дяди Мурмана, машиниста локомотивного депо, всегда только и разговоров было, что о том, как абхазцы наглеют.

В общем, когда начало подниматься грузинское движение, Мурман стал одним из его активистов. В тот романтический период он испытал удивительное, неведомое

раньше чувство сопричастности чему-то большому и главному, что объединяло всех грузин, независимо от их положения в обществе, образования, возраста... Как-то на одной свадьбе музыканты заиграли мелодию песни "Самшобло, самшобло" * (*Родина (груз.)...*), все встали и запели, а он в порыве чувств схватил со стола темно-красную салфетку, черную маслину и белый кружок редиски — все под цвета флага независимой Грузии — и начал размахивать ими в такт мелодии. Все вокруг обернулись, а какая-то девушка даже заплодировала его находчивости. Постепенно, когда Мурман начал разбираться в истории, он узнал, что эти "апсуа" тут вообще никаких прав не должны иметь... Помнится, он, как и многие стоявшие вокруг, опешил, когда на многолюдном митинге в Мачаре (а Мурман старался не пропустить ни одного грузинского митинга) один уважаемый профессор из Тбилиси обратился к заполнившим перед ним площадь: "Абхазебо!" И, выдержав паузу, которая постепенно начала заполняться недоуменным ропотом, продолжил: "Да, да, именно вы — абхазы, потомки тех самых доблестных абхазов, грузинского племени, которое в восьмом-десятом веках объединило всю Грузию в сильнейшее государство Кавказа! А те, которые присвоили ваше славное имя и хотят присвоить вашу землю, — северо-кавказское племя "апсуа", спустившееся с гор пару веков назад".

Тяжелый, багровый гнев, словно варево в котле, набухал в душе Мурмана во время таких митингов. Как точно, в цель, ложились взволнованные слова ораторов на них: "Этим абхазам, правда что, не хватает ума. Пусть они скажут спасибо, что живут на нашей земле!", "Пусть они просят грузинское, а не русское правительство, если чего-то хотят!", "Грузинский народ выделяется своим великодушием, и все эти тридцать лет они пользовались этим великодушием. И вот к чему все привело! Но мы устроим черный день кучке абхазских сепаратистов!" Что ж, так оно в жизни и бывает, рассуждал про себя Мурман: стоит сделать наглому гостю уступку-другую, и он, пользуясь гостеприимством и добросердечием хозяина, начнет выставлять того из его же собственного дома. Удивительно все-таки, как эти "апсуйцы" были уверены, что их национальность — это уже какая-то фора в жизни, что им тут должно принадлежать все лучшее!..

Вот и насчет избранника Илоны Мурман почему-то сразу решил: вышла за него, потому что ему, как абхазцу, легче расти по служебной лестнице, захотела стать женой начальника. Несколько раз Мурман заходил в министерство сельского хозяйства, где тот работал (пока какой-то мелкой сошкой), — чтоб просто посмотреть: ну чем же этот "апсуа" лучше его? — но всякий раз, так уж получалось, не заставал его на месте.

...И вот спустя примерно месяц после прихода грузинской гвардии Мурман случайно услышал, что и Илона, и ее благоверный, оказывается, здесь, на месте, никуда не выехали. И сразу будто в бок кто толкнул: вот чего он должен был дожидаться — и дождался.

Подъехали к нужному дому в "верховьях" предгорной улицы Казбеги около одиннадцати вечера. Начали стучать в калитку, орать и со смешком переглянулись, увидев, как в соседних домах словно по команде потушили свет. Разведданные подтвердились: Илона и ее муженек были дома одни и смотрели телевизор. Этакая семейная идиллия... Мурман даже в какой-то миг разозлился: что за нахальная

беспечность, на что, интересно, они надеялись, на какого такого ангела-хранителя? Оставив в джипе новенького, имени которого Мурман даже не успел запомнить, вся их "великолепная пятерка" (Гоча из Сагареджойского района, детина под два метра ростом; Ачико-тбилисец; Рамаз — маленький, черный и верткий гориец, до отказа начиненный приемами каратэ; выдумщик и балагур Ингиштер — местный, сухумский сван — и, наконец, Мурман) завалила в дом.

Ребята все ушлые, прошедшие Крым и Рым. Рамаз, которого Ингиштер обычно представлял так: "Жан Клод Ка-ак Дам!" — любил пугать окружающих рассказами о том, чего он спецназовцем насмотрелся в 89-м в Фергане: как местные пацаны катали в дорожной пыли отрезанную человеческую голову, как с человека живьем содрали кожу и торопились, набивали ее соломой, чтоб успеть показать ему чучело, пока не испустил дух...

Ингиштер сразу потребовал у хозяев документы. Ачико, как всегда, стал допытываться, почему они не говорят по-грузински. Тщедушный муж Илоны (с какой ненавистью смотрел сейчас Мурман на его мелкие, птичьи черты лица!) попробовал было петушиться, но Гоча дал ему такого леща, что, отлетев к стене, тот сразу присмирел. Илона сидела в кресле ни жива ни мертва. Да и трудно сохранить самообладание — это Мурман уже как бы со стороны глядел — когда к тебе врываются пятеро лбов в камуфляже, с автоматами наперевес и в черных шерстяных чулкообразных масках с прорезями для глаз и рта. Слабонервный просто глянет на такую маску — и уже страх берет... Ингиштер даже придумал такое название их команде: "ББГ", что значило "Банда беспощадных громил". Или из какого-то фильма взял... Но как бы то ни было, они от этого "ББГ" кайфовали, когда он так представлялся...

Ачико и Гоча рыскали по комнатам в поисках "рации и оружия", а на самом деле, конечно, выбирая себе что-нибудь из вещичек. Рамаза, как всегда, первым делом занесло на кухню, где он откопал-таки хорошую бутылку чачи. Он так и появился в зале — держа в одной руке здоровенный кус "сулугуни", а в другой бутылку и время от времени просовывая себе в пасть через прорезь маски то горлышко этой бутылки, то сыр. Ингиштер заметил кольцо на руке хозяина дома и жестом приказал снять. С третьей или четвертой попытки мужу Илоны это удалось и он протянул кольцо Ингиштеру.

Ингиштер с любопытством взглянул на него.

— Ты что мне его, даришь?

— Д-да...

— ...Или, может, ты нас за мародеров принял? На, возьми и проглоти его.

Тот растерянно молчал.

— Я тебе что сказал? Глотай!

Короткий удар в челюсть опрокинул хозяина дома навзничь. Ингиштер поднял его, и началась потеха: они с Гочей ударами перекидывали этого фуцана друг другу, как мяч, а тот только ухал после очередной колотушки и хватался руками за воздух. Из носа его текла кровянка.

Илона подняла крик, но Рамаз и Ачико быстренько кинули ее на тахту и залепили рот скотчем.

Мурману послышался еще чей-то голос. Он пошел проверить — и обнаружил в

дальней комнатке лежащего в постели дряхлого старика с длинными седыми усами. Старик начал что-то лопотать по-абхазски, и Мурман догадался, что это, скорее всего, дед мужа Илоны.

— Спи, спи, дедушка. Все нормально, — сказал он по-русски и прикрыл за собой дверь.

Картина, которую он застал, вернувшись в зал, его умилила. Гоча прижал мужа Илоны к стенке, держа у горла нож и заставляя смотреть, как остальные управляют с его благоверной на разложенной тахте. Белизна голых прыгающих ног Илоны ударила Мурмана по глазам.

— Кто последний? — веселым голосом крикнул он. — Ачико, я за тобой буду. Он, внутренне дрожа, плюхнулся в кресло — совсем недавно хозяин дома смотрел из него телевизор — и подумал, что это, наверное, и есть те самые минуты, ради которых стоит жить, — минуты, когда человек может насладиться трусливой, неважно — громкой или молчаливой, мольбой своего врага о пощаде. Надо запомнить каждую подробность, каждое мгновение происходящего, чтобы оно проникло во все клеточки мозга и законсервировалось там на всю жизнь, чтобы и будучи вот таким же немодным стариком, как тот, что лежит сейчас на постели в одной из комнат дома, можно было бы восстановить эту картину в памяти и заново сполна, во всех красках ее пережить. При этом, пожалуй, большой кайф Мурман ловил глядя не на то, что вытворяли с Илоной эти скоты, его друзья, а на искаженное страхом и унижением лицо ее мозгляка-мужа.

— Ладно, иди ты, — сказал он через несколько Минут Гоче, — а я после. Да отпусти ты его...

Куда действительно было кидаться несчастному хозяину дома, который замер перед дулом автомата, словно кролик под взглядом удава? Он сидел в соседнем кресле, сброшенный туда Гочей, как куча дерьма с лопаты, а Мурман развалился напротив, ухмыляясь под маской и наставив на него АКМ.

И вот, наконец, настал тот заветный миг, когда Мурман въехал в свою ненаглядную Снегурочку, которая, правда, к тому времени лежала как в обмороке. Честно говоря, прежде он никогда не участвовал в групповухе и в какой-то момент забеспокоился: а вдруг не сможет вот так, на глазах у всех, тем более, что для остальных она была просто русская телка, а для него, что ни говори, — первая любовь?.. Но все прошло на уровне, а под конец он даже не удержался и начал через прорезь маски целовать ее шею, плечи, лицо и бормотать те ласковые слова, которые так мечтал когда-то шептать в это маленькое розовое ушко всю жизнь... И вот когда он, наконец, оторвался от нее и начал с чувством выполненного долга приподниматься, Илона вдруг встрепенулась и резким движением руки стянула с него маску...

Заклеенный рот превратил ее вскрик в мычание.

Наверное, знакомый голос одного из "гостей" не давал ей покоя, а затуманенный происходящим мозг уже слабо контролировал поступки. Впрочем, Мурман в ту секунду пережил скорее удовлетворение: ведь не узнай она его, того самого путающегося в словах мальчика, того гадкого утенка, которого пять лет назад с позором выставила за дверь, не было бы сейчас и настоящего мщения. Вообще никакого мщения не было б...

Однако, и Ингиштера, и остальных мало интересовали оттенки его чувств. Для них

ясно было, что ценой любопытства Илоны могла стать только ее жизнь. Заодно с жизнью ее муженька... Аккуратист Ачиико сделал по контрольному выстрелу в головы, и, покидав в багажник кое-какие шмотки, они свалили.

Некоторое время его мутило при воспоминании о скребущемся по полу хозяине дома и о том, как брызнули на стенку его мозги и кровь...

А про дедушку в задней комнате он остальным не сказал: жалко его стало. Да тот ведь и не видел ничего...

* * *

А через недельку пришел черед Петровича. Или Ясона Петровича. Или просто Ясона, как называло его большинство в гараже.

Если к Илоне Мурман испытывал сложное чувство, которое представляло из себя некую гремучую смесь из любви и обиды, унижения и нежности, обожествления и стремления что-то ей доказать, то при воспоминании о Ясоне им овладевала только ненависть — слепящая, как бьющий в лицо ветер со снегом. Ясон — приземистый абхазец за пятьдесят лет, лысоватый, с могучей глоткой и едким, злым языком — был завгаром у него на работе. Мурмана он сразу невзлюбил, придирался к каждой мелочи и унижал, как только мог. "Счет" к Ясону копился у Мурмана давно...

Как заноза засел, например, в памяти полугодичной давности эпизод, когда в кучке водителей, которые толпились у диспетчерской, кто-то сплюнул на землю длинным тягучим плевком, а Ясон гадко засмеялся: "Казарян даже плюнул, как про Хубутия услышал" (как раз в этот момент по какому-то поводу была произнесена фамилия Мурмана). Тихий Казарян смутился, ему стало неловко перед Мурманом и он начал доказывать то, что ни в каких доказательствах не нуждалось, — что плюнул он вне всякой связи с разговором, — а Мурман... промолчал. Промолчал потому, что он вообще не был силен в словесных поединках, терялся, когда надо было ответить обидчику что-то резкое, острое, и, закипая от обиды, полагался больше на силу своих тяжелых, смуглых кулаков... Тут же... он готов был броситься на Ясона, схватить его за грудки, встряхнуть что было сил, так, чтобы поотлетали все пуговицы с ненавистной клетчатой рубахи, но тяжелой, мертвящей силой прижала его к земле мысль о новом "Икарусе", который вот-вот должен был поступить в АТП. По всем законам справедливости он, Мурман, был одним из главных претендентов на место за рулем этого "Икаруса", можно даже сказать — первым в очереди стоял, но очень многое тут зависело от слова Ясона. Да и вообще публичный скандал Мурману был в тот момент ох как не нужен... Это воспоминание о перенесенном унижении и совершенно напрасно ("Икаруса" он тогда, конечно, так и не получил, хотя целый месяц собирал по родственникам деньги на взятку) проглоченной обиде жгло, мучило его и месяцы спустя. Сколько раз Мурман думал: "Нет, просто убить его — меня не устраивает. Я должен воткнуть ему в живот нож и, поворачивая, смотреть этой суке в глаза..."

Мурман почему-то не сомневался, что Ясон слинял сразу после прихода войск Госсвета, но потом узнал, что он как ни в чем ни бывало живет в своей квартире. Жена, правда, у него была грузинка, на нее, видимо, и надеялся...

На этот раз Мурман остался ждать в машине. Ясон выходил из подъезда своего дома

внешне спокойным, во всяком случае — явно не подозревая, что его ждет. Мурман предвкушал момент, когда он увидит его и дрогнет, но этот старый козел только обрадовался, когда узнал "своего". Или по крайней мере сделал вид, что обрадовался. Пока они ехали, Ясон болтал без умолку — может, со страху: по какому, мол, поводу вызывает его комендатура, а где, мол, сейчас тот да этот из гаража, ну, что вы, ребята, думаете о перспективах окончания войны?..

Мурман долго терпел этот словесный понос, но в конце концов Ясон так его достал своими вопросами, что он развернулся с переднего сиденья и врезал ему правой между глаз.

Заехали на пустынную территорию одного заводика, который Мурман давно присмотрел для этих дел. На заводе не было никого, кроме четверых охранников, своих ребят, с которыми Мурман заранее договорился и которые ничего не имели против того, чтоб они спокойно поработали с Ясоном.

— Ну что, Петрович, выходи, — обернулся у нему Мурман. — Будем тебя сейчас за яйца подвешивать.

После "первичной обработки", когда Ясон валялся, окровавленный, в пыльном углу заводского корпуса, Мурман приподнял его голову за остатки волос и посмотрел в глаза своего бывшего мучителя:

— Ну что, помнишь, как ты мой "Икарус" другому продал?

Ингиштер все старался ударить Ясона по печени и требовал сказать, где тот прячет свои бабки. Ясон божился, что все деньги, которые имел, отдал сыну, а тот — в России.

Они потащили его в грузовой лифт.

...Просторная клетка лифта вздрогнула и поехала вверх. Пятеро парней в камуфляже повалили Ясона на ее гулкий металлический пол и волоком потащили к краю, туда, где медленно сменяли друг друга слои кирпичной кладки. Ясон хрипел, пытаясь освободить заломленные за спину руки. Запрокинув лысую, в венчике мелкокурчавых пепельных волос голову, он видел, как кладка кончилась и пошло пустое пространство: железные двери лифта на верхнем этаже были распахнуты настежь. Крик ужаса вырвался у него из груди, когда его мощным рывком вытолкнули вперед, так, что голова оказалась в этом пространстве. Тут он окончательно понял, что с ним собираются сделать: через три-четыре секунды площадка, на которой он распластан, поползет до железного короба дверей — выше уже начинался кирпичный простенок очередного этажа — и, медленно, но неотвратимо сплющивая, раздавит его черепную коробку, как орех. Если, конечно, его не собирались просто поугатать... Но непохоже — простенок все ближе, ближе, ближе... Ясон забился в руках парней, словно большая вытащенная на берег рыба, но пятеро навалились на него, выламывая руки, и он, обезумев от боли, замер. И тут вдруг наступила непроницаемая темнота, и лифт остановился... Все вскочили. Общее оцепенение длилось около секунды. Потом, наконец, раздались невнятные восклицания, шорохи, громкий мат Гочи. ...Глаза медленно привыкали к темноте. Неожиданность на какое-то время отняла разум. У Мурмана было ощущение, что он провалился в преисподнюю. Только через неширокую, менее полуметра, полосу у самого пола проникал слабый свет.

— Спокойно, ребята, — сказал Ингиштер. — Может, это на минуту отключение...

— Угу... Или на трое суток... — мрачно возразил Гоча. — Если снова абхазцы где-нибудь опору взорвали?..

Рамаз нервно чиркал зажигалкой, которая никак не хотела зажигаться. Но еще до того, как ее колеблющееся пламя осветило металлическую клетку, в которой они оказались заперты, раздался вопль Гочи:

— Где эта сука?

Ясон провалился как сквозь землю. Впрочем, почему "сквозь землю"? Когда они как следует осмотрелись и убедились, что в лифте их всего пятеро, стало понятно, что во время общего замешательства он сумел протиснуться в ту самую щель, которая разделяла сейчас нижний край кирпичного простенка и пол клетки. Выкарабкался, уполз, спрыгнул или свалился вниз, как мешок, и гуляет где-то сейчас на свободе. Первым побуждением было выбраться наружу тем же путем, что и он, но в голове мелькнуло: "А что, если сейчас включится электричество, мотор заработает и лифт двинется дальше? Мурман представил себе, как его тело, застрявшее на полпути из клетки лифта, перерезается, можжится, как хрустят и ломаются ребра, потом позвоночник, и непроизвольно попятился от щели. Но кто знает, когда дадут этот ток?

— Ну, давай, ты же знаешь этих, из охраны! Как их зовут? Кричи! Они, может, и не поняли, что мы тут застряли... — голос Ачико срывался в истерику.

— Тихо! — поднял руку Ингиштер. — Слышите? Что такое?

Сверху доносились глухие тюкающие звуки. Если б пятеро, стоявшие сейчас в темной клетке лифта, могли увидеть, что происходит на чердаке здания, то их взору предстала бы такая картина: Ясон со вздувшимися на шее жилами рубил топором с длинной ручкой (он его прихватил с пожарного стенда) тросы, которые уходили из лебедки вниз и держали кабину лифта. Когда лопнул последний трос, тяжелый лифт с орущими людьми ринулся с высоты третьего этажа вниз. На этот раз он летел действительно в преисподнюю.

1997

Ошибка минера

Время действия — теплый апрельский вечер 1993 года, место действия — лесистый склон холма в предгорьях Кодорского хребта на ближних подступах к селу, ставшему в те дни местом ожесточенных боев на Восточном фронте.

Рядовой абхазской армии Самвел Аведян, на ходу отвинчивая колпачок фляги, спускался к ручью. Но шум воды, который его привлек, оказался обманчивым: едва заметная глазу тропинка все вилась в круто уходящем вниз ольховнике, а ручей будто играл с ним в прятки. Самвел уже начал беспокоиться и ругать себя последними словами за то, что так опрометчиво отошел от места, которое его боевая группа заняла полчаса назад. Главное — слова никому не сказал... Но вот же он, казалось, этот проклятый ручей, рукой подать! И тут он услышал под ногой характерный металлический щелчок.

-Самвел замер. Сомнений быть не могло: его правая нога стояла на mine. Об этом

типе мин — разгрузочного действия, МС-3 — он слышал и знал, что в мгновение, когда он оторвет подошву от этой засыпанной серыми прошлогодними листьями пожухлой травы, раздастся взрыв.

А дальше — Самвелу уже приходилось видеть это зрелище своими глазами — черный столб дыма рассеивается, и на месте взрыва остается в худшем случае труп, в лучшем — калека. Впрочем, это еще как сказать — что в лучшем, а что в худшем... В одном "видике" про войну во Вьетнаме, который он смотрел, был эпизод: парень долго стоял на такой вот мине, все ждал помощи, вокруг него бегали, суеились люди, но без толку, и в конце концов он, не выдержав напряжения, сошел с мины и взлетел на воздух.

Самвела прошиб горячий пот. Он попал в страшную беду и никто, кроме него самого, не мог сейчас его из этой беды вызволить.

Все внутри свело спазмом, он задышался. "Вот это влип, вот это попался, — металось в мозгу. — Что же делать, что делать?"

Невольно постарался перенести основную тяжесть тела на правую ногу — его вдруг обуял страх, что если он даже не снимет эту ногу с мины, а просто ослабит давление на нее, ее ужасная разрушительная сила может вырваться из-под земли.

Так, прежде всего надо успокоиться, приказал он себе, и, не дергаясь, начать думать, что может его в этой ситуации спасти. Если б рядом находился хоть кто-то свой — желательно, конечно, смыслящий в саперном деле — они бы вместе обязательно что-то придумали. Ну, например, говорят, под ногу надо осторожно подсунуть штык лопаты, а потом так же осторожно заместить давление ноги давлением какого-нибудь валуна или... ну, чего угодно, лишь бы вес этого предмета был не меньше веса человека. Килограммов семьдесят, допустим. Все это, конечно, должно быть проделано виртуозно — малейшая ошибка, опоздание на долю секунды — и на воздух взлетят уже оба. Есть, слышал он, и другой способ — резко оттолкнуться от земли, ласточкой спланировать в какую-нибудь ложбину поблизости и упасть плашмя, чтобы не посеколо осколками. Но это легко сказать и совсем непросто сделать...

Никаких ложбин вблизи не просматривалось. Правда, примерно в полутора метрах слева возвышался симпатичный травянистый бугорок, но чтобы оказаться за ним в доли секунды, надо быть гимнастом или акробатом. Прыгать туда было очень неудобно, разве что перед этим медленно, не теряя ни миллиметра почвы под правой ногой, развернуться в ту сторону. А может, лучше "нырнуть" просто вперед? Склон, по которому тропинка уходила здесь вниз, был пологим, но если прыгнуть и упасть подальше, то голова окажется примерно метра на два ниже уровня взрыва мины. Рискнуть?

Ну, а если прыгнешь и упадешь прямехонько на другую мину?

Впрочем, что гадать: если эта тропинка заминирована, он может подорваться на ней в любой момент... Но почему все-таки, отправляясь к ручью, он так уверенно решил, что все чисто, что не может здесь быть мин?.. Да, как несколько раз сказал летевший с ним в Ткуарчал на вертолете кабардинец — потом он его больше не видел: "Восточный фронт — дело тонкое."

Самое же постыдное — то, что на мину наступил не кто-нибудь, а он — сам минер, который два месяца обучался этому делу у одного из лучших ткуарчалских

взрывников. Допрактиковались до того, что ребята из группы уже злиться на них начали: из-за вас, мол, идешь в туалет и не знаешь — может, подорвешься. Сколько "растяжек" они по дорогам понаставили... Один раз старый "Запорожец", начинив баллонами с аммоналом и закрепив его руль, направили с высоты в сторону грузинского штаба в Беслахубе — правда, машина взорвалась чуть-чуть не доехав до цели. Грузины потом, завидев какой-нибудь "Запорожец", называли его "абхазским танком"... То же самое проделали и с вагоном на железнодорожной ветке...

"Минер ошибается только раз", — эта присказка вошла в сознание Самвела с малолетства, одновременно с первыми каракулями в школьной тетрадке. За прожитые годы она успела навязнуть на зубах, превратилась в словесный штамп, который произносят, не особенно в него вдумываясь. И вот теперь его ошибка — нет, не та, которую обычно подразумевают, говоря про минера или сапера, а просто глупая неосторожность — могла действительно стать последней в его жизни. Вернее, нет: то, что он пошел за водой один и понадеявшись на "авось" — это предпоследняя ошибка, а последняя может произойти, если он вот сейчас примет неверное решение. Нет, нет, надо обязательно дождаться кого-то на помощь, а пока никого рядом нет, он лучше постоит так — и час, и два, и три... Вот именно, на тот свет всегда успеешь... Выбор тут простой: останешься стоять на месте — наверняка в следующую секунду будешь жить; а прыгнешь — еще неизвестно...

Но догадаются ли в группе, куда Самвел исчез?

Можно, конечно, набрать полные легкие воздухом и изо всех сил крикнуть — "Э-э-э!" или что-нибудь в этом роде, можно начать выкрикивать имена ребят. Но разве услышат? Ведь забрел он в поисках этого проклятого ручья черт знает куда... Можно еще снять с плеча автомат и запулить в небо очередь-другую — эта мысль мелькнула в голове у Самвела сразу, как он осознал свое положение, — и тогда его уже наверняка услышат. Вопрос только: кто раньше? Грузины ведь тоже где-то совсем рядом.

А-а, была не была... Он осторожно, боясь ненароком не сосупить с мины, приготовил "калашников" к стрельбе и, направив ствол в небо, несколько раз нажал на спусковой крючок: сперва, ощущая в руках нервную дрожь автомата, выпустил короткую очередь, а потом одиночными воспроизвел мелодию, которую ладонями отбивают болельщики на стадионах: "та, та, та-та-та, та-та-та-та, та-та!"

Вот только догадаются ли ребята, что это — его зов о помощи? Стрельбы вокруг хватало: где-то внизу ухала "зушка", перетягивались автоматы.

Напряжение становилось невыносимым. Самвел ощутил вдруг тупую боль в правой пятке, которая постепенно превратилась в сверлящую. Ему мучительно хотелось поднять ногу — и тогда, казалось, боль исчезнет...

Поорал с полминуты, стал ждать...

Никогда еще за всю жизнь Самвела жгучая тайна смерти не придвигалась к нему вплотную, так близко...

Впрочем, нет, был в его детстве, в девятилетнем возрасте, эпизод... В ватаге ровесников и ребят постарше пошел купаться на речку. Самвел тогда только учился плавать, мог пробарахтаться по-собачьи пару метров на мелководе — и все; а тут вдруг оказалось глубоко, и, потеряв опору под ногами, он пошел ко дну. От страха даже позабыл, что не один тут, и с ужасом, широко раскрыв глаза, думал: так вот,

значит, какие они, последние мгновения его жизни! Неужели все так быстро, так рано!.. Но большой, двадцатилетний парень тут же вытащил его на поверхность воды, как котенка. Потом, греясь на берегу на солнышке, старшие смеялись, балагурили: "Теперь тебе, Арут, должны медаль "За спасение утопающих" дать. Надо в райцентр съездить, похлопотать..." Тогда смерть выплывала на него, пацаненка, из зеленоватой мглистой речной прохлады, сейчас она шумела вокруг в ветвях набирающих весеннюю силу деревьев, стрекотала где-то в них насмешливой пичужкой... И он был с ней, со смертью, один на один...

Арут, где ты, Арут?..

Стоя, он время от времени расслаблял левую ногу и даже чуть переставлял ее, потом переносил на нее основную тяжесть тела с правой, на которую сейчас была вся надежда, — и это тоже чуть-чуть снимало напряжение.

В памяти всплыл случай, о котором он слышал еще на Гумистинском фронте. Разведгруппа возвращалась с задания и устроила небольшой привал. И один из этой группы — армянин, кстати говоря, — как сел под деревом, так и понял: под ним мина. Как только он встанет, она сработает. Посидели, покурили... "Ну, давайте, — он говорит, ребята, идите, я вас сейчас догоню." "А что такое?" "Да нет, ничего, портянки надо перемотать." И вот только когда они отошли на безопасное расстояние, он поднялся. Естественно, разнесло его в клочки. А перед тем, как встать, он еще, говорят, крикнул им что-то издали, прощаясь, и рукой помахал... Конечно, все это выглядит очень красиво и героически, думал сейчас Самвел. Но почему же он, тот разведчик, не захотел побороться за свою жизнь? Неужели не знал, что такую мину можно перехитрить, придавив ее другим грузом? Тем более — вокруг были товарищи, которые наверняка бы его не бросили... В какой-то момент Самвел почувствовал, что ему неприятно думать об этом парне, ушедшем из жизни с таким спокойствием и достоинством, без всякой суеты, что сравнение с ним оказывается для него, Самвела, невыигрышным. Но почему? Неужели то, что сам он не поднял лапки вверх, а борется за жизнь изо всех сил — это плохо, предосудительно, недостойно? Что за мура... А может, этот разведчик не знал, что можно было попытаться спастись? Или, может, были какие-то обстоятельства, которые не позволяли разведгруппе задержаться? Или он вообще был "пофигист", для которого собственная жизнь не представляет ценности?.. Нет, нехорошо так думать...

Да и был ли этот случай? Может, это — одна из многочисленных баек, которые ходят на фронте? Бывалые саперы, с которыми приходилось встречаться Самвелу, вообще этот рассказ всерьез не воспринимали и говорили, что у грузин нет мин разгрузочного действия.

...Через минут двадцать он повторил свой автоматный сигнал "SOS" в той же последовательности, что и в первый раз, и решил: все, хватит, пусть в магазине останется хоть несколько патронов.

Небесная синева, которая проглядывала между верхушками деревьев, быстро серела. День угасал, и одновременно угасали надежды Самвела, что друзья его ищут и вот-вот найдут.

...Уж не снится ли ему все это? Взять бы сейчас зажмурить глаза, потом открыть — и увидеть, что ты как ни в чем не бывало сидишь на привале, отхлебываешь свежую

воду из фляги... Или нет — еще лучше было бы, открыв глаза, обнаружить себя в селе, в родительском дворе. Скажем, как когда-то, маленьким мальчиком в траве под огромной шелковицей... Ягоды шелковицы — черные, спелые, сладкие — покрыли все пространство под деревом. Самвел с сестренкой Кариной ползают по траве, подбирают эти похожие на толстеньких черных червячков ягоды — особенно хороши те, что упали давно, чуть подсушились и засахарились, — отправляют в рот, а их под шелковицей вроде бы и не становится меньше... Или вот четырехлетний Самвел борется на траве

с соседским мальчиком, которому лет тринадцать или четырнадцать. Тот нарочно поддается, падает, а Самвел смеется, заходится от восторга — он победил!..

Сколько раз приходилось ему читать и слышать, что, мол, перед смертью — ну, скажем, парашют не раскрылся или машина в пропасть летит — перед глазами человека в один миг проносится вся его жизнь. Ерунда это все, конечно, выдумки — как может вся жизнь вписаться в одно мгновение, да и не до воспоминаний в такой момент... Но вот сейчас, когда Самвел напоминал себе отрезанную голову какого-то профессора, про которую смотрел кино перед самой войной, — голову, в отличие от той, с туловищем, руками и ногами, но так же, как та, фантастическая голова, обреченную на неподвижность и способную только мыслить, — память устроила с ним сладостно-мучительную игру, подсовывая без всякой видимой системы то одну, то другую картину из его двадцатипятилетней жизни. Светло-зеленые, чуть пожухлые гирлянды табачных листьев, которые он развешивал с отцом, чтобы снять их потом через несколько недель светло-коричневыми, ломкими и душистыми; вкус теплого козьего молока; сумрачный лес за домом, куда он, бывало, убегал выплакивать свои маленькие обиды; перочинный ножик, который один оболтус из старшего класса заставил его выменять на свой задрипанный, обшарпанный и кустарно сделанный кубик Рубика — такой маленький, аккуратный ножичек, который ему жалко до сих пор; заводи в речке, где он нырял с мальчишками и однажды расшиб лоб о подводную корягу; молодая красивая учительница истории Сатеник Ишхановна, в которую он был влюблен в пятом классе, — все это его детство. В армии — служить попал аж в Иркутскую область — он был хорошим солдатом. Сноровистым и терпеливым. Терпеливо и с достоинством выносил гнет "дедов", а потом спрашивал с молодых, что положено, не распуская их, но и не перебарщивая. Так же терпеливо встретил и эту войну: раз надо взяться за оружие, чтобы защитить свой дом, своих близких, — значит надо. Он вспомнил, как в переполненном Доме культуры родного села слушал выступление Альберта Топольяна * (* Во время грузино-абхазской войны — заместитель Председателя Верховного Совета Респблики Абхазия.). Топольян, невысокий, собранный человек, говорил, обращаясь к крестьянам, предельно четко, ясно и доходчиво:

— Если у вас в шкафу висит три костюма, то надо продать один костюм и купить на него оружие, которое вас защитит. Иначе могут придти бандиты, которые отберут у вас все три костюма. Вспомните, что стало с Лаброй * (*Армянское село в Очамчирском районе, которое было подвергнуто грузинскими вооруженными формированиями разграблению и уничтожению*)...

Но необходимо бывает, думал потом Самвел, пожертвовать не только одним

костюмом, чтобы сохранить остальные два, необходимо бывает отдать и жизнь, чтобы сохранить жизни, достоинство и имущество многих тысяч остальных людей. Надо было полететь сюда на Восточный фронт, на подмогу партизанам — он полетел. Ну, а мина... Разве не мог он наступить на такую и где-нибудь на берегу Гумисты?

Мина оружие трусов. Услышав как-то эту фразу, Самвел всей душой восстал против нее. Что, выходит он тоже трус, раз судьба сделала его минером?..

Единственное, о чем он сейчас жалел как о чем-то непоправимом, — это о том, что у него нет сына. Дочку свою он, конечно, обожает, но продолжить род смог бы только сын. А может, и не нужно было ему жениться? И Анаида не стала бы вдовой в двадцать лет, и дочка бы не осиротела...

Бедная Анаида, сколько ей предстоит вынести, если это все-таки произойдет... А родителям... Он представил себе через несколько дней свой двор, заполненный людьми, все эти неизбежные хлопоты... Ну, хорошо еще, с гробом проблем не будет — те сосновые доски, которые он в прошлом году завез, уже подсохли и их хватит с лихвой, а сосед Альберт, столяр, свое дело знает. Отец осенью залил около двухсот литров вина, водка тоже есть. Да, ну сыра придется прикупить, тут уж никуда не денешься... Портрет его, скорее всего, сделают из фотокарточки, где он в военной форме, присланной когда-то из армии...

Ну, нет, не слишком ли рано он себя хоронить собрался? Самвел стиснул зубы и застонал, почти, завыл... Что делать? Наручные часы показывали около восьми вечера, значит он простоял здесь уже три с половиной часа...

Чтобы как-то занять мысли и протянуть время (хотя непонятно зачем, для чего.), он начал перебирать в памяти то, что должен был, но так и не сделал, не успел в жизни. Так и не отомстил одному мерзавцу, который оскорбил его сестру, а потом уехал жить в Краснодарский край. Не отдал соседу долг за аккумулятор. Не ответил, как следует, Дауру на его грубую реплику — это уже сегодня...

Самвел оперся о приклад поставленного на предохранитель автомата — так было легче стоять. По рукаву поезда невесть откуда взявшаяся и едва уже различимая в сумерках божья коровка. Как странно все это: пока он стоит на месте — и божья коровка будет мирно ползти, и руки-ноги его будут целы, и он все так же будет способен дышать, думать, говорить...

Он подумал о своих сильных руках, набухавших сталью, когда он стигал их в локтях, длинных крепких ногах, обо всем сложнейшем и безукоризненно, без перебоев (разве что в детстве болел корью), работающем механизме — своем теле — и снова содрогнулся от мысли, что через секунду он может превратиться в бессмысленную груду костей и мышц.

Нет, он, наверное, все же не выдержит и шагнет. Вот-вот шагнет... как тот пехотинец из видеофильма. Ведь это выше человеческих сил — стоять и думать о том, как это все произойдет. Любая смерть страшна, и любой почти труп внушает отвращение, но это — самое жуткое, что можно себе представить. Однажды он видел нечто подобное — черное отверстие в земле от взрыва, нежно-розовые) переходящие в синее внутренности человека, свисающие с веток ближнего дерева, и сизые капли, изредка падающие с них на траву...

Он невольно взглянул вверх, на ветки ближних деревьев...

Время от времени накатывало такое отчаяние и овладевали такие кошмары, что он уже думал: жаль, что среагировал на щелчок взрывного устройства и это не произошло сразу, мгновенно... Потом ему начинало казаться, что никакого щелчка и не было, что, может, виной всему слуховая галлюцинация...

Итак, у него оставалось два варианта действий: или попытаться совершить самый главный в своей жизни прыжок, или дожидаться здесь утра. Но что могло принести утро? Призрачную надежду, что, когда рассветет, кто-то из своих все же наткнется на него? Ясно и то, что за ночь он окончательно вымотается и для прыжка, судя по всему, у него не останется ни физических, ни моральных сил. Нет, уснуть он не боялся — уснуть в такой ситуации смог бы, наверное, только человек с нервами из воловьих жил, но ведь можно в этой темноте, в этом холоде, под желто-леденящим светом луны в какой-то момент не выдержать и сделать шаг...

В общем, каждая новая минута лишь уменьшала шансы выжить, и осознание этого подхлестнуло его. Темнота быстро сгущалась, затушевывая очертания окружающих предметов, так что бугорок, тот, который слева, отпадал, прыгать оставалось только вперед.

Сперва решил, что это произойдет, когда часы покажут восемь пятнадцать, но... в последний миг раздумал. И решил: все, в восемь двадцать, и ни секундой позже... Перво-наперво он отшвырнул левой рукой автомат — за тот самый бугорок. Потом несколько раз отвел левую ногу назад и вперед, примериваясь к прыжку, как бы раскачиваясь перед ним. Проклятье, правая, толчковая нога будто совсем одеревенела. Потом — отставил левую ногу назад на полметра, перегнул корпус вперед и, резко оттолкнувшись, прыгнул...

Едва Самвел оторвался от земли, он, холодея, понял: все, это гибель! Его тело так и не смогло, как он представлял себе, стелясь над землей, сразу устремиться вперед, а на какой-то миг зависло над местом прыжка...

Но взрыва не было. Упав — довольно удачно, безболезненно — лицом в сухую листву, он немного проехал по ней и затих.

Еще с минуту ушло на осознание того, что произошло. Наконец, Самвел поднялся и, едва веря себе, вернулся к месту, которое отняло у него пол-жизни. Осторожно обшарил все вокруг и вытащил из-под палых листьев надломанный сучок.

* * *

Утром, когда он продрал глаза, то увидел гранатометчика, который очень странно на него смотрел. Их молча окружило еще несколько человек: через левую сторону шевелюры Самвела тянулась седая прядь — словно какой-то нехороший шутник-маляр с размаху мазнул по ней кистью с белилами.

1997

Дожить до заката

Памяти Зураба Бебиа посвящаю

Все пространство перед ним до самого берега — как огромный неровный лист ватмана, забрызганный черной тушью. "Брызгами" были воронки от взрывов и тела оставшихся лежать на снегу абхазских бойцов. ...То и дело из двухэтажного недостроенного здания метрах в трехстах за его спиной звучали очереди. Пули клевали мерзлую землю вокруг уступа, за которым в неглубокой воронке лежал тяжело раненый Нурбей, но пробить толстый каменистый "загрибок" не могли. Левая нога была словно начинена свинцом, в правой тоже сидела пуля. Боль туманила мозг. Выше раздробленного колена, распоров штанину, он затянул тугой жгут, перебинтовал раны, но все равно боялся, что не доживет до заката, умрет от потери крови.

Закат — было то спасительное слово, за которое в полузатухающем сознании, в волнах боли все время цеплялась его мысль. Сгустятся сумерки, опустится на долину Гумисты длинная зимняя ночь — и боевые товарищи вытащат его отсюда, с левого берега. А может, и сам как-нибудь поползет до воды; через два рукава реки, правда, без помощи уже не перебраться...

Но страшный день 5 января 1993 года все не кончался. Грузины перестали стрелять в его сторону — решили, видно: и так подойдет. В нескольких метрах от Нурбея лежал навзничь, запрокинув в снег черную кудлатую голову, не знакомый ему абхазский боец, почти мальчик. Молодое тело растерзано осколками снаряда. В ощеренном рту белела полоска обсохших на ветру зубов, закатившиеся глаза слепо смотрели белками прямо на Нурбея — и не было возможности скрыться от этого "взгляда". Налетавший время от времени ветер развеивал длинную смоляную прядь волос... А в метрах пятидесяти отсюда, ближе к берегу, лежали сразу трое — их, по всей видимости, ловко подкосила пулеметная очередь. Один еще пытался ползти и прополз пару метров, прожигая снег кровью, а двое затихли сразу, как упали.

Что же случилось? Столько ждать наступления на Сухум, мечтать об этом дне — и так все провалить! "Стратеги", вашу мать! Нурбей скрипнул зубами — уже не от боли, а вспомнив тошнотворно красивое лицо Пантика, которого прислали недавно к ним командиром роты. Ему ли не знать Пантика! Но дурак в мирное время — это просто дурак; ну, насмешит на собрании глупой речью, ну, не сумеет в очередной раз выполнить поручение начальства... Если дать такому внешне звучную, а по сути бумажную должность, то он будет достаточно безвреден. А вот дурак, попавший в командиры на войне, да еще вообразивший себя героем, "способен" куда на большее — загубить понапрасну не одну человеческую жизнь. Как такие попадают в командиры? Известное дело — как и раньше в руководители: за рост, за статью, за голос, по родству и знакомству... Но сейчас ведь, черти вы, не до глупых ваших амбиций; куда ж вы лезете?..

Артподготовка в ночь наступления получилась слабой, смять, искромсать передний край обороны противника не удалось. И когда первые группы стали ночью переходить Гумисту, грузинская артиллерия встретила их ураганным огнем. Запустили, в общем, ребят на "ура"... Грузины били из всех систем орудий и по реке, и по левому берегу, и по правому, где развертывались абхазские подразделения. Было ясно, что наступление захлебывается; вроде и приказ из генштаба уже поступил — прекратить переход. И вот тут ребята у Пантика спрашивают:

переходить реку или не переходить? — и он дает глупейшую команду: "Кто хочет, добровольцы, — переходите."

Нурбея, как и весь комсостав, перед этим, около двенадцати ночи, вызвали в штаб, который размещался в подземном зале ресторана "Эшера". Раздавали на подразделения боеприпасы и самодельные маскировочные халаты. Вернулся на позиции своей группы и попал в настоящую кашу, не успел даже толком поставить боевую задачу: сверху, по направлению к проходу в минных полях, двинулся гагрский батальон и смешался с теми, кто был у берега. Управление подразделениями оказалось потеряно, на берегу царил неразбериха. Почти все в белых балахонах, кто есть кто — в густом тумане не разобрать. Кто-то сказал Нурбею, что его ребята, а это все были сплошь молодые пацаны, уже пошли на тот берег. И Хасик с Султаном, его племянники, и Гарик Агумава, и Микола-казак... "Погубил я детей", — с этой мыслью Нурбей в скроенном и сшитом из простыни подобии маскхалата двинулся в ледяную воду. К счастью, большинство своих нашел. Те обрадовались — точно теперь им уже и черт был не страшен... Расставил ребят, шел, постоянно подбадривая их.

...Сперва штурм намечали на 30 декабря. По всему тылу, да и на передовой распространилась эта идея-фикс: "Новый год встретим в Сухуме!" Сидящие в гудаутском тепле беженцы пытали отцов-командиров: "Сможем ли мы накрыть новогодние столы в своих квартирах?" В общем, "сделайте нам красиво!" Ну-ну — точно, как когда-то к майским праздникам сдавали жилые дома, а к октябрьским задувал домны... Но в ночь перед наступлением долину Гумисты завалил снежный покров высотой в метр и выше — такого, говорили, в Абхазии не было чуть ли не с 1911 года — года Большого снега. Слава Богу, отцам-командирам хватило ума дать отбой — по таким сугробам и нескольких метров нельзя было пройти. Разве что на лыжах... Но лыжи в Абхазии подавляющее большинство видело только по телевизору...

Штурм перенесли на пятое. Накануне Нурбей простудился и заболел, температура подскочила до тридцати восьми и шести. Отлеживался в своем доме, в Гудауте, но в день перед наступлением за ним приехали, подняли прямо из постели: "Нурбей, без тебя ребята растеряются... Если ты в силах..."

...Он переходил реку по грудь в воде, с трудом переставляя ноги — словно в магнитных ботинках по железному листу. И болезнь, и груз сорока с лишним лет не прибавляли, конечно, легкости... То тут, то там вода вскипала от очереди крупнокалиберного пулемета.

И вот, наконец, левый берег. Утонули в тумане едва различимые фигурки вокруг. Бегут, падают, встают и снова бегут навстречу пулям... Резиновые сапоги Нурбея то хрустели по насту, то чавкали жидким месивом из снега и грязи там, где уже прошли десятки ног наступающих.

Туман делал их похожими на слепых котят, но одновременно и укрывал от прицельного огня. Они еще не знали, скольких он спасет, этот туман, когда, не дождавшись ни второго, ни третьего эшелонов наступления и кляня "трусов и предателей", они станут отходить... Грузины повесили над Гумистой несколько "люстр", постоянно возносились в небо и лопались осветительные ракеты, но это почти ничего не давало им из-за тумана — свет упирался в него, как в крышу, — и

они вслепую вели огонь по всему фронту наступления, словно хотели нашпиговать металлом каждый квадратный метр долины.

Из-под ног бегущего впереди бойца вырвался черный столб — то ли разорвался снаряд, то ли парень наступил на противопехотную мину. И почти одновременно по ногам Нурбея будто плеснули кипятком. Пулеметная очередь... Он упал ничком в склокоченный подошвами наступавших снег. Потом, загребая его руками, путаясь в разорванных, набухающих кровью полах маскхалата, пополз вперед, к тому бугорку, за которым, знал, станет неуязвимым для новых порций свинца. И только прислонившись спиной к стене каменистого обрывчика и увидев, во что превратилась его левая нога, понял, что бой для него закончен.

Вскоре в воронку приполз раненный в плечо Гарик, и Нурбей, разорвав его индпакет, сделал пацану перевязку. Султан, сказал Гарик, лежит выше, в сотне метров отсюда, убитый; он сам закрыл ему глаза. Где остальные — он не знал. Уже после полудня появился Микола-казак, который тащил раненого парня из первой роты. Он хотел забрать еще их двоих, но Нурбей приказал: только Гарика, сам он слишком тяжелый, за ним Микола лучше потом вернется.

И Микола действительно вернулся, но до него не добрался: прямо у берега, ниже по течению, лежали в снегу трое раненых, и он обвязал их веревкой и тянул, как бурлак, вытягивал из стремительной холодной воды. (Вот тебе и Микола! На него в роте иные смотрели свысока, посмеивались: "пьяница, бродяга" — а в решающий момент он куда выше их оказался! И вытянул, переправил к своим, но сам был тяжело посечен осколками и отправлен в госпиталь. Ничего этого Нурбей, впрочем, не знал, не видел в тумане...

Только к вечеру туман рассеялся.

...День умирал медленно и тихо, как истекающий кровью солдат. Красное колесико солнца увязло в серой пелене на горизонте, словно в размытой дождями дороге, и, казалось, застыло так навсегда. Нурбей видел движение вокруг себя. Кое-кто из абхазских бойцов отходил назад, переправлялся через реку. Здоровые помогали раненым. Но он лежал в таком месте, что к нему было трудно подступить: пространство вокруг насквозь простреливалось из двухэтажной "недостройки" — выдвинутого вперед опорного пункта обороны противника. Садануть бы по ней сейчас прямой наводкой, но с нашей артиллерией... Из гранатомета с того берега не достать. Был бы сейчас у него в руках гранатомет...

Но у него был только автомат с пустыми магазинами. Все их "высушил", стреляя ночью и днем из своего укрытия по "недостройке": хоть одного козла, думал, да замочу. И, кажется, в самом деле замочил, даже не одного... Но их там было, как клопов в старом диване...

Был еще у него и "Макар" с полной обоймой. Но это уже на крайний случай...

Про этого "Макара" Нурбей несколько недель назад, подкидывая его на ладони, говорил своему другу — еще по давней, волейбольной юности — Эдику: "Вот закончится война — тебе его подарю. Но пока пусть при мне будет. Ты меня понимаешь? Мы же с тобой взрослые люди... Если что, я думаю, мы этим шакалам не сдадимся."

Мысль отлетела далеко-далеко, на двадцать с лишним лет назад, в ту пору, когда Нурбей учился в Сухумском культпросветучилище и там, на Маяке, на площадке у

бетонного завода, едва ли не ежевечерне разыгрывались грандиозные волейбольные баталии. Эдик был маяцкий парень, старше его лет на пять. И кто из них мог подумать тогда, что придет этот день — 5 января 93-го — и Нурбей будет лежать на берегу Гумисты и умирать...

Потом их пути-дороги надолго разошлись. Нурбей пошел в армию (служил в Германии), после этого женился на белоруске и осел на ее родине, в Могилеве. Закончил там политех, работал на машиностроительном заводе. Двое детей подрастало, в школу уже пошли... В Абхазию приезжали только в отпуск, но несколько лет назад они с Надей решились на переезд. Построили дом в Гудауте, он работал на нефтебазе. Родилась еще дочка...

И вот, когда началась война, они с Эдиком оказались в одной группе на гумистинском рубеже, у висячего моста. Потом старший их группы ушел на другой участок фронта, а оставшиеся выбрали командиром его, Нурбея. Он, правда, долго уговаривал возглавить группу Эдика: "Давай, ты старше, опытнее." Но тот возразил: "Вот именно, что старше... Силы уже не те. А ты такой здоровый парень и авторитет среди ребят имеешь."

Вначале держали свой участок фронта почти с голыми руками. Потом оружием чеченцы подогрели, русские тоже помогли...

Где сейчас Эдик? Перешел на левый берег или остался на правом? В хаосе вчерашней ночи Нурбей потерял его.

...Эх, абхазцы, абхазцы... После гагрской победы решили было уже, что ухватили Бога за бороду. Но воевать-то нам еще учиться и учиться...

В память Нурбея врезалась картинка из первых дней войны — молоденький ополченец строчит из автомата в сторону противника, зажмурясь и отвернув голову назад. Сто процентов — впервые в руки оружие взял... Когда-то абхазцы, как и все кавказские горцы, считались прирожденными воинами. Но когда это было!.. В последние десятилетия от армейской службы старались всеми правдами и неправдами отмазаться, особенно городские, изнеженные и заласканные дети из "хороших семей"; в военные училища шли единицу — ни к чему, казалось, это занятие, давно потерявшее престиж. А оказалось — еще как к чему! Мог ли представить себе знакомый Нурбею седоусый грузин-военком, который разъезжал когда-то по абхазским школам и агитировал выпускников в военные училища, что он пытается укрепить командный состав армии будущего противника?..

"Ничего, — сказал Нурбей в августе доброволец из Южной Осетии, — мы еще хуже, чем вы, начинали. Годик повоюете — и научитесь." Годик? Тогда, в первые дни войны, это воспринималось как не слишком удачная шутка из серии "черного юмора" — почему-то все наивно надеялись, что все закончится через пару недель, ага — месяц...

...Когда Нурбей очнулся, на небе уже всюду светила большая желтая туманная луна. "Люстр" не висело, да и не было в них нужды — туман окончательно исчез, и вся долина лежала перед глазами как на ладони. Отрывисто стучали автоматы и пулеметы, посылая вдогонку друг другу красные трассеры, и вся долина казалась расшита стежками огненных нитей. Вспомнились одна из первых военных ночей на Гумисте, еще в теплом августе, вот так же расчерченная ломкими цветными пунктирами, которые пересекались под разными углами, переполненная

вспышками и звуками, и высокая, тоненькая, светловолосая девчонка-санинструктор, которая, бодрясь, говорила ребятам: "Видите, как красиво? Если б не война, вы бы такого никогда не увидели".

Нурбей решил ползти к берегу. Тонкая ледяная корочка, которая успела покрыть подтаявший днем снег, проваливалась под тяжестью тела... С величайшим трудом, подтягиваясь на локтях, зажав в зубах боль, преодолел метра три и понял, что дальше ползти не хватит сил. К тому же его засекли-таки из "недостройки" и открыли бешеный бгонь. Остро обожгло левую руку повыше локтя. Повернул назад и, задыхаясь, захлебываясь в снежной пудре, сполз в свою воронку. Кое-как перевязал рану остатками бинта.

...Он долго и беззвучно смотрел в звездное небо, потом — на позиции своих за рекой, где, казалось ему, шло какое-то шевеление. Холод вгрызался в тело, как остервеневшая собака. Всю оставшуюся ночь Нурбей будто раскачивался в ледяном гамаке между явью и забытьем. "Уснуť на морозе — значит не проснуться" — хорошо известная книжная истина. Но это — в горах или где-то там, на севере. Впрочем, и тут ведь температура минусовая, градусов пять-шесть. Да еще потеря крови, да еще неутихающая боль...

Он почувствовал ужасную усталость и теперь уже почти безбоязненно, с каким-то даже любопытством глядел в лицо смерти. Но крепкий, могучий его организм — такого запаса живучести хватило бы еще на двоих-троих — продолжал яростно бороться. Время от времени сознание вспыхивало жаждой жизни, и он начинал мысленно рваться из западни, которую устроила ему судьба, как зверь начинает рваться из капкана, разрывая сухожилия, ломая хрящи и кости лапы...

А потом вновь приходило успокоение. Как там сказано? "Человек должен сделать в жизни три вещи — посадить дерево, построить дом, вырастить сына..." Все это он сделал. И сын у него есть, да еще какой... Иногда еще добавляют: "И убить негодяя." Негодяя он, по-видимому, тоже за последние месяцы убил не одного. В общем, умирать можно спокойно.

...Впервые он столкнулся со злом, которое поливало его сейчас свинцом из "недостройки", в десять лет. Как наждаком прошло по нежной детской душе то унижение... Дядя, мамин брат, работавший начальником в Сухуме, достал две путевки в боржомский пионерлагерь — для дочки и своего сельского племянника Нурбея. И вот в самом начале смены мальчик по имени Бадри — были там почти все из Тбилиси — с заговорщицким видом отвел Нурбея в сторону: "Ты каму болше любишь: Ленину или Сталину?" А дело было в конце пятидесятых, когда даже малышей в Грузии коснулись страсти вокруг "культа личности". "Ленина", — искренне ответил Нурбей и был жестоко избит почти всем отрядом. Мало того: вечером на линейке старшая пионервожатая перед всем строем сняла с него, разукрашенного синяками и исцарапанного, красный галстук — за политическую несознательность. Двоюродная сестра Нурбея была также опрошена, но оказалась большим, чем он, дипломатом; она сказала: "обоих".

Не тот ли самый Бадри или сын его засели сейчас в недостроенном здании на берегу Гумисты и простреливают окрестности?..

Что это: снег идет или небо его оплакивает тихими шуршащими слезами? Не сметь! Снежи-инки, белые звездочки счастья...

...Впадая в очередной раз в забытие, он представил себе, что его окружает совсем другая ночь. Словно колыхнулся легчайший газовый полог — и открылась самая счастливая ночь в его жизни, летняя, молочно-белая от тумана ночь на берегу Днепра, в пригороде Могилева со смешным названием Луполово, когда они с Надей сидели на сене у подножия огромного душистого стога. Накануне он приехал к ней, голубоглазой девятнадцатилетней девчонке с русой косой, даже не написав, что едет. Познакомились перед этим в Новом Афоне, где она отдыхала у родственников. Все его друзья думали, что это просто мимолетное курортное знакомство, но главное — он-то думал иначе...

Много лет спустя, уже в Гудауте, он скажет: "Я мечтаю, чтоб мою дочку кто-нибудь когда-нибудь полюбил так же, как я люблю свою жену". В узком кругу друзей, конечно, скажет... Не в тот ли самый день, когда началась война? У него дома было маленькое застолье и сидели армянин, приехавший из Батуми грузин, русский... И тут сосед прибегает с известием... Будто бомба за столом взорвалась! Компания, конечно, тут же распалась, все разошлись как побитые. В глазах Нади застыл ужас — словно она в тот момент уже видела его сегодняшним — полутрупом с перебитыми ногами, распластанным в воронке за каменистым бугорком. Замерзающим и припорошенным снегом, который под утро посыпался с неба...

* * *

Надя в самый канун Нового года поехала к Зауру. Сын учился на втором курсе сельхозакадемии в Горках Могилевской области. Летние каникулы он проводил дома и в первый день войны отправился с отцом на Красный мост. Во время отхода в районе вокзала попали под бомбежку... Заур хотел идти воевать в отцовскую группу, но его всей семьей выпихнули на учебу. Упирали, во-первых, на то, что единственных в семье сыновей, мол, на войну не берут, а, во-вторых, что все, дай Бог, вот-вот образуется, а год в академии, между тем, можно потерять...

В декабре товарищ Заура привез от него письмо, в котором Надю больно резануло признание сына, что он часто ложится спать голодным. Время, действительно, трудное, стипендии той — кот наплакал... Раньше-то хоть переводы какие-то слали... Собралась в один день, продуктов захватила, деньжонок — и в Адлер, на поезд... Три дня рядом с сыном пролетели как один миг. Не успела оглянуться — уже надо ехать обратно... Еще в поезде, на подходе к Сочи, услышала, что абхазы пошли в наступление на Сухум. Информация была противоречивой: то ли бои идут уже в центре города, то ли прорвать грузинскую оборону так и не удалось...

Добралась до дому — из Адлера ехала на попутках — около одиннадцати утра. У нее была истерика, когда узнала, в каком состоянии Нурбей уехал на передовую: до машины вели под руки, даже сидеть ему было трудно; на заднее сиденье "Жигулей" уложили и так повезли. Накричала на девчонок, но что они должны были делать — одной тринадцать, другой шесть... Будь она сама дома — ни за что бы не отпустила, костями легла, а так... И — словно обухом по голове — слух: ушел на тот берег и не вернулся.

Она мчалась на Гумисту в соседской машине, и сердце было готово разорваться от тревоги: "Беда... Мамочка моя... беда... беда..."

Четверых из его группы узнала сразу. Сидели на разломанных деревянных ящиках вокруг костерчика и той же самой тарой, выворачивая ее деревянные члены-дощечки из ржавых суставов, костерчик поддерживали. Кинулась с криком, с хрипом: "Где мой муж? Командир ваш где?" Переглянулись, один глаза опустил, другой, постарше, стал успокаивать: "Тут он, тут, живой... Где-то здесь, в мандариннике... Не так давно отошел..." "Вы глаза свои бесстыжие не прячьте! — уже не остановить ее было. — Он на том берегу погибает, я все знаю, мне сказали! Что же вы? Он ведь вас всегда своим телом закрывал, как куропатка птенцов..." Она стала как помешанная. Ворвалась в штаб: "Сейчас я всех взорву!" В кармане старой черной кожаной куртки и впрямь была лимонка. Сразу двое повисли сзади на вздетой вверх руке, тут же еще налетели, заломили руки за спину. — Кто пропустил сюда эту сумасшедшую?

* * *

Куда опускается земля? Вздрыгнула, а теперь опускается... Бред. — Вставай, сынок. Отец тебя будил, будил и не добудился, один на охоту ушел. — Нет! Ни за что! Я его должен догнать! Он снова очнулся, когда солнце уже поднялось, и услышал... шорох тающего снега. За ночь снег подморозился и покрылся тончайшими льдинками, а сейчас солнце рушило эти льдинки и они издавали тонкий, мелодичный звук. "Келасури — Гумиста, сердцу милые места..." Кто-то читал такие стихи во время пикника у самого устья Гумисты много лет тому назад. Человек шесть-семь их было. Со смехом переходили через рукава Гумисты, держась, чтоб не снесло течением, за руки. Жарили шашлыки, пили черное вино... Да, жарили еще кукурузу на костре. Заплывали из реки в море, удивляясь силе потоков, смене цвета и вкуса воды... Да, да, вот здесь, всего в нескольких километрах отсюда... И в двадцати годах... Он не помнил уже всех участников того пикника. Но осталось ощущение молодости, радости, веры, что вот это — влюбляться, кутить, куролесить, кутить, куролесить, влюбляться и так без конца — это и есть жизнь. ...Земля была одета в белую окровавленную рубаху.

* * *

...Рано утром в окопе на правом берегу Гумисты из рук в руки долго переходил бинокль: кто-то на противоположном берегу, под замеченным снегом обрывчиком примерно в километре отсюда то ли махал рукой, сигналив о своем бедственном положении, то ли делал, чтобы не замерзнуть, энергичную гимнастику. Когда бинокль попал в руки Эдику и он максимально увеличил лицо "махальщика", у него вырвалось: "Нурбей..." Он ясно видел мертвенно-бледный лоб Нурбея, чуть тронутые сединой черные усы Нурбея, стянутые страданием черты его лица... Нурбей резко сгибал в локтях и выбрасывал в стороны руки, потом менял направление движений: в общем, пытался как-то согреться. Через десять минут Эдик и еще один боец, совсем молодой парнишка-адыгеец, ступая по расквашенному оттепелью снегу, двинулись к берегу. Но в реку им войти

не удалось, залегли под плотным пулеметным огнем с той стороны. В итоге Эдику пришлось отходить назад, таща на себе раненого пацана.

Он долго метался по позиции и в конце концов нашел двух смельчаков, готовых повторить попытку.

...Утро выдалось солнечным и ярким. И в его свете Нурбею, даже без бинокля, предельно ясно предстала картина происходящего. И так же предельно ясно он понял, что эти трое в маскхалатах ползут на верную смерть. Ползут за ним, полутрупом, которому уже ничем не поможешь. Ему захотелось крикнуть, что есть сил, но голоса не было. Что делать? Ведь расстреляют ребят, как в тире... Пальба из "недостройки" резко усилилась и, выглянув в ее сторону, Нурбей увидел, что стреляющие прикрывают группу грузин, которые направляются сюда, вниз. Подбирать раненых? Но мозг его еще продолжал работать, руки пока двигались. Ощувив в ладони плотную, уютную тяжесть своего "Макара", снял его с предохранителя.

Первые два выстрела были в воздух, чтобы на том берегу обратили внимание, третий — в висок...

Надя в тот момент еще только подъезжала к Гудауте на попутке, которая взяла ее на Псоу...

...Когда через несколько суток труп Нурбея по обмену привезли в Гудауту, пороховой налет на его простреленном виске не оставлял сомнений в том, как к нему пришла смерть.

* * *

Приехав на похороны отца, Заур не стал больше возвращаться в Горки, а отправился воевать. Такой же рослый, пошедший в Нурбея и физической силой, и упрямством характера. Когда Эдик приехал к нему в батальон и отвел в сторонку для разговора, Заур сразу все понял и сказал резко: "Дядя Эдик, если вы уговаривать меня, чтоб я вернулся, — бесполезный вариант". А матери объяснил: "Кто еще, кроме меня, отцовскую кровь вот так, — он сделал движение вверх сложенной ковшиком ладонью, — подымет?" В ответ на доводы, что он — единственный сын в семье, усмехался: "Так у нас таких семей половина. Если все вроде меня не пойдут воевать, кто останется, кто фронт держать будет?" И возразить на это было, в общем-то, трудно.

Бредил мстостью, повторял, что за отца обязан отнять жизнь минимум у пяти врагов. Его убило в июле 93-го во время минометного обстрела близ Шромы. За час до вступления в силу Сочинского соглашения о прекращении огня.

1997

Танк не страшнее кинжала

Памяти Абубакира Бибулатова посвящаю

Раскаленный металл, летевший из-за реки, с воем рвал эшерскую землю — вгрызаясь в бетон и дерево построек, щебень дорог и мякоть почвы, срезая ветки в садах...

И вдруг — обрыв в тишину; только продолжали надсадно гудеть вдали, внизу грузинские танки, которые перли и перли через Гумисту. Бесик словно очнулся и увидел себя со стороны — стоящим посреди мандариновой плантации, оглушенным, нелепо пригнувшимся... Где остальные? Неужели этот приказ, о котором говорили, правда? Отступать к Новому Афону — это, же конец всему, конец Абхазии... Вадим, командир группы, не поверил... Рация вышла из строя, потому Бесика и послали в штаб... Полчаса назад, до обстрела.

Мысль о том, что он, может быть, остался здесь совершенно один, как в пустыне, отвратительным клещом впилась в мозг. Вокруг почему-то — ни выстрела, только моторы танков гудят. А у него даже бутылки с зажигательной смесью нет...

Потом — как во сне — в нескольких десятках метров от него, подминая мандариновые деревца, проскрежетали гусеницы и огромный танк, выбрасывая синеватую гарь выхлопов, двинулся дальше, к вершине пологого холма. Низ живота схватило мгновенным холодом. Пока ему просто повезло, пока на него не обратили внимания, как на букашку...

Через мгновение оглянулся на шорох: из мандаринника прямо на него вылетел голый по пояс чернобородый парень с зеленой лентой на лбу. Его руки и широкая грудь бугрились бронзовыми мышцами. В правой руке он держал автомат, в левой — большой охотничий нож, лезвие которого сверкнуло на солнце и на миг ослепило Бесика.

— Куда танк пошел, видел? — гаркнул крепыш.

— Туда, — оказывается, руки Бесику еще повиновались.

— Ну, давай его в клещи брать! Ты с той стороны заходи, а я — с этой. И помчался напролом, с шумом сквозь мандариновые заросли.

* * *

— Хасан, а это правду говорят, что вы, чеченцы, по несколько жен имеете?

— Каньщна.

— А у тебя самого сколько?

— У меня — две тока.

Через день у Бесика появилась возможность поближе познакомиться с тем самым чеченцем — "охотником за танками". Случай подоспел подходящий: ему передали, что вчера, 2 сентября 1992 года, у него родилась дочка (жена, тоже, как и он, студентка, находилась у родственников в Гудауте), и ребята решили отметить это событие. И Хасана, который воевал в группе, державшей соседний участок фронта, разыскали и пригласили.

Было уже полночь. Ополченцы, около десятка человек, сидели в домишке на западном, защищенном от обстрелов склоне одного из эшерских холмов, пили душераздирающую чачу ("нам, татарам, все равно — что водка, что пулемет, лишь бы с ног сшибало"), закусывали подогретой говяжьей тушенкой и возбужденно говорили. В речах их мешались воспоминания о боях последних дней, когда,

казалось, лишь чудо помогло отразить танковый прорыв грузин, комментарии к теленовостям о сегодняшних переговорах в Москве и самые разные байки. Большинство из тех, кто сгрудился здесь за двумя составленными столами, на днях впервые в жизни участвовали в настоящем бою и пережили страх смерти. Тени этого страха еще витали над их молодыми и не очень молодыми лицами, оттеняя лежащий на них радостный отсвет победы. Тем оживленнее были их разговоры и безудержнее веселье, тем ярче блестели глаза. Все они казались сейчас себе бывалыми, бесстрашными, неуязвимыми, остроумными. Смех вызывали самая немудреная шутка, даже попытка шутки, даже чье-то неловкое или сыгранное под неловкость движение...

И так получалось, что чаще всего в центре внимания был Хасан. Ничего удивительного — если вспомнить, как накануне Бесик то и дело взхлеб рассказывал друзьям о поразившей его встрече с чеченцем в мандариннике (танка того, кстати, они больше не видели; говорят, его потом кто-то из гранатомета подбил). Ну, а потом Эмик Авидзба, за удобу и костлявость прозванный в группе Скелетом, бесконечными своими расспросами и вовсе превратил застолье в пресс-конференцию Хасана. Сейчас вот с этим многоженством привязался...

— И когда женился, сразу двух брал?

— Канышна.

— Ау! И что, вот так вот обе они на свадьбе рядом стояли, или как там у вас?..

— Ладно, Скелет, оставь человека в покое, — командир группы Вадим Цвижба откинулся на спинку стула. Его недавно отросшая борода была будто припорошена сединой, тонкие губы растянулись в улыбке. — Одна у него жена. Детей, правда, уже трое. А самому только двадцать шесть. Да, Хасан?

Хасан скромно кивнул под восторженный вопль окружающих: "О-о!"

— Ну, дорогой мой, извини, конечно, — решительно обратился к нему тамада — ширококостный, рассудительный Батал Гулария. Его в группе иногда так и звали: "Извини, конечно", — за привычку к месту и не к месту вставлять в речь эту деликатную оговорку. — Но если ты все равно не выполняешь установлений ислама, который предписывает иметь четырех жен... то мог бы хоть один стаканчик сегодня и поднять — за дочку Бесика. А?

Хасан действительно единственный сегодня из всех не притронулся к выпивке. Но после слов Батала ребята так дружно на него наналились, что он в конце концов взял в руки стакан с чачей и начал произносить тост.

Слова говорил непростые, жилистые, красивые — о судьбе этой маленькой девочки, которая родилась вчера под звуки артобстрелов, среди огня освободительной войны, об исторических судьбах Кавказа... Речь Хасана явно произвела на окружающих впечатление, хотя Батал и не удержался от уточнения: если над головой постоянно будет голубое, без облаков и туч, небо (в конце тоста Хасан все же сбился, по его мнению, на трафарет — "мирное голубое небо над головой"), то это тоже плохо, потому что тогда будет засуха и на полях ничего не вырастет.

— Ау, молодчик, все выпил! — длинный нос Эмика оказался почти что в стакане, который Хасан поставил на стол. — А как же коран?

— Коран не рекомендует мусульманину пить вино, а про водку там ничего не сказано, — пошутил Батал.

А Хасан развернулся всем корпусом к неугомонному Скелету и уставился на него:
— Как ты думаешь, чем твой камуфляж отличается от джунглей?

— Ну?..

В зеленой, с коричневыми разводами расцветке новенькой камуфляжной формы, которую Эмик привез недавно из Гудауты и все не мог на себя в ней налюбоваться (хотя она висела на нем как на вешалке), было действительно что-то от джунглей.

Но поворот мыслей Хасана застал врасплох и самого Скелета, и остальных:

— В джунглях много обезьян, а в твоём камуфляже — одна.

Аудитория взорвалась хохотом. Вот тебе и Хасан — такой спокойный, даже флегматичный на вид... Масло в огонь смеха подливала поза Скелета, зачем-то привставшего над столом и так и застывшего с полусогнутой спиной и опущенными вниз руками.

А Хасан уже начал рассказывать очередную свою байку. Несколько лет назад гостил он в Ессентуках — у дяди, который работает там в одной санатории для шишкаррей.

И вот однажды этот дядя посадил его обедать в санаторской столовой. Какой-то солидный немолодой мужчина за соседним столиком, по всему видно — очень ответственный работник, долго приглядывался к Хасану и, наконец, решился сделать ему замечание — уже уходя, нагнулся к его уху: "Молодой человек, снимите головной убор..." "А я — мусульманин!" — громко, на весь зал рявкнул Хасан, так что дядечка в испуге отлетел метра на два: "Извините, извините..."

Потом Батал стал пересказывать эпизод, свидетелем которого был на днях. А история приключилась такая. Одна медсестра из соседней группы, все ребята ее хорошо знали — невысокая, приземистая, но в ширину очень габаритная, — во время грузинского артобстрела заползла в какую-то оказавшуюся при дороге трубу. Но вот обстрел кончился, а назад она — никак! Застряла намертво. Словом, вытаскивали ее из этой трубы не меньше часа...

Отсмеявшись, как-то незаметно вернулись к проблеме многоженства и перспективах его распространения в Абхазии, насущную необходимость чего в свете нынешних демографических проблем доказывал Эмик. Свою лепту в разгоревшийся спор внес каждый, кроме разве что Бесика, и Батал обратил на это внимание:

— Ну, а ты что думаешь, молодой отец?

— Я, — подумав, сказал Бесик, — не согласен.

— С чем?

— Больше шести жен я иметь не согласен.

— Почему шести?

— Так должен я хоть раз в неделю выходной иметь!

Как по-разному смеются люди! Эмик — мелким, похожим на икоту смехом. Хасан — беззвучно, блестя белыми плотными красивыми зубами. Мирон Айба — громче всех, ухая как филин. Вадим — поощряюще улыбаясь уголками рта...

Потом общий разговор на время распался. В одной части стола Бесик (он же "счастливый отец", он же — "бракодел", он же — "ювелир") эмоционально втолковывал Хасану, что теперь ему трудно представить себе совместное существование с грузинами: "Да с ними вместе жить — все равно что со змеей в постели спать!" В другой — Джон Шантария, смуглый, низенький и полный, с

выпуклыми, как у стрекозы, глазами, описывал виденное им на днях: как из люка ставшего посреди Гумисты танка высунулся танкист — явно русский — и кричал грузинской пехоте, которая, струсив, осталась на левом берегу, не пошла за танками: "Что же вы, ...вашу мать!", как в тот же день двое ребят из Калдахвары заползли по-пластунски на нижний мост и закидали оказавшийся под ними, уже на правом берегу, другой танк бутылками с зажигательной смесью и подожгли его. Батал объединил затем внимание всех за столом своим рассказом; почему такие вот бутылки с горючим в начале той войны прозвали "коктейлем Молотова".

Оказывается, на самом деле сперва это был "коктейль для Молотова" и первыми применили его финны еще в 40-м году против советских танков.

— А граната "лимонка" знаете, почему так называется? — спросил он, входя в привычную свою роль просветителя. — Потому что изобрел ее Ле Мон.

Через некоторое время за столом размечтались, что будет, когда они прогонят "эту шваль" за Ингур.

— Я знаете, как все представляю? — сказал Мирон Айба — немолодой крестьянин с пористым, красноватым, похожим на большую недозревшую клубничину носом. — После победы накроем столы прямо на шоссе — длиной от Красного моста в Сухуме до Дранды. И соберутся за ними все абхазы и все, кто на нашей стороне воевал...

— Ага, — усомнился Батал, — мы соберемся, сядем за столы, и тут из придорожных садов недобитые грузины из пулеметов — "ту-ду-ду-ду..." В спину...

Скелет даже поежился от этой перспективы, а Бесик вскочил от возмущения — с рукой, устремленной к Баталу:

— Клянусь матерью! Вот человек, который родился, чтобы портить всем настроение!

* * *

В один из октябрьских дней, уже после взятия Гагры, к ним на позиции приехал с концертом композитор и певец Имам Алимсултанов. Это был сухощавый парень лет тридцати с небольшим. Чеченец-аккинец — из тех, кто живет в Дагестане, как объяснил ребятам Хасан.

Батальон собрался на лужайке, расселся полукругом, и Имам, взяв на гитаре пару аккордов, запел. Голос у него был, что называется, "мужественный", одновременно высокий и сильный, с небольшой приятной надтрещинкой. Песни захватили всех. Особенно та, где были такие слова:

Абхазы, абхазы, вас мало,
В неравный идете вы бой.
Но танк не страшнее кинжала,
Когда твои братья с тобой!

Слова этой песни, как потом узнал Бесик, сочинил один русский старик из Гудауты — Лев Любченко. Но у Имама были песни не толь о войне в Абхазии. Одна, написанная на его собственные стихи, — про то, как полвека назад чеченцев выселяли в Казахстан и как в пятидесятые годы вернули на Кавказ. И вот настал

момент встречи с родиной. Один из чеченцев везет вырытые из могилы останки матери — чтоб захоронить их в Чечне...

Наш поезд возвращался на рассвете,
Встречал встревоженно заждавшийся вокзал.
Седой старик в поношенном бешмете,
Припав к перрону, землю целовал.

Бесик оглянулся на сидевшего рядом Хасана и тут же невольно отвел взгляд: в глазах у того застыли слезы.

* * *

Аул, где родился и вырос Хасан, назывался Барзой. Большой аул, многолюдный. С тихим серебристым смехом дом огибала сбегавшая с гор речка. Детство Хасана — это жаркие заросли кукурузы, старая черешня с замшелым стволом, на которой он мог сидеть часами, сплевывая вниз косточки, игры в футбол на лужайке за мостком в составе команды, где половина — его братья.

И еще — рассказы дедушки Исы. Дедушка Иса — маленький, седой, добрый — неслышно ходит в мягких чувяках, любит греться зимой у печки. Его глуховатый голос уносит маленького Хасана то в далекую, наполненную пороховым дымом сражений старину, то во времена сталинского выселения народов, когда дедушке было уже за сорок... Всего за десять лет до рождения Хасана его народ вернулся из двенадцатилетней ссылки в холодную и плоскую, как стол, казахстанскую степь, и память о том страшном испытании и унижении постоянно жила в разговорах взрослых — всплывая рассказом о каком-то эпизоде, проблескивая незнакомым, странно звучащим названием...

В детские годы Хасана мечети в селе не было. Вернее, она была, но стояла занятой под склад. Тем не менее по пятницам барзойцы собирались на коллективные молитвы — в доме то одного, то другого аульчанина. И Хасан с трепетом повторял вслед за смуглыми и морщинистыми, как чернослив, стариками священные слова на арабском:

— Аллаху экбер!.. Аллаху экбер!.. Эшхеду еннэ, Мухамед эрре ресюл улла!.. Айя лес алля!.. Айя лель феля!.. Аллаху экбер!.. Аллаху экбер!..

И, кажется, с первым детским прозрением: "Я есть, я живу", — вошла в душу тревожно-волнующая мысль о загадке предначертанного именно ему — мальчику по имени Хасан из аула Барзой: ведь наверняка же не для того просто, чтобы есть, пить, спать, работать, родить детей, состариться, открыл он глаза в этом мире! С неясным ощущением своего высшего предназначения он учился в школе — учился плохо, скучая на уроках, устремляясь мыслью через оконное стекло на далекие заснеженные вершины гор, разве что в спорте находя вдохновение, построив дома турник и заставляя ежедневно заниматься на нем и младших братьев, став чемпионом района по борьбе среди юношей; потом — служил в армии на Дальнем Востоке, женился...

Эта неясная цель стала приобретать зримые черты, когда в Чечне появился генерал

Джохар Дудаев. Он стал воплощением образа народного вождя из дедушкиных рассказов о героических деяниях предков — тонкий, гибкий, со жгучим взглядом черных глаз, с непреклонностью в словах и поступках. И стар, и млад в ауле заговорили о том, что настал-таки — сейчас или никогда! — миг отмщения за кровь и слезы отцов, дедов и прадедов, настал миг освобождения Кавказа. Слушая, как в сладком бреду, речи ораторов на площади, переполняясь то гневом, то радостью, Хасан дрожал от нетерпения вступить в бой за свободу Родины. И это был не тот, скучный и казенный патриотизм, которым когда-то пичкали его в школе, внушая любовь к "шестой части земной суши" — от заполярной тундры до знойных барханов пустыни. Он не хотел и не мог любить ни тундру, ни тайгу, ни барханы, он любил свои горы, своих родителей, свой ничем не сломленный, безжалостно уничтожаемый, но такой живучий народ.

Дни, однако, шли за днями, а его решимость оставалась неостребованной. К лету 92-го чеченская революция, не встретив, казалось, серьезного сопротивления Москвы и вступив в полосу непонятных Хасану внутренних разбирательств, как-то подвяла, стала усыхать. Еще не испробовав другой — походной, военной, полной опасностей и драматизма — жизни Хасан уже тяготился пустотой своего повседневного существования. Пока однажды в конце лета на площади не прозвучало: "Наши абхазские братья в беде!"

Что знал он об Абхазии? Около года назад ездил в Грозный и увидел там на дверях одного кафе объявление: "Абхазцы обслуживаются бесплатно". Конечно, было оно, это объявление, скорее риторическим (вряд ли абхазцы, сколько их там могло оказаться в Грозном, ринулись бы в это кафе постоянно столоваться), а может и вовсе приуроченным к приезду каких-то гостей, но запечатлелось в памяти, как в камне. Абхазцев, рассказывали ему, совсем мало, можно сказать, горсточка, но именно они несколько лет назад призвали всех горцев Кавказа возродить независимую Горскую республику, первыми громко заявили о своих правах, а когда Руцкой попробовал угрожать Чечне, провели яростный митинг в защиту чеченцев. И вот на этих смельчаков напала армия Грузии. С грузинами же у Хасана были связаны такие воспоминания. Как-то лет пять назад он принимал участие в восхождении "по комсомольской линии" в горы. Человек двадцать их было из всего района — спортсменов, передовиков... И вот на какой-то туристической базе встретились с грузинской молодежью. От души посидели — с шашлыками, душевными тостами. И встает вдруг в разгар веселья один подвыпивший толстый молодой грузин — целая гора сала — и говорит: "Ребята, я предлагаю тост за Иосифа Сталина!" За столом сразу возникла тишина. Наконец, один из чеченцев сказал: "Я за это пить не буду". У него в казахстанской ссылке умерли два дяди и сестра. Кое-как неловкость замяли, довели застолье до конца, но многие сидели уже как по принуждению. Хорошо, что хоть до драки дело не дошло...

Дома его решение встретили спокойно, а дедушка Иса дал в дорогу свой старинный охотничий нож.

* * *

Когда Бесик уже осмотрелся на передовой, он стал подумывать, с кем бы здесь по-

настоящему скентоваться. Ведь на войне, как и у альпинистов в горах, обязательно должен быть один, с которым ты в связке. Тот, кто прикроет огнем, вытащит тебя с поля боя раненого, а на самый худой конец — и мертвого. А ты — его... Бесик очень хотел оказаться в связке с Хасаном, и так оно и вышло, когда в середине сентября они попали в одну команду. Они удачно дополняли друг друга — статный, с фигурой атлета и не любивший "галдеж" чеченец и шухарной, круглолицый "любимец публики" Бесик. Вместе участвовали в Гагрской операции, после которой защитники Абхазии так воспрянули духом; вместе ходили в ноябре на Шпрому и еле вырвались из засады, устроенной там грузинами. А когда на линии противостояния по Гумисте стало откровенно скучно — ни вылазок, ни серьезных операций, только дежурные артобстрелы да соревнование снайперов, в общем, чисто позиционная война — оба попросились на Восточный фронт.

Бесик за несколько месяцев войны очень изменился — даже внешне. Юношеское, почти мальчишеское лицо его обрело черты мужества, взгляд зеленоватых глаз стал пристальным и цепким. И хотя вслух этого он никогда не говорил, в душе не сомневался: возмужал так быстро, потому что рядом всегда находился настоящий, прирожденный "войк" — чеченец Хасан.

По прилету в Ткуарчал Бесик отпросился на два дня — побывать в Джгерде, где был не только дедушки с бабушкой дом, но и родители его во время войны находились. И добился, чтоб Хасана с ним отпустили.

Шли пешком по горным дорогам и тропам и, выйдя в шесть утра, добрались до села только в пол-четвертого дня. Дом был переполнен беженцами из сел низинной части Очамчирского района: пятнадцать человек родственников, знакомых и полужнакомых. Родители Бесика и его младшая сестра оказались, слава Богу, живы-здоровы. На радостях и в честь прославленного воина — гостя из Чечни дедушка не удержался, чтобы не зарезать последнего бычка.

Уже собирались садиться за стол, когда в небе вспыхнул огненный факел. Позже они узнали, что в тот миг неподалеку отсюда, над селом Лата, грузины сбили вертолет, переполненный абхазскими беженцами из Ткуарчала.

Спать оба легли в одной из комнаток второго этажа, заваленные по самые носы, чтоб не замерзнуть, одеялами и шубами. Впечатления дня долго не давали уснуть. Хасан рассказывал о своем ауле и своей семье, мечтал о том, как после войны они с Бесиком обязательно побывают у него в Барзое...

* * *

Хасан почувствовал крен вертолета. Уже? Крен вжал его спиной в гудящую дюралевую обшивку. Внушительных размеров "вертушка" — МИ-8 МТВ40 — устремилась вниз. Вот так: пять минут лету — и ты из временной столицы Абхазии Гудауты оказываешься в самом пекле войны...

Сопка, на которую они должны были сесть, называлась Ахбюк. Высота -584 метра над уровнем моря. Задача десанта — соединиться с подразделением абхазской армии, которое накануне заняло сопку, закрепиться на ней и ждать дальнейших указаний из штаба.

Идет третий день июльского наступления; до северных окраин Сухума от сопки —

всего десять километров по прямой. Но сколько пота и крови надо еще пролить, чтобы преодолеть эти страшные километры!..

Сели неожиданно резко и быстро. Открытая с лязгом дверь распахнулась в солнечный мир лугового разнотравья и разноцветья. Высокая трава стелилась к земле, выгибалась серебристыми дугами под напором воздушных струй, возгоняемых винтом. Первым шагнул в этот мир, прихватив большую пластмассовую канистру с водой, командир десанта Сергей Аршба. За ним потянулись сидевшие у выхода.

И вдруг — где-то совсем рядом, метрах в ста, заработал станковый пулемет. Этого не было в "сценарии". Водоворотик паники мгновенно закрутился у дверей вертолета и втягивал в себя всех, кто еще был на борту. Но Хасана он не затронул. "Не дергайся, — словно внушал Хасану кто-то, — не дергайся! Паника отнимает разум, превращает в животное". Он как сидел, так и продолжал сидеть на лавке, но в голове в доли секунды пронесся вихрь мыслей, оставив в итоге одну, безошибочную: сопка в руках грузин, десант попал в западню.

И как в подтверждение этой догадки в следующий миг по вертолету с трех сторон — севера, юга и запада — ударили автоматные и пулеметные очереди. Сотни пуль прошивали дюраль стенок, били по колесам и лопастям винта, дырявили баки с горючим, укрепленные на крыше вертолета... Баки были полны, это спасло "вертушку" от мгновенного взрыва, но топливо из пулевых отверстий устремилось вниз. Оно лилось на людей (выйти успело не больше трети десанта), хлюпало, растекалось лужами на полу...

И тут же что-то страшно и тупо ахнуло — будто по телу вертолета ударили огромным зубилом: это в его хвост попали из одноразового гранатомета "муха". В глаза Хасану хлестнуло тугое, свистящее пламя...

Вот оно и сбылось, то нехорошее предчувствие, что не покидало его перед вылетом... Десант составили три взвода отдельного стрелкового батальона "Горец". Сергей Аршба, начальник штаба батальона, заметил перед посадкой отрешенный взгляд Хасана и хлопнул его по плечу: "Ты чего?" "Да ничего... Дай только Аллах, чтоб я перед смертью все это, — Хасан кивнул на свои боеприпасы: шесть рожков по 45 патронов к ручному пулемету, — успел выпустить".

Вертолет загорелся, но по-прежнему не взрывался, и, пользуясь этим, еще несколько человек, которые находились у самой двери, успели вывалиться наружу. Хасана от выхода отделяли три-четыре метра, несколько человек в горящих камуфляжах и неминуемая почти вероятность тоже вспыхнуть по дороге: бензин на полу стоял теперь почти по щиколотку. Находившийся рядом с ним десантник, уже полыхая, разбил прикладом стекло иллюминатора и стрелял сейчас через него. Горела его одежда, горели волосы и, что поразило Хасана, горела облитая горючим кожа, стекала по руке, как плавящийся полиэтилен.

И одновременно чутким своим ухом Хасан пытался уловить, что происходит там, снаружи. И словно видел, как в том солнечном мире с его разноцветьем-разнотравьем разгорается неравный бой, как занявшие круговую оборону "горцы" пытаются противостой грузинам, которые устроили им ловушку. Ахбюк стрелял, вскрикивал голосами раненых, обагрялся кровью, покрывался мертвыми телами... Хасан почему-то был уверен: стоит ему вырваться из горящего вертолетного чрева,

упасть в высокую траву, успевая одним взглядом вобрать в себя окружающее пространство — со складками местности, бьющими трассерами, залечь, раскинув ноги и привычно почувствовав щекой гладкий приклад своего "дегтярева", — и он станет неуязвим, звериным первобытным чутьем воина найдет единственно верную — одну, вторую, третью — точку в ежесекундно меняющемся калейдоскопе боя, из которой достанет, проткнет противника огненным щупом очереди, придет на помощь раненому товарищу, подбодрит растерявшегося, увидит, где слабина в позиции врага и подскажет командиру...

Неожиданно стрельба стихла. Только чмокало, трещало пламя, страшно кричали заживо горевшие в вертолете люди. И чутье снова безошибочно подсказало Хасану: еще несколько секунд — и будет поздно. Просто удивительно, как до сих пор не рвануло: ведь в "вертушке" лежали три огнемета "шмель", ящик зарядов к гранатометам... Резким движением швырнул вперед чей-то попавшийся под руку вещмешок и двойным прыжком достиг дверного проема. Пламя все же зацепило, но он был уверен, что, упав в траву, сумеет его сбить...

Взрыв раздался в следующее мгновение после того, как ноги Хасана коснулись земли. Оглянулся назад и... руки опоздали схватиться за лицо. От страшного перепада давления вытекли глаза. Лицо превратилось в черную, обугленную маску, руки вздулись багрово-серыми волдырями... Его камуфляжную форму охватило пламя. Он уже не видел, как взметнулся над местом, где мгновение назад стояла "вертушка", огненный гриб, как жутко, будто в замедленной съемке опадали затем на землю титановые диски от колес, лопасти винта... МИ-8 МТВ40 превратился в пар...

Не мог видеть Хасан, естественно, и взрыва восторга в окопчике среди кустарника в полутора сотнях метров отсюда. Сразу двое грузинских гвардейцев бросились обнимать маленького веснушчатого гранатометчика с рыжими усами под горбатым носом, и тот счастливо улыбался, глядя на оседающий мусор там, куда несколько минут назад тяжело и хищно опускалась винтокрылая машина.

А высокая, по пояс, трава на поляне все так же колыхалась — будто продолжал работать винт не существующего уже вертолета: это пули, летевшие в самых разных направлениях, шныряли в ней, сбивая красные, белые, желтые головки полевых цветов.

"Ура", "Вперед!" — оставшиеся в живых десантники ломанулись в атаку на грузин — другого выхода у них просто не было.

Пулемет из рук Хасана выбило взрывом — да он был бы и бесполезен сейчас. Зато на поясе продолжал висеть охотничий нож — верный спутник его с первых дней войны. Хасан выхватил его из ножен и побежал, ориентируясь на крики атакующих. Слепой, яростный комок боли, он знал — и эта последняя мысль в гаснущем сознании была единственным, что еще связывало его с жизнью: пока способен двигаться, он должен добежать до того, кто неумолчно молотит из пулемета, сея смерть, добежать, обхватить его огненными объятиями, ударить — раз, два, три — ножом, унести с собой за невидимую грань жизни и смерти — как волк уносит в свои лесные владения трепещущую овцу.

Пулеметчик — долговязый кахетинец с несмываемой черной каймой под когтями — долго не замечал, что на него бежит нечто страшное, объятые пламенем. Первым

начал стрелять в Хасана — расстояние между ними не превышало уже тридцати метров — лежавший за соседним кустом украинец из отряда УНА-УНСО — здоровенный парень с белесыми бровями и ресницами. Но автомат, казалось, не слушался его (украинец не подозревал, что несколько пуль уже прошли грудь Хасана, и к кустам продолжает бежать, не роняя ножа, по сути мертвый человек, тело этого человека). Когда же то охваченное языками пламени, что минуту назад было Хасаном, попало в поле зрения пулеметчиц, он в страхе перестал стрелять и чуть было не начал отползать назад, чуть было не ринулся бежать через кусты с рвущимся из груди криком ужаса. Но Хасан пробежал несколько шагов и, так и не выпустив нож из руки, упал ничком, чтобы больше уже не двинуться никогда.

1997

Время убивать

Теплым солнечным утром середины сентября 1992 года на провонявшей бензином площадке перед блокпостом грузинской армии у верхнего гумистинского моста стояла группа — трое парней, мужчина средних лет, девочка и две молодые женщины, одна из которых держала на руках грудного ребенка. Шло прощание. Объятия сменялись всхлипами, поцелуи были солеными от слез. Потом мужчина, женщина с ребенком, один из парней и девочка двинулись к мосту. На месте оставались трое.

— Ну ладно, пойду я. Кристина, в общем, если надумаете... Может, уговоришь все-таки своего ненаглядного... — сказал, обращаясь к красивой крупнотелой смуглянке с заплаканными глазами, очень похожий на нее, но несколько более тонкий в кости чернобровый юноша.

— Слушай, — перебил его стоявший напротив парень, — тебе уже, по-моему, было сказано... Что ты снова начинаешь?

— Мамука! — резко заговорил чернобровый, наставив на него указательный палец.

— Ты сейчас такую глупость совершаешь — непоправимую... Я тебе говорю: брось это дело, поедem все вместе в Краснодар. И я не буду воевать, и ты не будешь...

— Да что ты говоришь? — усмехнулся Мамука. — И ты не будешь? А ты вообще знаешь, с какого конца автомат стреляет? ... А ну, убери палец, а то сломаю!

— Ладно, Мамука... смотри, как бы...

— Ну, ну, давай. Сказал "а", так не будь "бэ"...

— Как бы ты мою пулю не поймал!

— Вот так, да? Но ты моей скорей дождешься...

Парни уже лезли друг на друга, хватали за грудки. Кристина с криками "Алмасхан! Мамука!" безуспешно пыталась их разнять. Обернувшийся на мосту мужчина увидел, что поднятый шум привлек внимание автоматчиков с блокпоста, и поспешил назад. Схватив за руку Алмасхана, оттащил его в сторону, а через несколько минут оба, догнав остальных, уже были на правом берегу Гумисты.

Кристина вышла за Мамуку в пятнадцать лет. Только в Абхазии, думал порой Алмасхан, так часто встречается подобный разброс в возрасте "брачующихся": если одни засиживаются до сорока и больше, то другие, словно в компенсацию за напрасно потраченное теми время, ухитряются выпорхнуть из родительского гнезда в четырнадцать-пятнадцать. Может, есть тут, приходило ему в голову, и какая-то генетическая предрасположенность? Во всяком случае, и старшая их с Кристиной сестра Саида вышла замуж в семнадцать, и родители поженились рано... В случае с Кристиной, конечно, не обошлось без ее тайного увоза, шума, гама, сердечных капель для мамы — какая семья продемонстрирует готовность выдать замуж дочь в таком возрасте? Но все, в общем-то, довольно быстро утихомирилось. Во-первых, и Мамуку, и его семью (они тоже жили в Новом районе) родители знали, и знали с хорошей стороны. Во-вторых, Кристина к тому времени, закончив восемь классов, поступила в торгово-кулинарное училище и как бы перешла, несмотря на свои годы, уже в иное, более взрослое состояние. В-третьих... Ну, да что "в-третьих" — что свершилось, то и свершилось...

Сестренка его росла очень теплым, привязчивым созданием. Всегда опережала сверстниц и в физическом развитии, и в интересах, рассуждениях. Вот и опередила...

Что касается Алмасхана, то для него новоиспеченный зять — Мамука Шавгулидзе, который еще не так давно учился в параллельном с ним классе русской школы, — давно был предметом тайного преклонения и подражания. Почему же Мамука стал тем кумиром, которого жаждали его четырнадцать лет, что заставило Алмасхана именно его выделить из гурьбы мальчишек, заполнявших школьный двор на переменах? Ведь Мамука вовсе не был какой-то выдающейся личностью среди сверстников, не рвался ни в формальные, ни в неформальные лидеры. Учился средне, в отличниках не ходил, но именно он раньше всех решил задачу на сообразительность, предложенную учителем математики во время сдвоенного урока параллельных классов (в том числе и Алмасхана, лучшего в своем классе по математике, опередил). В футбол играл не ахти (вернее, просто не увлекался им), но забил решающий красавец-гол в памятном всем упорнейшем футбольном матче между командами их классов. Не числился в "юных артистах", но, разыграв в паре с еще одним пацаном остроумную сценку, принес победу своему классу в школьном "КВНе"...

Впоследствии Алмасхан не раз задумывался о том, что будь он в те годы более близок с Мамукой, наверное, воспринимал бы того более приземленно, без нимба "победителя" над его темно-русой, обычно коротко стриженной годовою, но поскольку он наблюдал за ним издали, почти не общаясь, это побуждало домысливать его образ и, домысливая, идеализировать. Можно сказать и так: он болел за Мамуку, как телезритель начинает болеть за какого-то произвольно выбранного им спортсмена — просто проникшись к нему однажды симпатией. А став

"болельщиком" Мамуки, Алмасхан был склонен восхищаться в нем уже всем, вплоть до мелочей, на которые кто-то другой и не обратил бы внимания. Ну, например,

тем, как на выпускном вечере, оказавшись за одним с ним столом. Мамука, как бы подражая первобытному человеку, вонзил вилку в ломтик хлеба: "Мое!" Впрочем, а разве и все окружающие не разделяли мнения о Мамуке как о веселом, оригинальном, неистощимом на выдумки парне из разряда тех, о которых говорят: "Ну, артист!" Помнится, в десятом какой-то его одноклассник начал рассуждать, что хочет повесить у себя дома на стене большую фотографию звездного неба — дабы "чувствовать свое ничтожество", а Мамука тут же нашелся: "Так повесь там лучше мою фотографию."

И, конечно, присутствовало в нем то, недостаток чего всегда ощущал в себе мечтательный и куда более "домашний" Алмасхан. Воспитанный в интеллигентной семье (отец — юрист, мать — педагог), Мамука был вне уголовщины с ее тупой жестокостью и злобой, но в то же время умел разговаривать с блатарями на равных. Мог быть дерзким. А в восьмом, кажется, классе, его чуть было не исключили из школы после того, как с его "легкой руки" многие ученики начали упражняться в мужестве, разбивая голым кулаком оконные стекла в классах. В школе, мол, все равно вот-вот должен был начаться капитальный ремонт... Вот и пошла эта эпидемия, в результате чего среди мальчишек стало модным появляться в школе с перебинтованной кистью правой руки (впрочем, наивысший шик состоял в том, чтобы разбить стекло не поранившись).

Разумеется, Мамука нравился девчонкам. Разумеется, был обаятелен и контактен. Было в его облике что-то от кошки — такое же мягкое, пластичное. По-девичьи нежные черты лица, темно-синие глаза, ямочка на подбородке — и в то же время какой истинно мужской силой и уверенностью веяло всегда, на взгляд Алмасхана, от хрупкой, щупловатой фигуры Мамуки!

И вот этот самый Мамука стал вдруг его родственником! Вдруг — потому что Алмасхан никогда не догадывался о их с Кристиной отношениях. Единственное, что могло навести на подобную мысль, — выведенное на стене соседней девятиэтажки рукой какого-то двоечника или двоечницы "Крестина + Мамука = лубоф". Но ему тогда почему-то не пришло в голову связать эту надпись со своей сестрой — решил, что речь, наверное, о каких-то младшеклассниках.

Став же родственником Алмасхана, Мамука стал и другом его (что случается далеко не всегда).

Им было тогда по девятнадцать. Оба учились в Абхазском университете: Алмасхан — на истфаке, Мамука — на экономическом. Большинство мужчин, как известно, женится перебесившись, Мамука же явно не успел этого сделать, и, глядя на студенческую компанию человек из десяти, в которой он, Кристина и Алмасхан шатались по набережной и ездили на загородные пирушки, посторонний человек вряд ли бы догадался, что двое в ней — муж и жена.

Мамука в этой компании был неизменным "генератором идей". Как-то в разгар лета приехали на Медицинский пляж с огромной авоськой чешского бутылочного пива. Чтобы оно не нагревалось, закопали бутылки глубоко в мокрый песок. К вечеру несколько бутылок осталось, и тогда Мамука предложил: "Давайте пометим это место, а завтра снова приедем купаться и откапываем". Надо было видеть изумление окружающего курортного люда, когда на следующий день, едва приехав на пляж, Мамука начал деловито выкапывать из песка одну за другой пивные бутылки.

Некоторые вокруг даже попробовали повторить его действия (решив, возможно, что этот пляж — нечто вроде поля чудес в стране дураков), хотя и делали вид, что заняты исключительно строительством песочных домиков. Этот "фокус" так понравился компании, что его показывали потом "на бис" еще несколько раз. А что однажды учудил в университетском общежитии! Вернее, они вместе с Алмасханом учудили... Мамука специально надел старую сорочку, которую было не жалко. Потом они посадили на нее большое пятно красной краски, и Мамука сел в коридоре общежития на пол, прижав обеими руками к этому пятну рукоятку столового ножа с обломанным лезвием — как будто лезвие торчит в груди. Алмасхан ему удачно подыграл: побежал стучать в двери всех подряд комнат, звать жильцов... Сбежалось пол-общежития, стали звонить в "скорую помощь"... Еле-еле в тот вечер унесли из общежития ноги...

Первые разногласия у него с Мамукой возникли весной 89-го, когда наметился раскол АГУ. Мамука, как и Алмасхан, учился тогда на четвертом курсе. Его не было среди тех студентов, кто в мае лежал на матрасах у входа в грузинский театр, требуя создания в Сухуме филиала ТГУ, но он их поддерживал. Все чаще у них с Алмасханом возникали споры на исторические и политические темы. Июльское столкновение обострило их отношения до предела, какое-то время совсем не общались — после того, как Алмасхан узнал, что Мамука стоял в грузинских пикетах у въезда и выезда в город.

Что касается дел семейных, то тут вся абхазская родня не могла на Мамуку нарадоваться. Уважали, с ума по нему сходили. Хотя женился пацаном и озорное, мальчишеское долго еще в нем бродило, мужем стал заботливым и любящим, а от малышки Эки, которая родилась в том же 89-м, его вообще трудно было оторвать. После университета (заканчивал все же этот злосчастный филиал ТГУ) начал работать в коммерческих структурах — и вполне успешно. Во всяком случае, Кристине грех было жаловаться, что муж у нее бездельник и беспомощный в жизни человек. Ну да ведь таким Алмасхан и знал его с самого детства — за какое бы дело Мамука ни брался, оно у него должно было получиться.

В советской армии служить ему так и не пришлось — отсрочки, как и Алмасхану, давали. А в 91-м записался в "Мхедриони" * (* "Всадники" — грузинская военизированная организация.). Ясное дело, что Алмасхану и его родным это очень не понравилось, но Мамука разве их слушал?..

Споры его с Алмасханом становились все более резкими, причем инициатором их обычно бывал Мамука. Появилась в его речах какая-то пугающая Алмасхана жестокость. Послушать его, так абхазы должны были быть благодарны грузинам уже только за то, что им позволено жить на этой земле.

И вот — война!

Алмасхан вместе с родителями сразу выехал в Краснодар, где жил двоюродный брат матери. Через месяц, когда на фронтах установилось затишье, они с отцом смогли по обмену вытащить из Сухума Саиду с мужем и двумя детьми. Алмасхан надеялся вывезти и Кристину с семьей, но... дело, как уже описывалось, едва не закончилось потасовкой.

После этого Алмасхан с родителями и семьей Саиды оказался в Пицунде, где их разместили в пансионате. Он и муж Саиды, немногословный тридцатилетний

парень, вскоре были зачислены в один из формировавшихся батальонов абхазской армии.

Календарь войны пестрел багряными датами: 5 января, 16-18 марта, 2 июля... Но это были не праздничные дни — на листках календаря будто адела пролитая кровь.

Алмасхан воевал не прячась за чужие спины, лез в самое пекло и дважды был ранен. Участвовал во всех наступательных операциях на Гумистинском фронте, побывал и на Восточном. Но всякий раз, когда он попадал к своим в Пицунду, одним из первых вопросов его был: "Как там Мамука с Кристиной?" Ведь обмен информацией между двумя частями разделенной Абхазии не прекращался ни на минуту. Кто куда выехал и кто остался, кого ограбили, кого убили — все это мгновенно становилось известно по другую сторону линии фронта. В первое время родители даже умудрялись перезваниваться с Кристиной по телефону, а потом в действие вступил "беспроволочный телеграф" слухов. И они, эти слухи, как правило, потом подтверждались.

Когда Алмасхану сказали, что Мамука не просто воюет против абхазов, а имя его "гремит", представлен даже к какой-то награде, он долго ходил как убитый. Хотя, с другой стороны, размышлял потом Алмасхан ночами без сна, чему удивляться? Ведь Мамука — грузин, причем грузин, который с пеленок был воспитан в убеждении, что все, что он видит вокруг, — это грузинская земля, дэдамица. Как он посмел, проклиная мы его в Пицунде, направить ствол в сторону Алмасхана, неужели не задумался, что, нажимая спусковой крючок автомата, или что там у него в руках, стреляет в своих родных — тестя, невестку, шурина!.. Так ведь и его, Алмасхана, можно обвинить — родители Мамуки наверняка это делают! — в том, что он стреляет в свою маленькую племянницу... И все же было обстоятельство, которое в конечном итоге наполняло Алмасхана уверенностью в своей правоте: "Нам, абхазам, некуда отступать, у нас нет второй родины, а грузины имеют там, за Ингуром, историческую родину, которая так и называется — Грузия. И во все века "за свободу" воевали те народы, которые не хотели жить в рабстве, а "за территориальную целостность" — как правило, поработители. И то, что Мамука этого не понимает, — это и есть его беда и вина. Так что не совестливым грузином Мамука оказался, а, наоборот, бессовестным. Совестливые-то как раз, увидев, что творят тут их соплеменники, чухнули из Абхазии подальше... Если б на территории Абхазии жил еще меньший по численности народ и он бы захотел существовать отдельно от абхазов, я бы никогда не стал против него воевать. И в свой бы народ, конечно, не стрелял, но и в тот — тоже".

Когда в сентябре 93-го батальон Алмасхана пошел на решающий штурм Сухума, ему то и дело чудилось, что там, среди человечков, пляшущих на мушке его автомата, — Мамука. Однажды, разглядывая позиции противника в бинокль, почти наверняка решил, что под одной

из касок мелькнуло лицо его зятя. И холодок пробежал между лопаток: стал бы он стрелять в Мамуку в случае какой-то безвыходной ситуации? Порой, особенно после гибели боевых друзей и известий о зверствах оккупантов, Алмасхану казалось: попадись ему в эту минуту Мамука, выстрелил бы в него не задумываясь, не испытывая капли жалости! А порой думалось: нет, не дай Бог, чтобы именно его пуля сделала сестру вдовой, а племянницу сиротой...

Те удивительно теплые и безоблачные, словно из бирюзы и золота, дни конца сентября для одних в Абхазии стали днями триумфа и переполняющей душу радости, для других — самой большой в жизни катастрофы и состояния, близкого к умопомешательству. Уже за день-два-три до вступления абхазов в очередной район города грузинские дома в нем пустели. Целые кварталы стояли безлюдными, будто после взрыва нейтронной бомбы... Упорнее всего грузинские гвардейцы держались в Новом районе: уже и центр города был взят, и к Келасурскому мосту абхазы вышли, а с многоэтажек Нового района все шла стрельба. Может, потому и сопротивлялись так яростно, что понимали: они окружены и, по-видимому, обречены, из кольца им уже не вырваться... Алмасхан входил в город на другом участке фронта, но перед тем, как двинуться с остальными дальше, к Ингуру, успел заехать в уже освобожденный Новый район, взглянуть издали на свой дом (кажется, цел!) и обнять сестру. Перепуганная Кристина была у себя дома одна, только с четырехлетней Экой. Мужнины родители, сказала она, уехали еще неделю назад, вместе с семьей дочери, уговаривали ехать и ее, но она наотрез отказалась. "А Мамука где?" — спросил Алмасхан. "Ничего о нем не знаю", — ответила упавшим голосом Кристина и залилась слезами.

Через несколько дней Алмасхан вернулся с Ингура, где очередью в воздух вслед скрывшимся на том берегу поставил для себя победную точку в войне. Родители из Пицунды назад еще не перебрались, квартира их, как и чуяло его сердце, за время войны была разграблена и загажена, и поэтому Алмасхан остановился пока у Кристины. Теперь у них было время и выговориться, и выспросить друг у друга обо всем. Когда речь заходила о Мамуке, Кристина начинала плакать. В последний раз, по ее словам, она его видела 21 сентября: он ушел утром и на прощание сказал, что город они не сдадут, не имеют права сдать и что для него, Мамуки, лучше быть убитым и закопанным в этой земле, чем жить где-то вдали от нее. С тех пор о нем — ни слуху, ни духу.

— Думала ты, Кристина, когда выходила за него замуж, что вот так может все обернуться? — спросил ее как-то Алмасхан.

— Откуда? — с живостью откликнулась она. — Я вообще тогда разве задумывалась, что он грузин, а я — абхазка? Для меня он был просто Мамука, я в его синие глаза была влюблена... Это его родители только меня спросили, когда я к ним попала: "Ты знаешь, что мы грузины?" "Ну и что, — говорю, — какая разница?"

"Не задумывалась, что абхазка? Так ты что, без роду и племени, чебурашка какая-то?" — слова сестры не могли не покоробить Алмасхана, особенно после всего пережитого на войне, но промолчал, ничего не сказал.

По словам Кристины, в последнее время Мамука сильно изменился.

Когда приходил домой с передовой после гибели своих товарищей, бывал с ней грубым, будто она в чем-то виновата. Конечно, Кристина не раз просила его уехать куда-нибудь в Россию, но он неизменно отвечал: "Я свою Родину, свою нацию никогда не подведу". "А если вы встретитесь там, на фронте, с Алмасханом?" "Ну что делать, война есть война. Или он меня убьет, или я его..."

Кристина рассказывала, что Мамука успел дослужиться в грузинской армии до капитана, и Алмасхан, имевший звание только старшего лейтенанта, усмехнулся про себя: и здесь, на войне, Мамука его обошел; правда, какой прок для него в этом,

если, допустим, сейчас где-то на подступах к Сухуму лежит его вздувшийся, кишащий белыми червяками труп?

На всякий случай Алмасхан побывал в морге — безрезультатно. Проходя по сухумским улицам, с которых еще не успели убрать разлагающиеся трупы, преодолевая отвращение внимательно всматривался и в них. Впрочем, он искал не только Мамуку — мало ли кто еще из знакомых мог оказаться среди убитых? Но не узнал никого...

Время было беспокойное, жизнь очень медленно входила в нормальную колею. С наступлением сумерек в городе начиналась настоящая какофония автоматной и пулеметной пальбы. Небо прошивали разноцветные трассеры. Блестящие, ломкие их нити устремлялись к звездам и терялись в серебристой, туманной бездне. Но если б дело обходилось только этим затянувшимся праздничным салютом! Много звучало и гораздо менее безобидных выстрелов. Тех, которые могли раздаться в любое время суток и продолжали уносить жизни людей...

Именно к таким относились выстрелы, которые Алмасхан услышал на пятый день после возвращения с Ингура.

* * *

В ночь накануне этого дня он спал тяжелым беспокойным сном, в котором глухо ворочалась, стонала, цеплялась за него железными когтями война. Землю сотрясала судорога взрывов, тонули в тумане лица его умирающих от ран друзей, которые тянули к нему руки, а он бессилен был им помочь...

Проснулся в мягкой удобной постели, на белоснежной накрахмаленной простыне. Все — позади... Эта дикая, пестрая смесь красоты и грязи, именуемая войной. Но вместе с успокоением, с воспоминанием об одержанной ослепительной победе в сознание устремилось и что-то тревожное.

Золотистая подковка... Она вновь стояла у него перед глазами. На днях он зашел в один из брошенных грузинских домов — искали подходящее жилье для его товарища, который остался без квартиры. Мародеры здесь уже прошли и, видно, не раз, и в доме царили мерзость и запустение. Взгляд Алмасхана упал на стоявшую в углу пустую детскую коляску — мародеров она пока не заинтересовала.

Современная, на рессорном ходу, сиреневого цвета, с окошечками из пластика по бокам... И вдруг, когда он увидел подвешенную в коляске маленькую подковку из золотистого металла, сердце сжалось. Он представил себе людей, совсем недавно живших в этом доме. Их радость по поводу появления малыша, сопутствующие всему этому хлопоты и заботы. Их наивную веру в то, что подвешенная над ребенком подковка принесет к нему счастье. Где они сейчас, эти люди, живы ли? И где ребенок, лежавший здесь и иногда, может, касавшийся пухлыми ручонками этой подковки (как тихонько коснулся ее сейчас Алмасхан), после чего она начинала раскачиваться?

Разум его ожесточенно заспорил с сердцем: "А ты хотел, чтоб они все здесь остались и все началось бы с начала — забастовки, голодовки, акции протеста, вооружение сторон? Да разве то, что большинство грузин — наиболее политически активная и агрессивная их часть — ушло, не на благо и абхазам, и самим грузинам: иначе ведь

мы так и будем истреблять друг друга?" Разум тыкал его в воспоминание о собственной разгромленной квартире: обитавшая там, по словам соседей, в последнее время группа грузинских "гвардюков", уходя, потрудились на славу — прослышав, что здесь жил офицер абхазской армии, они использовали едва ли не каждый квадратный метр жилплощади под ватерклозет, да еще издевательскую записку оставили... Разум задавал ему вопрос: "А что, если вот эти жившие здесь люди громче всех в округе радовались после провала нашего мартовского наступления: "Абхазцы плавают в собственной крови!"?" Он даже ощутил какое-то облегчение, увидев в этом доме в куче книг на полу антиабхазскую брошюрку, изданную обществом Руставели. И подумал еще: сегодня ты с умилением смотрел бы на тянущегося к тебе ручонками, смеющегося малыша в этой коляске, а через двадцать лет он, может, выстрелил бы из гранатомета в твоих будущих детей... Но вот проснулся — и перед глазами снова замаячила золотистая подковка...

А еще всплыло в памяти лицо высокого худого старика лет семидесяти, который копал землю во дворе частного дома на одной из привокзальных улочек. Седые волосы, узкое, с впалыми щеками лицо, походивший на клюв нос и тонкие губы... Старик копал и повторял, как заведенный, с жутким мингрельским акцентом: "Так дружно жили, так хорошо жили... все по соседству... свадьба и похорон..." "Старая песня", — усмехнулся в душе Алмасхан. С группой своих ребят он медленно проезжал мимо на трофейном джипе. Это было 26 сентября, Сухум был "полувзят" — территорию между железной дорогой и морем контролировали еще грузины, но воздух победы был уже разлит в воздухе. За работой старика, молча стоя над растущей ямой, наблюдали двое в камуфляже. А на улице, недалеко от калитки, валялись два начавших уже пованивать трупа, дальше виднелся еще один, и еще... Алмасхан без труда врубился в ситуацию: абхазские бойцы, не желая возиться с трупами врагов, заставили старого мингрельца выкопать могилу в своем дворе и похоронить их. Но когда джип Алмасхана поравнялся со стоявшей чуть дальше кучкой ребят в камуфляжной форме, он услышал, как один из них, прикуривая, внятно сказал: "Он еще не знает, что себе могилу копает". Слова эти застряли в сознании Алмасхана как заноза. Для эпатажа, чтобы покрасоваться перед своими, они были произнесены, или за ними стояло твердое — и осуществленное затем — намерение?

После возвращения с Ингура ему не раз хотелось вернуться на ту улицу и узнать — остался ли жив старик? Но каждый раз что-то останавливало... Да и впрямь: если жив, то и без него жив, а если мертв... В общем, Алмасхан предпочитал думать, что для старика все обошлось так ему было легче жить. И все-таки тяжкие мысли не отступали...

Когда пропалываешь, нельзя оставлять корни сорняков — иначе весь труд напрасен... От кого-то он недавно слышал эту фразу?.. Только разве и грузины с таким же успехом не могут считать нас сорняком?.. Да что "могут"? Они ведь и в печати уже так нас называли — то ли мхом, то ли плющом... Прикидывался старик-мингрелец таким "интернационалистом", или... Да даже если и прикидывался, все равно... нельзя так... старого, безоружного... Да, ребята озверели, ожесточились, скольким из них "стучит в сердце пепел" брата, сестры, друга...

А может, вирус разрушительной стихии живет в каждом из людей, дожидаясь своего

часа?

Но чем же мы тогда будем отличаться от них — тех, оккупантов, от кого так страстно хотели освободить свою землю?

Сам Алмасхан несколько раз наведывался к знакомым и даже незнакомым старикам-грузинам (а в городе и окрестностях только старики, кажется, из грузин и оставались — кто, одинокий, не смог выехать, кто не захотел, кого оставили охранять дом), подбадривал, успокаивал, привозил кое-какие продукты. Но в какой-то момент вдруг подумал: а не делает ли он это ради собственного низкого удовольствия от вида парализованных страхом, дрожащих, повергнутых в прах людей?! Может, вся разница только в том, что грубая и примитивная душа испытывает кайф еще больше пугая их, а его, более "высокоорганизованная", — от любования своим великодушием, от того, что он "милость к падшим призывал"? Тем более, что великодушные это ему почти ничего не стоило, так как защищать их в те моменты ни от кого необходимости не было.

...Увидев, что Алмасхан проснулся, в постель к нему запрыгнула Эка — стала обнимать, целовать... Соскучилась, что ни говори, за год по дяде.

* * *

В полдень он с парой ребят из своего взвода подъехал к дому Кристины на джипе. Собирались пообедать.

Первое, что увидел — стоявшую во дворе дома "бээмпэшку". Человек семь-восемь автоматчиков рассредоточились во дворе и держали на мушке их подъезд. Крики, громкий мат и — белое, как мел, лицо Кристины, которое бросилось ему в глаза в группе женщин, столпившихся под козырьком соседнего подъезда.

Рядом с беседкой, там, где землю пропахала и скукожила в рубчатый след гусеница "бээмпэшки", навзничь, голый по пояс лежал совсем юный парнишка в камуфляжных брюках. Боец с рыжей бородой все бинтовал ему грудь крест-накрест. Подняв на Алмасхана потное, горячее лицо, рыжебородый в двух словах объяснил, что происходит. В подвале этого дома с самого, видно, окончания боевых действий прятались двое недобитых "гоги". И вот сегодня, когда на них наткнулись при прочесывании квартала, эти паскуды открыли огонь из ручного пулемета и автомата. Одного нашего ранили легко, а вот этот, Малыш, — рыжебородый опустил глаза, — вряд ли выживет...

С визгом крышишек подкатали "Жигули", и Алмасхан помог перенести лежавшего без сознания паренька на заднее сиденье машины.

— Ну, и что вы теперь думаете делать?.. — спросил Алмасхан. — Я здесь, в этом подъезде, живу...

— Будем брать. Часть наших — в подъезде, путь наверх им перекрывает...

— Чем мы можем помочь?

— А подойди к старшему нашему, — кивнул рыжебородый в сторону лейтенанта с сумрачным бровастым лицом, который метрах в тридцати давал распоряжения двум автоматчикам.

— Как его зовут?

Но рыжебородый не успел ответить. В подъезде один за другим раздалась три

взрыва, от которых в доме со звоном попадали вниз несколько сохранившихся после войны стекол, и тут же загрохотали автоматы. Видно, подвал закидали гранатами, и после этого начался штурм.

Машинально передернув затвор "Калашникова", Алмасхан вместе с его лязгом почувствовал свое включение в бой и ринулся вслед за автоматчиками к подъезду. Но тут тяжелые двери подъезда распахнулись, и несколько человек выволокли во двор двоих в гражданской одежде. Один из них, с окровавленным лицом, отчаянно сопротивлялся. Раз, другой, третий поднялся и опустил на его голову приклад автомата.

Секундное замешательство — и вот уже вслед за одним, самым смелым, жильцы дома (а их тут, оказывается, много кругом попряталось) рванулись, обгоняя Алмасхана, к подъезду, чтоб получше разглядеть захваченных. Приближаясь на ватных ногах к толпе, Алмасхан уже почти не сомневался: там — Мамука! А когда протиснулся к лежащим на земле грузинам, окончательно понял это не столько по знакомым темно-русым прядям волос, которые сейчас слиплись от крови, а по злобным восклицаниям одних и горестным "охам" других соседей — они тоже узнали Мамуку.

И сразу все встало на свои места. И странное исчезновение Кристины позавчера ночью из квартиры на полчаса (Эка проснулась, начала звать маму, а мамы-то и нет; Кристина потом несла какую-то невнятицу, что ходила — вдруг, посреди ночи? — проверять, надежно ли заперта от грабителей и мародеров дверь подъезда). И чересчур уж быстро кончившееся мясо, около пяти килограммов, которое на днях привез Алмасхан. И то, как вполуха, без всякого интереса слушала Кристина его рассказ о посещении морга... Значит, от родного брата скрывала... А, впрочем, может, она и права. Может, и хуже было бы, узнай он, что Мамука тут, рядом... И для Алмасхана хуже, и для Мамуки, и для нее...

Мамука лежал на боку со скрученными проволокой руками и ногами. В какой-то миг, показалось Алмасхану, он встретился с ним взглядами... Второй пленник, рыхлый малый с проплешиной на затылке, лежал повернув голову в другую сторону, и лица его не было видно.

Алмасхан почувствовал прикосновение. Обернулся и увидел лицо Кристины, в котором не было ни кровинки. Распахнутые от ужаса, увеличенные слезами ее черные глаза молили: "Сделай что-нибудь, спаси его!"

Между тем пленных подняли и потащили в БМП. Алмасхан на ватных ногах подошел к бровастому лейтенанту, отвел в сторону:

— Командир, послушай... Что ты с ними собираешься делать? Я одну из этих птичек хорошо знаю, он капитаном у них был. Отдай его мне...

— И что?

— Надо отвезти его в комендатуру. Нам сейчас для обмена такие очень нужны...

Лейтенант постоял, глядя на свои запыленные башмаки, потом поднял на Алмасхана тускло-зеленые глаза:

— А ты кто ему?

Алмасхан выложил все начистоту, не забыв присовокупить: если будет доказано, что его зять заслуживает смерти, он готов расстрелять его собственными руками, но самосуда не допустит.

— Мне только что сказали... наш парень... Малыш... умер по дороге... не довезли, понимаешь? А у него завтра день рождения... был бы... — Бровастый говорил медленно, словно выдавливая слова. — И как ты думаешь, ребята вот так их отпустят?

— Давай поедem в комендатуру... Пусть там разберутся.

— Ладно, садись, — неожиданно кивнул лейтенант в сторону "бээмпэшки". — Только один.

И Алмасхан, приказав своим бойцам дожидаться его здесь и бросив успокаивающий взгляд на Кристину, нырнул в нутро пыльной, с облупившейся краской и бесчисленными вмятинами "бээмпэшки", при первом же взгляде на которую в голову приходило определение: "работяга войны". Оглянувшись в тесном, обжитом пространстве боевой машины пехоты: брошенный на пол матрас в бурых пятнах, наваленные в углу бушлаты, побитое ведерко, приборный щиток с наклейкой — абхазским флагом...

Пленные сидели сзади, в животы им упирались дула двух автоматов. Алмасхан несколько раз пытался поймать взгляд Мамуки, но под "болтанку", устроенную водителем БМП, так ни разу и не сумел. Они ехали все время подпрыгивая на ухабах, как прожаренные каштаны на горячей сковороде.

Сидевший рядом с Алмасханом немолодой боец с птичьим лицом и острым кадыком, заросшим сизой щетиной, рассказывал, с ненавистью поглядывая на Мамуку: как был в грузинском плену и как "вот этот шакал" приказал привязать другого пленного абхаза к стволу танковой пушки и стрелять из нее, пока парень не изжарился заживо...

— Вот этот? — переспросил его Алмасхан. — Ты своими глазами видел?

— А чьими еще? — грубо ответил тот.

Алмасхан потерянно замолчал. Неужели?.. И неужели Кристина, несколько суток прятая Мамуку и еще другого их врага в подвале, знала об этом? Выходит, этот палач ей дороже Родины, матери, отца, брата?.. Если только кадыкастый сказал правду. Хотя что-то подобное Алмасхан слышал про Мамуку еще во время войны. Бровастый лейтенант, если не считать команд, которые он время от времени подавал водителю, не проронил в БМП ни слова.

"Бээмпэшка" неожиданно стала. Выйдя вместе со всеми, Алмасхан увидел, что они стоят на пустынном берегу Гумисты, метрах в ста от воды.

Лейтенант приказал развязать пленных и, закурив, обратился к ним с краткой речью:

— Ну, что, грызуны... Жить хочется? А? Вот и нашему пацану хотелось... которого вы сегодня угробили. Ладно... Видите, что перед вами? Там ваши, грузинские, мины закопаны. Пройдете по ним, переберетесь на тот берег — и вы свободны. Стрелять не будем. Но ни в какую другую сторону дергаться не советую...

— Пуля догонит, — не удержался от того, чтобы растолковать грузинам кадыкастый.

— "Вопросов есть?" — спросил лейтенант и без паузы ответил сам себе: — Вопросов нет.

Товарищ Мамуки попросил у лейтенанта сигарету и прикурил дрожащими руками. Лейтенант протянул сигарету и Мамуке, но тот отвернулся.

Это было мучительное занятие — смотреть, как грузин курит, пытаясь растянуть

сигарету до бесконечности, только делая вид, что затягивается. Кадыкастый даже занервничал: "И тут они над нами издеваются, а?"

Еще более мучительно для Алмасхана было смотреть на Мамуку, на его залитую кровью щеку, разбитые губы и уже будто помертвевшие глаза. Мамука же упорно не хотел встречаться с ним взглядом: не видя, жалея, ненавидя?

Алмасхан стоял будто парализованный, не в силах ни сделать шага, ни произнести слова. А может, действительно так лучше: пусть судьбу Мамуки решит ни он, ни командир этой группы, ни какой-нибудь случайный офицер в комендатуре, а Бог... И вдруг, подняв глаза, он увидел вдали тот самый мост между двумя темно-зелеными тучами гор, у которого год назад он уговаривал Мамуку пойти вместе с ним...

А Мамука тем временем шагнул к кутившему грузину, выхватил у него изо рта сигарету и далеко отшвырнул прочь: то ли ему стыдно стало за своего товарища, то ли самому уже немоготу было ждать. Он двинулся прямо вперед к берегу реки. Друг его попытался идти за ним след в след, но его тут же "поправили", отведя на несколько метров в сторону.

Мамука прожил секунды на две дольше его: именно с таким интервалом в небо взметнулось два черных столба.

1997

Дезертир

Зыбкая, неуловимая граница между туннельной темнотой и светом; пребыванием вне времени и пространства и возвращением в реальный мир; абсолютным покоем, небытием и уже неостановимой, как вода в речном потоке, работой мысли; сном и пробуждением... Русик лежал на спине, широко раскрыв глаза и видя перед собой смутные очертания комнаты: спинку кровати, стык стены и потолка, сереющую полосу вдоль неплотно задернутой оконной шторы — и вместе с осознанием того, кто он и где находится, в него стремительно, пульсирующими толчками наполняя сознание, входил ужас.

Нашарил на тумбочке наручные часы, поднес к глазам. Светящиеся стрелки показывали тридцать пять минут пятого.

Во рту пересохло — казалось, в него затолкали шерстяной чулок. Затылок невозможно было оторвать от подушки, но мозг работал с яростной, беспощадной ясностью. Остатки сна быстро развеялись, как клочки тумана под лучами жаркого, круто восходящего солнца.

Он не помнил, снилось ли ему сейчас что-то. Скорее всего, нет. Да и какая разница — снилось ли? Любому человеку время от времени видятся кошмарные сны, но просыпаешься — и приходит облегчение. Здесь же все наоборот: пробуждение — это и есть возвращение к кошмарной действительности, от которой уже, не надейся, не проснешься.

Больше месяца в Абхазии идет война, и конца-краю ей не видно. Сегодня он, Русик, слава Богу, проснулся, но суждено ли ему проснуться завтра или послезавтра?..

Подъем в шесть. Он, конечно, уже не уснет, а это значит, что впереди почти полтора часа пребывания наедине с собой — как раз чтобы все окончательно обдумать и решить. Русик дорожил таким будто остановившимся временем — временем вне времени — когда вокруг ничего не происходит, от тебя не требуется ни одного шага, поступка, немедленного решения, но ты тем не менее живешь, мыслишь... Тихий, "редкий" храп спящего на соседней кровати Даура на этот раз не раздражал, а, наоборот, успокаивал: как будто если б тот не спал, то мог подслушать мысли Русика (нелепейшая мысль, от которой тем не менее было очень трудно отделаться)...

Сегодня утром их группа уйдет на очередную вылазку в горы. Ну что, Руслан, надо решаться!

Русик все больше напоминал себе бычка, которого ранним утром тянут на забой, — за пару недель до начала войны, в день свадьбы у соседа он и сам погонял такого. Животина сопротивляется, дико косит большим дымчатым глазом, будто нутром чуя, что через несколько часов ее дымящееся свежесваренное мясо будут разносить по столам, но все равно идет, потому как куда деваться: и веревка крепкая, и тянут ее с силой, а сзади еще двое-трое двуногих охаживают хворостинами (когда тушу освежают, то в местах ударов под шкурой окажутся темные полосы кровоподтеков)... Но бычка ведет к месту заклания человеческая воля, непреклонная и освященная тысячелетней традицией, а его что? Да все то же, наверное, знаменитое абхазское "пхашьароуп" — "стыдно". Стыдно не прийти помочь соседу устанавливать палатку для поминок. Стыдно не зайти в больницу навестить дальнего родственника, если он наверняка знает, что ты знаешь о его болезни, и не менее стыдно зайти к нему с пустыми руками. Стыдно не заплатить в междугородном автобусе за встреченного шапочного знакомца, выходя раньше его, даже если у тебя в кармане — кот наплакал. Стыдно показаться трусом и не взять в руки оружие, когда все соседи твоего возраста взяли за него...

Впрочем, все ли? Вон Джамал из соседнего подъезда — здоровый тридцатидвухлетний парень — в самом начале заварушки вывез жену и детей катером в Сочи, и с тех пор о них ни слуху, ни духу. Кажется, в Питере устроились у родственников жены. Говорят о нем вокруг с осуждением, и так же, наверное, будут говорить в первое время, когда стрельба утихнет и он вернется. А может, и не будут — может, у него весомое оправдание найдется. Да и как оно все закончится — кто знает?

Ясно одно — он, бычок-дурачок Русик, налетит не сегодня-завтра на пулю и тогда все для него закончится. Раз и навсегда. И совсем без разницы ему там, в темной и холодной земле, будет, заработает ли наконец Московское соглашение или война будет продолжаться "до победного конца" — то есть до победы одной из сторон, прорвутся ли грузинские танки в Гудауту или, наоборот, абхазы сумеют отвоевать и Сухум, и Гагру... А Джамал спустя годы будет, возможно, на каком-нибудь застолье соседей поднимать тост в память Русика, старательно при этом волнуясь, но в душе не сомневаясь, что он-то, Джамал, оказался в свое время гораздо умнее...

Господи, а что было бы, если б он и впрямь, как собирался, поехал в конце июля в Кизи, которые всю жизнь мечтал увидеть и порисовать? ...Ну, не пробился, значит, в Абхазию, не смог; не знал, что из Сочи в Пицунду в обход занятой грузинами

Гагры катера ходят... Но надо же было как раз в это время, в конце июля, помереть его двоюродной тетке! Как тут поедешь? Похороны, "три дня", "девять дней" — и от отпуска уже всего-ничего. Да и с деньгами туго стало... Эх, не могла протянуть эта "теханша" еще с неделю!..

Капкан захлопнулся, когда на пятый день войны появился отец: "Собирайся, Руслан. Мы формируем роту..." Почти двадцать лет уже у него другая семья, и никогда за это время особенно не пылал к Русику отцовскими чувствами, а тут сразу вспомнил. Конечно — вдруг кто упрекнет, что у него сын не воюет. "Пхашьароуп!" И вот уже три недели холостяцкая квартира Русика заперта на ключ, а сам он — здесь, "на базе". И теперь это уже не Русик — улыбчивый, приветливый со всеми молодой человек из 15-й квартиры, изредка докучавший соседям ночными пирушками с "музоном", но всегда наутро извинявшийся, поклонник группы "Аквариум" и "самодетельный художник", заядлый болельщик сухумского "Динамо" и четырехкратный годовой подписчик еженедельника "АиФ", теперь это просто безликая "живая сила".

Может, было бы легче, попади он в пицундскую группу, которая разместилась в гостинице при храме — там знакомые все же, в основном, ребята, — но попал в другую, смешанную (переходить, впрочем, уже не стоит).

Обмундирования у них не было никакого, одевались во все свое, цивильное, кто во что горазд, автоматов хватило лишь половине. Русику достались старое отцовское охотничье ружье да привычный совет: "Автомат добудешь в бою." Единственным, чем могло похвастаться их разношерстное ополчение, была расквартировка. Уж чего-чего, а санаториев, домов отдыха и пансионатов — полупустых в сезоне 1992 года, а после начала войны, понятно, и вовсе опустевших — в благословенной Пицунде хватало. Расположились в пансионате, где спали по двое в номерах с ванной, на хрустящих накрахмаленных простынях. Кормили их по высшему разряду — пока запасов хватало. Очень забавно было наблюдать, как вымуштрованная обслуга пансионата, перепуганная к тому же всем происходящим, суежилась перед вчерашними пацанами, которые со страшной гордостью таскали за плечами и на пузе "калашниковы".

Да и все остальное было бы забавно, если б вокруг не убивали. (Как-то, вставая после обильного обеда в пансионатской столовой, Русик обернулся к своему другу и соседу по комнате Дауру: "Да, кормят как на..." — и тут же поперхнулся...).

Прошел шок первых дней, и к трупам стали привыкать. Кто там из мыслителей изрек: "Одна смерть — трагедия, сто смертей — статистика"?

А если останешься жив, но превратишься в калеку? Это лучше? На днях встреченный сосед по подъезду начал рассказывать, как отвозил младшего брата в Краснодар на операцию: тот возвращался из вылазки через Гумисту и наступил на противопехотную мину. Правую ногу пришлось отрезать "по самую кочерыжку"; спасибо родственнику, который заплатил и за операцию, и за лекарства... И сколько вокруг таких историй... Огромные деньги идут на закупку оружия, которое убивает и калечит людей, и такие же деньги — на лечение раненых и искалеченных, похороны убитых. Коллективное сумасшествие — вот что такое война.

Вспомнилось свержовозбуждение после первой его вылазки. Разве это не счастье — "вернулся живым и невредимым"? Одно возвращение, второе, третье... Словом,

"сплошное счастье", каждый новый день — будто день рождения; только в какой-то момент хочется что есть мочи крикнуть: "А оно мне все это надо?"

...Русик смотрел на свою поднятую, обретающую в рассветном полумраке комнаты все более зримые черты руку. Он всегда гордился тем, что у него такие красиво вылепленные руки, длинные тонкие пальцы... Только к чему теперь они ему, к чему диплом с отличием, способности к рисованию... если не сегодня-завтра его грудь прострочит пулеметная очередь (почему-то именно именно таким представлялся ему смертный час)? И это все? Так быстро? Тогда зачем же он столько тысячелетий дожидался своей очереди родиться на Земле?

Для этого, что ли, растила Русика его бедная мать (слава Богу, хоть не суждено ей было увидеть сегодняшнего ужаса)? А что он видел? Два года в армии — считай, вычеркнутых из жизни, пять — в институте, и вот, наконец, стал самостоятельным человеком, неплохую должность в стройуправлении получил.... Он же еще ничего не успел из того, что планировал, о чем мечтал!.. Ни жениться, ни построить задуманный дом — по собственному проекту... Даже прочесть роман австрийского писателя Музиля, о котором прожужжала ему уши одна сотрудница на работе... Почему же, с какой стати он должен быть готовым ежеминутно расстаться с жизнью — он, которого любят, к которому искренне привязано так много людей?.. Сейчас в мире уже постепенно смертную казнь отменяют, во многих странах даже самых звероподобных преступников считается негуманным умерщвлять. А его... За что?!! Что же он кому сделал? Не грабил, не убивал, не насиловал... Сколько раз за эти последние дни ему хотелось закричать от безвыходности и бессмысленности происходящего: "Это ведь моя единственная жизнь!" "Жизнь человеку дается только раз, и прожить ее надо на юге", — шутил он, помнится, когда-то в студенческие годы в Москве. А оказывается, прежде всего, ее "надо прожить", просто хотя бы "прожить"...

Может, кто-то и испытывает идиотское удовольствие от игры в "русскую рулетку" — когда нажимаешь на курок револьвера и убеждаешься: на этот раз выстрела нет; но ведь это везение до поры до времени. Не лучше ли просто взять и закинуть эту страшную игрушку куда подальше? "Вам, друзья, не хватает адреналина в крови? Но это ваши проблемы. А мне вполне хватает..."

Кстати, современная война — это и есть "русская рулетка". Три мушкетера — те хоть действительно на свои отвагу, ловкость, умение фехтовать полагались. А тут... Попадешь под обстрел из "Града", накроет тебя взрывом игольчатого снаряда — и поминай как звали, будь ты хоть трижды "воjak". Ну а при том, что творится вокруг, смерть подстерегает со всех сторон. Недавно один придурок, сидя в номере, начал развинчивать противотанковую гранату (ну точно как ребенок, разбирающий новую игрушку), и его разнесло в клочья. Хорошо еще — никого рядом не было. А если б был?.. А сколько уголовщины потянулось на войну, чтобы раздобыть оружие для своих уголовных дел! За автоматами идет настоящая охота, не случайно Даур, ложась спать, кладет свой под матрас. Потому-то Русик и не переживал особенно, что ему автомата не досталось...

Нелепая война... Впрочем, разве все войны не нелепы? И, может, как раз та, на которой противники уничтожают друг друга с наибольшим искусством, и есть самая нелепая?

"Удрать, куда-нибудь удрать!" Откуда это? Ах, да... Эти строчки Русик прочел несколько лет назад в рукописи одного местного поэта — своего знакомого. "Удрать, куда-нибудь удрать! Мне оставаться здесь не нужно... Отец мой зол и небогат, мать холодна и равнодушна. Даже блаженную жену я то люблю, то ненавижу..." И сейчас первые две строки то и дело всплывали в памяти Русика, обретая в новой, трагической ситуации и совершенно новый смысл.. Да, да, "мне оставаться здесь не нужно..."

На катер до Сочи его, конечно, не пропустят, потребуют разрешения из комендатуры. Да и в любом случае засвечиваться вот так — нет никакого желания. Не говоря уже о самостреле или другом членовредительстве... В свое время Русик наслушался рассказов про то, как "косили" ребята от армии, особенно чтоб в Афганистан не попасть, но у него самого рука никогда бы не поднялась; да и стыдно какой — если все всплывет... А вот пропасть без вести в горах во время очередной вылазки, исчезнуть, раствориться — не мог он разве, убитый или тяжело раненый, свалиться в пропасть? — и вынырнуть где-то далеко-далеко, где тебя никто не знает, — это уже совсем другое дело. И — не возвращаться никогда. Начать жизнь с чистого листа. А что, верят же многие в реинкарнацию! Вот и он родится заново, только в том же самом обличье и в свои 27 лет...

Как же назывался этот фильм о дезертире, который он видел лет пять назад? Нет, названия уже не вспомнить... О том, как во время Великой Отечественной русский парень вернулся вдруг ночью с призывного пункта домой, в деревню, а любящая мать спрятала его на чердаке и кормила и поила много лет, пока жалкого, с грязной, свалывшейся бородачкой (на совесть постарались режиссер с гримером, чтоб вызвать к нему отвращение) его не извлекли оттуда доблестные "органы". Но разве можно сравнивать ту войну и — эту! Это ведь звучит только так серьезно и грозно — "всеобщая мобилизация". А на самом деле настолько все сейчас нечетко, размыто, запутано... Прежде всего, единственный сын в семье, считается, призыву не подлежит (а он что, не единственный был у матери, пока она не умерла?). Да и без этого — сколько их, умеющих всегда и везде устраиваться, зацепилось на "нестроевой"! А сколько "крутят дела" в России и считают (между прочим, вполне логично), что сидеть в окопе и нажимать на спусковой крючок может любой "чабан", а вот заработать и внести в фонд обороны кучу "зеленых" — далеко не все. Сколько, наконец, представителей той самой публики, что громче всех кричала на митингах, мигом вывезли своих великовозрастных детишек в Россию и попрытали там!.. Бог ты мой, а что, разве не мог, скажем, Русик пять лет назад, после окончания института, остаться в подмосковном городке (хорош "городок" — с населением больше сухумского), куда его направляли? И что, тоже был бы "дезертир"?.. Так нет, упросил тогда, умолил комиссию по распределению: мать больная, как ее оставлю? Да и не представлял себя, видишь ли, без Абхазии... А как-то недавно одна женщина рассказывала его двоюродной сестре Тине, что увезла своего 20-летнего сына в далекий горный поселок к бабушке, чтоб там пересидел. Даже не хватило ума промолчать, скрыть... Чуть ли не хвастая рассказывала.

Да, эта война — конечно, совсем не та, что была в сорок первом — сорок пятом. Тогда шли воевать с чуждой безликой массой, не с людьми, наделенными душой, а с

чертями рогатыми (как удачно вписался в этот образ двурогий шлем средневекового немецкого рыцаря!). Сейчас же по другую сторону "баррикады" у многих — соседи, друзья, а то и родственники. И что характерно, про знакомых грузин призывного возраста — гагрских и сукхумских, колхидских и пицундских — спешно выехавших из Абхазии, в окружении Русика говорят: "Порядочным парнем оказался... Порядок поступил". Но ведь точно так же, наверное, на грузинской стороне одобряют уехавших абхазов и клянут тех из них, кто "держит оружие". А "своих" дезертиров, соответственно, осуждают и презируют. Не все, наверное, но в основном...

Он вспомнил дом Алика Гвазава в Старой Гагре, бабушку Алика с ее высокой седой прической, ее вкуснейшее домашнее печенье и рассуждения о книге "Дети Арбата". И вот ей говорят, а она не верит: "Руслана, который бывал здесь, у нас, видели на той стороне с оружием? Этого не может быть!" Русик словно слышал этот звенящий, категоричный голос старой учительницы... С каким же сердцем и какими глазами он сможет снова когда-нибудь войти в тот дом? Ну, а разве он сам может поверить, чтобы Алик Гвазава лежал где-нибудь за мешками с песком на грузинской позиции в селе Колхида и целился в него?

Но он, Русик, не хочет целиться в Алика Гвазава — доброго, честного, искреннего, умного парнишку — и убивать его. Точно так же, как не хочет и сам получить пулю в лоб по национальному признаку.

К счастью, он пока никого еще не убил и даже не ранил, на нем нет ничьей крови. ...Вчера вечером, после ужина, привезли боеприпасы. Обладатели автоматов увлеченно набивали патронами из вскрытых цинков рожки, спаривали их, заполненные, изолентой... Да и "безлошадникам" вроде Русика кое-что перепало — кому ручная граната, кому еще что... Русику не досталось ничего, но это его совершенно не расстроило. Он не сходил с ума, как некоторые, по этим "игрушкам"; ему были чужды устремления ребят, метавшихся между Бзыбью и Гумистой в поисках оружия; маслянистый блеск металла, в котором затаилась страшная энергия уничтожения, его не притягивал, а отпугивал. И это несмотря на то, что в свое время два года отпахал в армии. А, может, и благодаря этому...

Порой все происходящее вокруг начинало казаться ему нереальным — будто смотришь какой-то фильм из чужой, очень далекой жизни. Перенестись бы сейчас назад, в свою уютную комнату, где все так привычно и мило, где на полке стоят любимые книги, где на стене висит дружеский шарж на него, нарисованный другом-художником, где в шаровидном аквариуме у окна плавают разноцветные рыбки (впрочем, аквариум он сейчас отнес соседке)... Его место там, в мирной жизни, где он силен в легкой, непринужденной беседе, в общении с женщинами, в работе за кульманом; из этого же грубого, жестокого, неуютного мира войны он выпадал, как нестандартный патрон из обоймы...

"Удрать, куда-нибудь удрать! Мне оставаться здесь не нужно..."

Даже не верится порой, что есть где-то места, где люди сейчас ездят по утрам в автобусах на работу, покупают в киосках газеты, по вечерам ходят в кино... Да, трудно нынче на "постсоветском пространстве" везде, но он готов вкалывать от темна до темна хоть посудомойщиком в самой занюханной столовке самого занюханного, глухого поселка... Все это куда лучше, чем лежать, как лежал

несколько дней назад кудрявый парнишка-армянин из села Агараки с вырванным осколком снаряда боком: ничком, сжимая мертвыми скрюченными пальцами (видно, агония была страшной) опавшие листья. Бедный Сетрак, он так никогда и не узнает содержания последних серий тележвачки "Богатые тоже плачут", которую по-женски, с придыханием смотрел в холле пансионата, не узнает, что на следующий день после его гибели их команда отправилась на вылазку в горы и проплутала там трое суток...

А тот неизвестный ополченец, череп которого раскроило осколком, — он лежал навзничь, а у его затылка по пыльному асфальту дороги расплзлась белая творожистая масса. Шок от увиденного не прошел до сих пор и породил в голове Русика мрачную шутку: "Надо хорошенько пораскинуть мозгами, если не хочешь... раскинуть их на асфальте."

А позавчера он услышал о гибели Арсена Ханагуа. Ну, этот-то рано или поздно должен был нарваться на пулю. Вот кто не просто вписался в войну, а был для нее создан... Русик помнил, как он встретился с Арсеном на той самой многолюдной свадьбе по соседству, перед войной... Когда гости уже начали расходиться и возлияния были продолжены у вынесенного во двор столика с вином и закусками, подвыпивший Арсен взяв его за руку выше локтя, склонился к нему лобастой головой и, лихорадочно блестя глазами, начал что-то сбивчиво рассказывать — про стычку с грузинами в Гагре... или возможность такой стычки на следующий день... Неважно, главное — он был весь устремлен в драчку, он "бил копытом". Вот кому явно не хватало адреналина в крови...

Ну, а что делать, если Русик — совсем другой, если ему вовсе не нужно это даруемое войной право — убивать и быть убитым?!

* * *

После подъема, умываясь, он долго, словно стараясь запомнить, вглядывался в свое отражение в зеркале. Лихорадочно блестящие, чуть припухшие от недосыпа темные глаза, тонкий нос, вьющиеся каштановые волосы, отросшая за этот месяц, как и у большинства пицундских ребят, борода ("Сбреем после победы!"). Молодой инженер-строитель и художник-любитель, две работы которого были представлены недавно на коллективной выставке в Сухуме... Да, и обладатель второго разряда по шахматам. Все! Сколько же еще времени: лет? месяцев? дней? часов? — вот это — единственное на Земле — лицо можно будет увидеть в зеркале? И где оно, в каком месте планеты, то зеркало, в котором в последний раз отразится его "физиомордия"? Может, этого зеркала еще и в природе нет? А может, оно — вот это самое, в которое он сейчас смотрится?..

* * *

Встали ни свет ни заря, а выдвигаться из пансионата начали только в десятом часу: до этого что-то все утрясали с командованием. Ну да ладно — "жираф большой, ему видней". Только вот бегать по горам в самое пекло — а день обещал быть почти полетному жарким — удовольствие ниже среднего. Среди бродивших взад-вперед, как

сонные мухи, и сидевших в холле перед телевизором ополченцев внимание Русика привлек вдруг громкий, даже какой-то нервный разговор двух пожилых работниц пансионата. Одна — маленькая, в очках в светлой пластмассовой оправе — подрезала обычно на клумбах перед пансионатом цветы, другая — большая и громоздкая, как шкаф, — убиралась на этажах. Русик приблизился к ним, чтобы понять, о чем речь, и, услышав про "Луиса-Альберто" и "Марианну", покачал головой: одна пересказывала другой содержание предыдущей серии "Богатых"... Вот что их, оказывается, в этот момент волновало! Удивительная все же идет вокруг война — та самая, на которую они сейчас отправятся на стоящем у ворот комфортабельном "Икарусе"... Сегодня, может быть, кого-то из группы привезут убитым, а эти женщины завтра будут точно так же обсуждать содержание любимого сериала. Жизнь идет своим чередом... Может, до конца сериала война и успеет закончиться? Только как быть с теми, кому не повезет до этого дожить? Как, может, и ему?

* * *

Наконец-то... Сесть, прислониться сейчас спиной к широкой серой поверхности валуна — по другую его сторону устроились еще двое, но не было ни сил, ни желания посмотреть, кто именно — и вытянуть гудящие, дрожащие ноги...

— Русик, дерни там у Таракана спички... По-братски.

После трехчасового марш-броска по горам они остановились на привал в небольшой лощине на берегу ручья. Реплика сидевшего под маленьким обрывчиком и разминавшего в пальцах сигарету смуглого прибалтненного парня — Альберт его звали, — застигла Русика в тот момент, когда он, еле волоча ноги, направился к облюбованному валуну. Ничего себе заявки... Это надо дойти до Таракана, взять у него спички, вернуться... И все потому, что Русик просто проходил мимо! Впрочем, по сравнению с обычным поведением Альберта эта реплика прозвучала почти ласково (может, тот и хотел компенсировать ласковостью свою наглость). Русик не стал ввязываться в пререкания, но, взяв у Таракана спички, бросил их Альберту на полпути к нему, метров с пяти, — такой компромисс получился у него со своей гордостью. Была, кстати, у него, некурящего, и у самого сегодня припрятана на дне вещмешка зажигалка, но, во-первых, до нее слишком долго добираться, во-вторых, если нечто подобное попадало в руки Альберту, вернуть это бывало уже трудно... Альберт прикурил и, блаженно выпустив дым, кивнул: "Саг'ол*" (* *Спасибо (тюркск.) — распространенное на Кавказе слово*), брат, не ожидал."

Подонок... Кто он был всю жизнь, неизвестно откуда прибывший к группе? Наркуша, альфонс, мелкий воришка, который уже дважды, говорят, тянул срок... И как ненавистны Русику все эти его ухватки, тупые приколы и беспардонность, с какой неприязнью смотрел он сейчас на его опущенные вниз тяжелые темные кисти рук, где все пальцы, кроме большого, были, казалось, одной длины. Во время их недавнего трехдневного блуждания по горам он уже столкнулся с Альбертом, когда тот с упоением начал рушить на дрова охотничий балаган. Зачем? Что, вокруг деревьев было мало? Но ведь громить что-то, возведенное человеческими руками,

ему гораздо интереснее. Если была возможность что-нибудь сломать, изувечить, разграбить, он этой возможности не упускал. Как-то, уже после случая с балаганом, принялся рубить инжировое дерево в одном опустелом дворе у линии фронта, в котором их группа остановилась: лень, видите ли, было влезать наверх, чтоб нарвать инжира. И на этот раз Русик смолчал, не захотел с ним связываться, за что потом себя жестоко презирал...

Что у Русика с ним общего? Ничего. Однако они в одном окопе...

Черты жестокости, алчности, бездуховности, которые и раньше проступали в некоторых знакомых Русика, густо набухли, когда началась война.

Эта война смешала в кучу на передовой всех: вчерашних карманников и милиционеров, рейсовиков и студентов, коммерсантов, совсем недавно ворочавших большими бабками, и таких "беспорточников", как Русик, активистов Народного форума и тех, кого просто соблазнила возможность получить в руки ствол... Приезжали тут на днях в пансионат двое с телекамерой, задавали вопрос: "Почему вы пошли воевать?" — и все в группе отвечали: защищаю, мол, Родину и так далее. Что ж, есть, конечно, среди них немало ребят чистых — до наивности. Ну, а если заглянуть, скажем, в душонку тому же Альберту? Он и не скрывает, если у него как следует расспросить: женат на абхазке и с абхазами в основном "кирюхал", потому и оказался на абхазской стороне. О причинах, предыстории войны и о прочем — представление самое смутное, если оно вообще есть. Ну, а если б он женился в свое время на грузинке и водился с грузинами? Да с тем же, конечно, успехом, мог попасть в грузинскую армию и с тем же азартом стрелял бы в тех, кто его сейчас окружает. И так же постоянно пьянствовал бы, искал "план" на косячок, норовил залезть в какой-нибудь склад и прихватить из занятого во время боя сельского дома что-нибудь "на память". И никакая дисциплина ему нипочем, кроме пули...

Впрочем, жизнь для него — копейка (и в самом деле, многого ли стоит такая жизнь?). Не поймает пулю на войне, так напорется чуть позже на нож в пьяной драке или будет гнить в тюрьме. Но для Русика-то его жизнь — совсем другое. Так почему он должен, по-ослиному закричав "И я! И я!", ринуться под огонь вслед за всем этим пестрым сборищем, в котором кто-то — из-за подспудного желания реализовать свои агрессивные инстинкты, кто-то — по простоте душевной, а кто-то, как сам Русик, — потому что "стыдно" не ринуться?..

Итак, решено: когда через полчаса они двинутся выбивать грузин с сопки, он займет место на фланге и в самый разгар пальбы — надо только дожждаться суматохи, ослепления боем, когда мало кто уже что-то видит и понимает — перекатится, перекантуется, переползет в соседнюю ложбину. Потом еще в одну, еще, еще... А потом, когда все это дерьмо окажется вне поля зрения — ноги в руки, вперед и вверх, а там... Нет, через главный хребет он, конечно, не пойдет — там и сдохнуть, не зная горных троп, нетрудно, и будет лежать твой "молодой красивый труп" среди снегов года и десятилетия, пока не останутся от него белые косточки... Он пойдет в обход Гагры на Аибгу, чтоб выйти к спасительной речушке Псоу в километрах тридцати от устья. А там — ищи ветра в поле, то бишь в России... Да, сейчас или никогда! "Никогда", кстати, было весьма вероятно по разным причинам. Не исключено, что не успеет он при подходе к высотке и охнуть, как

продырявит его пуля-дура и останутся все эти мечты похороненными в его черепушке. Может, оно и к лучшему?

Впрочем, героем он все равно не умрет, надеяться не надо. Героями становятся такие, как Арсен, которые рвались в бой, о которых уже при жизни шла слава. Как еще про таких в группе говорили? "У него душок есть". Слово это страшно раздражало Русика, но как им втолкуешь, что "душок" на русском языке — это то, чем пахивает, скажем, испорченная рыба... Об этих, с "душком", потом произносят громкие речи на траурных митингах, про них глупые старшеклассницы сочиняют стихи... А о нем, когда-то веселом, приветливом, жизнерадостном, а теперь замкнутом, погруженном все время в тяжелую думу, заторможенном, — будто, асфальтовый каток по нему прошелся — скажут в лучшем случае пару дежурных слов и стрелнут несколько раз в воздух... Как однажды эта скотина Альберт ляпнул, когда во время вылазки в Колхиде Иса-кабардинец хотел перебежать на другое место и крикнул Русику: "Прикрой меня!"? "Да, этот тебя прикроет — простыней в морге..."

Ну да ладно. "И псу живому лучше, чем мертвому льву." Воздавайте же свои почести Арсену Ханагуа, Русик ему, поверьте, совсем не завидует. А он будет тихо жить в каком-нибудь Верхотурьинске или Нижневартовске — впрочем, нет, он же выбрал Астрахань, — просто работать, просто ходить с девушкой по вечерам в кино и угощать ее мороженым, просто рисовать закаты над Волгой... Ну, не важно, над чем...

Сейчас главное — не подставить при атаке голову под пулю, не дать себя убить. А ранить — лучше будет? Да, раненый он, конечно, никуда не уйдет... Как дико все, что происходит! Игры с летальным исходом. Сперва они отбивали у грузин какие-то дома в Колхиде, рассеченном линией фронта пригороде Гагры, потом грузины снова занимали их, и единственным результатом всех этих титанических усилий были новые трупы с обеих сторон, да, может, еще прихваченные "трофеи" в вещмешках тех, кто успел заразиться бациллой алчности. А теперь пошли вылазки в горы, борьба за высоты, названий которых никто не знал ("Мамзышха", "Мамзышха", — рассуждали все. Но что такое Мамзышха? Как понял в итоге Русик, это целая горная гряда, которая нависла над Гагрой и состоит из множества отдельных высот и высоток). Зачем им эти лесистые склоны? Все время ходят глухие разговоры про будущее наступление на Гагру, надо, мол, Гагру отбивать. Но это же чистой воды безумие. Как абхазам можно пытаться на равных воевать с грузинами, которых больше в сорок раз! Единственное, что у абхазов до сих пор оставалось в активе, так это сочувствие мирового общественного мнения: на них напали, их теснят, и они, как могут, обороняются... Если же, рассуждал Русик, мы сейчас пойдем в наступление, то и сочувствия этого лишимся, и грузины получат в руки карт-бланш, их потом уже не остановишь...

"Подъем!" — раздался голос командира — рослого, статного, красивого парня, которому непроизвольно хотелось подражать во всем. Ну, держись, Русик!

...Они пошли в атаку, подковой охватив высоту, где засели грузины. Светло-зеленый склон с темными бородавчатыми наростами кустов стремительно приближался. Вскоре Русик, бежавший крайним справа, начал выдыхаться, как ситро. "Нет, дыхалка ни к черту, — думал он, борясь с желанием раньше времени

упасть в густую траву и затихнуть в ней. — Доберусь ли до границы с такой?.. Почему никто не стреляет?.. Пот ест глаза... Смахнуть его с бровей... Сейчас упаду... Нет, нельзя... Все вокруг в тумане..."

Наконец, с высоты заработал, кипя белым пламенем, окружая свистящей, грохочущей смертью, ствол пулемета. Бежавший рядом, шагах в двадцати от Русика, тонко, не по-мужски вскрикнул и забился на земле. До черного ужаса обожгло ожидание разрывающей грудную клетку череды пуль. "Ну, чего ты еще ждешь?" — спросил себя Русик. Он сделал еще несколько шагов, а потом, будто споткнувшись о невидимую преграду, упал, залег. Но упал живой и невредимый. Будто по заказу, справа от него начиналась неглубокая, заросшая кустами лощина.

* * *

"Ноги, ноги, ноги, ноги!" — на них только и была теперь вся надежда. Сперва Русик долго, не оборачиваясь, полз, и лишь когда уже не оставалось сомнений, что он — вне поля зрения и своих и чужих, поднялся и побежал. Иногда он на секунду останавливался, чтобы дать передых разбухшему, готовому разорваться сердцу, и тут же снова гнал себя вперед: ведь каждые лишние десять метров — это были десять метров, приближавшие его к свободе и жизни.

И потом, перейдя на шаг, оглянуться назад впервые посмел только через километра два пути.

От места боя он двинулся на север и до заката успел преодолеть две речушки и большой лесной массив. Спал в лесу, под разлапистой елью, еловыми же лапами выстлав себе ложе и накрывшись ими. Задубел под утро, насилу дождался рассвета. И с первыми лучами солнца, ориентируясь на северо-запад, зашагал вперед.

Несмотря на почти бессонную ночь, сердце так и пело: неужто удалось почти невозможное, неужто он вырвался из этого ада? Бодро стуча по земле выломанной в лесу палкой, вполголоса напевал: "Долго я тяжкие цепи носил, долго бродил я в горах Акатуя... Шилка и Нерчинск не страшны теперь, горная стража меня не видала. В дебрях не тронул прожорливый зверь, пуля стрелка миновала..." Потом переходил на протяжное абхазское "Ауарды-ын, са суарды-ын...", вспоминал вдруг взявшееся откуда-то из детских лет "Тилибом-бом-бом, тилибом-бом-бом... Быстро с гор побежали ручьи..." А также "Ведь это наши горы, они помогут нам..." Потом начинал декламировать: "Был побег на рывок — наглый, глупый, дневной, — вологодского — с ног и — вперед головой"* (* *Стихи Владимира Высоцкого. "Вологодского" — здесь "охранника"*).

По всем расчетам идти до российской границы ему было не больше километров сорока. Если по ровному шоссе топтать — за полдня бы добрался. Но перед ним расстилалось далеко не шоссе — в лучшем случае травянистые откосы, в худшем — лес или россыпи камней. Впрочем, нет, самым худшим, конечно, были заросли ежевики, пробраться сквозь которые, не имея топора, не представлялось никакой возможности; исколовшись пару раз до крови, Русик стал обходить на всякий случай любой кустарник. Спешить он особо не спешил, предполагая, что к вечеру, с учетом пройденного накануне, к Псоу все же выйдет. Главное — не забрести совсем в другую сторону; и он постоянно сверял путь по компасу. Единственное, что его,

пожалуй, торопило — это голод. Остатки сухпайка быстро закончились, и остались только дополнительно прихваченные сухари. Время от времени он их жевал, размочив в студеной воде речек, пересекавших путь. Ну, а вдруг еще день придется идти? Ружьишко по-прежнему болталось за спиной, но охотник из него, честно говоря, был никакой. Да даже если б какая-то дичь сама сдуру выскочила на него, стрелять бы наверняка не рискнул, боясь привлечь человеческое внимание. Любую двуногую тварь, сразу решил он, на каком бы языке она ни говорила, сейчас, до Псоу, следует обходить за километр.

Карта у него была — купленная когда-то в книжном физическая карта Абхазии с масштабом "в одном сантиметре четыре километра". Судя по всему, оставшаяся еще вчера позади и справа снежная вершина — это и есть гора Арабика, вторая по высоте точка Гагрского хребта, отмеченная цифрой 2696, а пройденная вершина слева — это безымянная высота 1642. Значит, ему надо двигаться вперед держась юго-западных склонов Гагрского хребта и стараясь не забрести в самые дальние от моря поселки Зегани, Багнари и Цаблиани. "Всю топонимику огрузинили, — с досадой плюнул Русик, рассматривая карту во время одного из привалов, и подумал: "Да, мне это неприятно, потому что я был и остаюсь абхазцем. Но стрелять из-за этого в грузин не хочу и не буду".

От чего тут трудно было умереть, так это от жажды. Выходя к берегу очередной kloкочущей по белым камням речушки, Русик обычно выбирал удобное место, ложился ничком и пил маленькими глотками. Потом подолгу лежал, опустив в ледяной поток пылающее лицо, играя ладонью с упругими плотными струями — то пуская, то не пуская их вперед, и они бились у него в руке как холодные верткие рыбки; потом наполнял флягу, из которой предварительно выплескивал остатки старой, согретой солнцем воды.

Душа восторгалась, когда он оглядывался вокруг, и еще больше восставала против людишек, упертых в свои амбиции и отнимающих друг у друга и у него пытавшихся отнять эту красоту. Сюда бы ему сейчас еще краски... Однажды во время привала даже сделал в блокноте карандашные наброски тех видов, которые ему открывались: курчавые, как голова негра, холмы, первобытный хаос валунов, навороченных на берегу реки, скошенные лошадиные зубы обнаженных скальных пород над ней... А еще он ругал себя за то, что не знает названий всех этих лиловых, желтых, белых цветков, которыми пестрели под ногами луга, и давал себе обещание обязательно узнать их или из книг, или у сведущих людей (хотя, погрустнело на душе, путь сюда, в Абхазию, ему уже навсегда заказан).

Но по мере того, как солнце клонилось к закату, на сердце у Русика становилось все беспокойней: никакой реки, похожей на Псоу, он к вечеру так и не успел достичь. К тому же так натер большой палец правой ноги, что уже не мог идти. Пришлось снова заночевать — на этот раз в копнушке сена, заготовленной кем-то из местных крестьян.

Ночь была очень ясной и звездной, и перед тем, как заснуть, он долго и с величайшим удовольствием разглядывал небесный купол. Яркий месяц казался ему то желтым бананом, то челноком в море, который тянет за собой звездную сеть, то медной пряжкой на украшенном драгоценными камнями плаще античного героя. Потом он нашел Сириус — звезду абазина, как называют его абхазы. Кстати,

недавно Русик поинтересовался у ребят из абазинской группы, которые располагались рядом, в соседнем доме отдыха, а как же сами абазины называют эту звезду. И оказалось — звездой... армянина. Суть же легенды в обоих случаях одна. Шел путник (неважно, абазин то был или армянин) в горах и, ложась спать, чтобы не заблудиться, запомнил ориентир — вот эту самую яркую звезду небосвода. Но пока спал, звезда сильно сместилась на небе, и, встав и отправившись в путь, он, конечно, заблудился и сгинул...

Между прочим, шевельнулась мысль, еще не поздно повернуть назад. Вышел бы к своим: так и так, оглушило, упал, потом все это время проплутал в горах...

Большинство бы поверило, еще б и прославился... в местном масштабе, конечно. Но нет, неслучайно он все последние недели вынашивал этот план. Именно так — исчезнуть в "кибер-пространстве". Другого выхода из этого тупика для него не было. И можно ли его назвать дезертиром в классическом смысле этого слова?

Неужели он похож на того жалкого, с бороденкой, из фильма? Что лежит в основе его поступка: тривиальная трусость или осознанный нравственный выбор? Вот под этим самым звездным небом можно было сейчас не спеша подумать и попытаться честно ответить себе на все вопросы — чтобы не шевелился больше в глубине души мерзкий белый червячок сомнения.

* * *

Русик с детства старался избегать драк — хотя никогда не относился к тем, кто способен постоять за себя только на коленях. Хиликом и задохликом не рос, при случае мог помериться с ровесниками силами, побороться где-нибудь на лужайке и нередко при этом выходил победителем. Но вот драки ненавидел: пускать в ход кулаки всегда казалось ему удивительной глупостью. Ну, поставят тебе синяк под глазом, ну, будет он болеть и привлекать совсем не нужное внимание окружающих, да еще родители за него добавят — неужели все эти малоприятные вещи может перевесить чувство удовлетворения от того, что у твоего противника фингал еще больше? Да Господь с ним, пусть и у него не будет фингала, лишь бы у меня не болело! И правоту свою кулаками все равно не докажешь... Так вполне логично рассуждал Русик в детские годы — и когда жили они в селе Лдзаа, и учась до восьмого класса в Гантиадском интернате, и после того, как матери дали квартиру в Пицунде и он стал ходить в поселковую школу — через дорогу. Но далеко не всегда его оппоненты разделяли это убеждение, в результате чего к нему изредка случалось и "получать", и "давать сдачи". Но больше всего его возмущала абсурдность коллективных драк, из разряда "стенка на стенку", как, например, когда однажды пацаны с его двора ходили выяснять отношения с приезжими из пионерлагеря. Пришлось "из чувства товарищества" принять участие в этом деле и Русику, в результате чего в поликлинике ему зашивали рассеченную бровь. И из-за чего, спрашивается, все? Из-за того, что один болван с его двора не поделил чего-то с другим болваном, из пионерлагеря... После этого Русик дал себе слово не влезать больше ни в одну бодаловку.

Но тогда-то над его ровесниками довлело лишь пресловутое "чувство товарищества". Учителя же в школе, родители дома и все так называемое

общественное мнение не только порицали, но и категорически запрещали подобные подростковые развлечения.

А потом уже начались национальные дела. Русик всегда их чурался: хотя бы потому, наверное, что с детства самые близкие товарищи его оказывались из грузинских семей. (Да и когда стал взрослым, ему не приходило в голову подбирать друзей исходя из их национальности.)

После событий 78-го года — Русик тогда еще пацаном был — национальное в драках проявлялось разве что так. Останавливают пицундские ребята "подозрительного" отдыхающего с курорта: "Который час?" "Столько-то". "Это какое время — московское?" (тогда час разницы был). "Нет, тбилисское". "Ах, тбилисское!" (в Абхазии везде говорили: "местное") — и возьмут его отбучают...

В 89-м несколько знакомых абхазских ребят, ездивших в Сухум протестовать против раздела университета, попали там в известную июльскую переделку, где погибло больше десятка человек. Пицундским ребятам основательно намяли бока, одному рассекли деревянной штакетиной лоб, другой получил ножевое ранение, после чего незамедлительно стал героем поселкового масштаба. Вот тогда так называемое общественное мнение уже разделилось: если официальная пресса и партийное начальство придерживались "скорби и осуждения экстремистов с обеих сторон", то на неформально-митинговом, семейно-бытовом и даже школьно-педагогическом уровнях царили негодование против "чужих" и слегка конспирируемые гордость и восхищение "своими" участниками столкновений.

Ситуация, в общем, была уже куда круче. Вспомнить хотя бы, в какой переплет в том же, 89-м, попал эшерский председатель сельсовета... После 9 апреля грузины решили увековечить память жертв тбилисских событий и возвели им мемориал при въезде в Сухум. А разрешение давал именно этот председатель — абхаз. И не мог ведь не знать, что абхазам это очень не понравится: пусть, говорили, свои мемориалы они ставят у себя в Грузии... Но там вроде бы еще и кое-какие другие обстоятельства были... В общем, после одного очень жесткого разговора абхазов, в том числе и родственников его, с тем председателем, он застрелился.

(Корреспондент московской газеты, не удосужась уточнить, написал: "Полез в петлю".) Естественно, все это обсуждалось и комментировалось тогда в разных компаниях по-разному.

Но все это, как впоследствии оказалось, было цветочками. В то время Русик, молодой специалист и кандидат в члены КПСС, еще вполне мог присоединиться к малочисленному, но тем не менее реально существующему лагерю, разделявшему официальную точку зрения, — что он и сделал. В абхазских компаниях он с искренней заинтересованностью рассуждал о перспективах государственности Абхазии и с беспокойством — о набирающем силу в Грузии национал-экстремизме. А встречаясь с приятелями-грузинами так же искренне — о том, что разумные люди всегда могут договориться не доводя дело до кровопролития, ну и, конечно, на другие, нейтральные темы — об искусстве, литературе, спорте... И ему при этом не надо было кривить душой, потому что все вместе взятое отнюдь не противоречило друг другу.

Да, таковы были убеждения, которые он никогда не скрывал: со всеми окружающими можно и нужно ладить, ибо нет совершенно неправых людей, у

каждого человека есть своя правда и с каждым следует находить общий язык. ("Ты хочешь быть хорошим для всех", — упрекнул как-то его один знакомый, и Русик согласился: "Да, хочу".) "Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как улыбка" — кто с этим будет спорить? Ну, а доброе слово? Несколько лет назад Русик запоем прочел Дейла Карнеги — "Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей" и подумал: вот, может, самая нужная на Земле книга, вот что надо издавать и заучивать наизусть по всему миру, как в Китае издавали и заучивали цитатники Мао. Как все ясно и просто! "Вместо того, чтобы обвинять людей, попытайтесь понять их"... "Проявляйте интерес к их проблемам"... "Не спорьте"... Ну, что в самом деле за смысл сшибаться с каким-нибудь грузином в споре на историческую тему и доказывать ему, чья это земля? Можно иметь свое мнение, но зачем лезть на рожон, вызывая в ответ только злобу?! Ты ему все равно ничего не докажешь, потому что ему не выгодно становиться на твою точку зрения. Все равно для него Пицунда — это Бичвинта* (* *Грузинское название Пицунды*), и ничего тут не поделаешь. Так не лучше ли попросту сменить тему и поговорить, скажем, о перспективах выступления сборной СНГ на Олимпиаде в Барселоне?

Кстати, с одним гагрским грузином, другом Алика и заядлым болельщиком, Русик даже заключил пари на бутылку дорогого коньяка: тот доказывал, что сборная СНГ не поднимется на Олимпиаде выше седьмого места в неофициальном зачете, а Русик — что поднимется. Сборная СНГ заняла первое место, и Русик предвкушал встречу с тем грузином, но... А с полмесяца назад дошел слух, что его, кажется, убили во время очередной перестрелки в Колхиде.

...Смрадная когтистая лапа войны вырвала Русика из самого что ни на есть состояния кайфа, блаженной курортной расслабленности. Утро 14 августа запомнилось ему как "брызги шампанского": случайно оказался в компании знакомых раскрученных ребят-кооператоров и нескольких молодых курортниц и прочно засел с ними в знаменитой пицундской "Яме" — очень популярном в последнее время открытом кафе "Апсара" в центре поселка. Столики под цветастыми тентами — они стояли за узорчатым металлическим заборчиком на бетонном покрытии примерно на полметра ниже уровня земли — были заполнены почти как в прежние годы карнавального курортного буйства... И вот там-то и застала их весть, что к Сухуму движется грузинская бронеколонна. "Яма" быстро опустела, о продолжении курортных знакомств не было уже и речи...

Знакомые абхазские ребята сбивались в стайки и уезжали в Сухум держать оборону у Красного моста. На следующий день грузинский морской десант высадился за Гагрой, в Гантиади — хотя вооруженный чем попало абхазский отряд и попытался ему помешать. Двое парней из этого отряда, которые представляли пицундскую группу, оказались с огнестрельными ранениями в горбольнице. Один из них был ранен в мошонку и ему, говорят, собирались ее ампутировать...

Тот овражек, та вымоина, что образовались когда-то между местными грузинами и абхазами, вмиг превратилась в расщелину, пропасть. Эта расщелина, словно при землетрясении — точь-в-точь как в кадрах из английского фильма "Миллион лет до нашей эры" — все ширилась и углублялась, и чтобы не ухнуть в нее, люди, до этого мешкавшие посередине, поневоле ринулись пополнять две большие толпы по обе ее

стороны. Третьего было не дано. Вот и Русик, когда материализовался из долгого небытия его папаша, пришлось незамедлительно делать выбор: кем быть — патриотом или трусом и предателем.

"Война, — вывел формулу Русик, — это грандиозная драка с обилием смертельных исходов и моральной невозможностью от этой драки уклониться."

Война... Первое время, пока не привык, слово это перекатывалось им во рту с осторожностью и опаской, как кусочек слишком горячей пищи: ну, какая там "война", назовем происходящее инцидентом, столкновением, заварушкой; но потом, после того, как линии фронтов определились и затвердели, стало ясно — а что, война и есть война.

Русик, как, наверное, и большинство его сверстников, рос в уверенности, что "война" — это нечто принадлежащее истории, и со снисходительным сочувствием думал о предыдущих поколениях, когда люди в силу своей еще недостаточной разумности не могли прожить жизнь не занявшись истреблением друг друга. Хотя иногда страх и подступал... Как-то, когда заканчивал школу, ему приснился сон: война — разумеется, третья мировая — все-таки началась. Снилось ему, что он стоит на озаренной ранним солнцем улице, в хвосте длинной очереди получивших, как и он, повестки о мобилизации, разновозрастных мужчин — и так же, как все они, время от времени прислушивается к гремящему сверху репродуктору. Война, понимал он во сне, развернулась не простая, а ядерная. И никуда ему не деться от выполнения "почетной обязанности" — становиться пушечным, то бишь ядерным мясом. Сердце сжимается — это конец всему... И что можно было сравнить с облегчением, которое испытал, проснувшись и поняв, что это всего только жуткий сон!.. Нет, война в наши дома уже никогда не придет, только где-то там, в джунглях и пустынях... С такой уверенностью и солдатскую лямку тянул, не поступив в институт сразу после школы. И армейская служба внушала ему отвращение не столько из-за физических тягот и "дедовского" гнета, сколько из-за постоянного осознания бессмысленности, никчемности того, чем он занят, — и вместе с ним миллионы других "служивых": это же сколько сил, средств, времени тратится на подготовку к тому, чего никогда не будет!

И все же, наверное, каждому поколению написано на роду испробовать своей войны. Только в реальности опасность, как в "Песне о вещем Олеге", подстерегала совсем с другой, неожиданной стороны, отнюдь не из-за Атлантического океана... Старый толстый мегрел Мелитон Кантария, юным пареньком водрузивший знамя победы над рейхстагом, даже брякнул, говорят, лет двадцать назад, выступая по сочинскому телевидению: "Если надо будет, мы и над Белым домом его водрузим"... А оказалось-то — вот откуда война пришла — из-за соседней реки Ингур, с исторической родины Мелитона...

Почему же, размышлял Русик, происходят — и в будущем, несомненно, будут происходить — все войны? Да потому, что снова и снова на Земле рождаются люди с ярко выраженным агрессивным началом, у которых эмоции преобладают над разумом. Вот такие, как Бондо и Шалико...

Эта история приключилась с двумя его соседями (оба, кстати грузины) лет десять назад. Никогда не считались врагами, почтенные отцы семейств, а тут вдруг какая-то муха обоих укусила: слово за слово — а были они в подпитии — и Бондо ранит

Шалико ножом, а тот бежит домой, заряжает двустволку и убивает Бондо выстрелом наповал. Минутное затмение разума — и один в могиле, а другой до сих пор еще из тюрьмы не вышел. Но эти двое только себя и свои семьи наказали. А вот когда начинаются более крупные дела, начинается политика...

Сколько раз приходилось Русику становиться свидетелем таких сцен: собрались, чтоб обсудить важные дела, двести, триста разумных, сдержанных людей, но стоит попасть туда двум-трем-четырем "заполошникам" — все, собрание превратилось в базар, ничего не поймешь, все уже переругались...

Да о чем говорить, если едва ли не самой лестной характеристикой в среде, где рос Русик, считалось: "Он заднего хода не знает."

Недавно в группе со смехом пересказывали анекдотичный случай, который в медсанчасти на Гумистинском фронте был. Там приняли на довольствие одного парня с "УАЗиком". Малый этот, когда его брали, заявил: "Только чтоб вы знали — я заднего хода не имею." Ну ладно, раз ты такой храбрый... И вот едут в самое пекло вывозить раненых, а водитель снова: "Я заднего хода не имею." Ну, хорошо, хорошо... Говорят ему: "Давай туда". Заехали в какую-то котловину, откуда надо задним ходом выбираться, а он: "Ну вот, я же предупреждал, что у моей машины задний ход не работает." Мораль сей басни: машина такая считается неисправной, а человека почему-то превозносят...

Конечно, таких людей в обществе меньшинство, но они обладают способностью наэлектризовать остальных и повести... Куда? Ну, ясное дело, вперед за орденами! Что же будет дальше? А что, разве не ясно? Грузия эту землю, если в нее вцепилась, уже не отпустит. Да, конечно, это исконная земля абхазов, на эту тему спорить нечего, но ведь реальность такова, что грузин здесь уже в два с половиной раза больше. Предположим даже, что каким-то чудом абхазы сейчас возьмут верх. Только ведь все те же грузины останутся среди нас. Значит, жди нового столкновения! То есть эта кровавая каша будет тянуться годы и десятилетия. А если грузины сразу сумеют нас подмять, то... вон какие страшные вести доходят из-за линии фронта. А как в свое время, после разгрома Парижской Коммуны, на кладбище Пер-Лашез расстреливали коммунаров? Руки в пороховой гари — к стенке! ...В общем, куда ни кинь — "ловить" ему в Абхазии нечего, жизни тут все равно не будет.

Жалко ли расставаться с Абхазией вот так, раз и навсегда? Конечно, жаль. Какая грусть охватывает при мысли, что никогда уже он не пройдет по тротуару, круглый год покрытому рыжим ковром из опавших сосновых иголок — тому, что ведет из центра Пицунды к их пятиэтажкам! Никогда не увидит будто грубо стесанный плотником зеленый горбыль — берег моря у рыбзавода, каким он видится от пансионатов. И квартиру жалко терять — не шикарная, но все же... И друзей... Алика, Сатбея, Гену... Славика Хеция, с которым, забывая все на свете, они могли дискутировать часами... Но, в конце концов, когда-то их у него не было. Алик, тем более, все равно по ту сторону линии фронта, и кто знает... Да что говорить, будет новая жизнь — будут и новые друзья. Родственники?.. С семьей отца и родичами по отцовской линии он общался мало. Мать умерла два года назад. Самые близкие — это, конечно, ее брат, дядя Жора, и двоюродная сестра Русику, Тина, дома у которой он дневал и ночевал. Ну что ж, пусть думают, что он "пал смертью храбрых"... И

вообще, в Америке, он читал, большинство людей всю жизнь колесит из штата в штат, и это считается нормальным явлением: что на одном месте засиживаться? Диана... Да, вот Диана... Ну, что, она же не официальная его невеста: и он, и она, считалось, "думают"... Конечно, Диана прекрасная девушка — милая, спокойная, доброжелательная. Непросто ему будет забыть это нежное матово-розовое лицо с золотистыми песчинками веснушек... Тоже "колированная абхазка": дедушка по материнской линии молдаванин, бабушка полька — но воспитанная во всех абхазских традициях, согласно всем устоям. Впрочем, эта ее "правильность" — то Русика и смущала... Несколько дней назад он заезжал к ней, а позавчера вечером она с подругой навестила его в "казарме". В общем-то, реакция ее на происходящее была самая естественная, нормальная, адекватная: конечно, и страх, что Русика могут убить, но и, конечно, гордость, что он "оказался мужчиной". Убьют его — будет долго и искренне горевать, но в конце концов выйдет замуж за кого-то из оставшихся жить. А если не убьют, а покалечат? Что, согласилась бы всю жизнь катать его в инвалидной коляске? Может быть, и да — она такая. Но перспектива стать объектом подобной жертвенности для Русика была, пожалуй, еще более невыносимой, чем перспектива остаться со своей инвалидностью одному. Ладно, что он о какой-то инвалидности?..

А что до "трусости"... Он лучше умер бы, но не показал себя трусом и паникером в бою. Есть такие — перед боем храбрятся, а как доходит до дела, со страху делают под себя и могут всю группу подвести, товарищей погубить. Но трусость и страх перед смертью — это разные вещи. Смерти не боятся только дураки да "пофигисты", вроде Альберта. Русика же страх смерти в последние недели преследовал неотступно. Точнее, нет, не страх, а... тревожные мысли, что он делает что-то ужасное "не то" и надо срочно выходить из игры.

Маленьким мальчиком он читал книги о пионерах-героях Великой Отечественной. Была, помнится, в доме такая — крупноформатная, на обложке — красный галстук зацепился за колючую проволоку и развевается на ветру... И Русик верил: в решающий миг, "момент истины", он ни за что не сдастся, выдержит все пытки врагов и останется в памяти людей героем! Только жизнь оказалась гораздо сложнее детских книг, жизнь каждый раз заставляет задуматься, подсовывает сомнения в истинности того самого "момента истины"... "Раньше думай о Родине, а потом о себе!" — внушали ему со всех сторон. И сам он когда-то, в классе четвертом громко декламировал со школьной сцены стихи Мусы Джалиля: "Умереть — так только за Отчизну. Жить — так только Родиной дыша". Только где та Родина? Ее уже почти год не существует, к тому же, как в последние годы выяснилось, она была "империей зла". А новая... Одни хорошие ребята, его друзья и знакомые, считают, что это Абхазия, другие — что Грузия...

Да и не ложь ли это, не гигантский ли, вселенский обман — и тем более опасная и коварная ложь, что в нее трудно не поверить — "Раньше думай о Родине..."? А, может, все наоборот, и мир был бы куда счастливее и не текли на войнах потоки крови, если бы каждый человек не о величии своего государства и амбициях нации думал, а исключительно о себе и своей семье? Мы заклеили как слова из фашистского гимна "Германия превыше всего!", но "Раньше думай о Родине" — это ведь примерно то же...

Один хороший, скромный паренек из группы "Эвкалипт" с гордостью сказал недавно Русику, что уложил за этот месяц троих. И даже зарубки показал на прикладе АКМ — в честь этого сделанные. Но в том, что споткнулся он перед словом "уложил", не решился произнести "убил", была какая-то загвоздка. По логике ненависти и войны один уничтоженный враг — это уже оправдание собственной возможной гибели, это уже не проигрыш, а в самом худшем случае 1:1 на личном счету... Только странно: какое же это приобретение для него, Русику, если не стало Гелы, того самого, с которым они спорили о Барселонской Олимпиаде? Ведь так живо представлялись Русику похороны Гелы — как это было бы, погибни тот при иных обстоятельствах. Вот они с Аликом поднимаются в квартиру Гелы посочувствовать его родным, вот сокрушаются вместе с другими, стоя у подъезда: у покойного жена осталась, две маленькие девочки... Вот он и вышел из игры. Не из-за трусости, а по убеждению. Не желая участвовать в очередном человеческом безумии. Хватит с него и рассеченной по глупости когда-то в детстве брови... Так думал Русик, засыпая в копне сена.

* * *

Третий день скитаний по горам оказался самым тяжелым. Прежде всего, на окраине какого-то сельца, уже в виду речки, которая очень даже способна была оказаться Псоу, он наткнулся на вооруженных людей. Точнее, сперва с расстояния метров в пятьсот его увидел один, безоружный, и бросился в стоявшую поблизости хибарку. Но к тому времени, когда он появился на пороге со своим товарищем, вооруженным автоматом, Русик уже успел нырнуть в заросли папоротника, которые простирались аж до самого берега речки.

Двое долго всматривались в окружающий ландшафт, но идти на поиски подозрительного им явно не хотелось. Надеясь, что Русик сам как-то себя обнаружит, они уселись на пороге хибарки и закурили. Русик пролежал, боясь пошевелиться, в зарослях папоротника два часа, а показалось ему — не меньше суток. Эти двое, как решил он, были приставлены наблюдать за подходами к селу и поэтому явно никуда не спешили.

...Близко, у самого лица — солнечная былинка, по которой по каким-то неотложным делам ползет накачанный, как культурист, муравей. И дальше — целый сумрачный мир, переполненный снующими туда-сюда букашками, которым нет дела до его проблем. Давно, очень давно, может, с самого раннего детства, не вглядывался Русик так пристально в этот мир, а сейчас, вспоминая и заново узнавая его, он молил природу спасти и защитить его, не выдавать на смерть и поругание.

Русик поверил в судьбу, или, как писали в старинных романах, в Провидение, когда налетевший ветер нагнал вдруг на небо тучи, которые не замедлили разразиться ураганным ливнем. Двое его сторожей улепетнули к стоявшим на взгорке домам, а Русик не замедлил ринуться к реке.

Переходить ее, да еще под таким дождем, оказалось делом жутким. Один раз его понесло течением, и он чуть не взвыл от отчаяния. Наконец, похожий на мокрую мышь, Русик выкарабкался на правый берег. Дальнейшее могло показаться самым

легким: иди себе вниз по течению, пока не выйдешь к Черноморскому шоссе. Но Русик очень не хотелось нарываться на российских пограничников, да и не было у него никакой гарантии, что преодоленная река — Псоу. Поэтому он двинулся дальше по тем же лесным и горным дебрям, единственное что — скорректировав направление своего пути к югу.

Дождь переставал и снова начинал идти с убийственной периодичностью — каждые полчаса по пятнадцать-двадцать минут: будто натянутая вверху темная шаль туч вновь и вновь набухала влагой и кто-то невидимой, но могучей рукой терпеливо выжимал ее на землю.

Пару раз он переждал дождь под деревьями, но потом понял, что этак ему снова придется заночевать на природе. И дальше шел уже не останавливаясь — грязный, валившийся с ног от усталости — бормоча сквозь зубы: "Выжить, выжить..."

После полудня небо заголубело, и даже стало припекать солнце. А когда он увидел, что прямо перед носом заходит ж площадку самолет, и понял: это Адлерский аэропорт — сердце его взорвалось от радости.

Оставалось решить, что делать с ружьем. Был соблазн попытаться толкнуть его где-нибудь на сочинском рынке, но в очередной раз Русик решил не рисковать и не вызывать своей особой лишние вопросы. Тем более душу давно уже грел сценарий этого мини-спектакля — поднять ружьишко над головой двумя руками и швырнуть его в заросшую папоротником ложбину: "Прощай, оружие!"

* * *

На сочинский автовокзал автобус прибыл около пол-пятого вечера. Залпом выпив стакан ядовито-зеленого ледяного сока у лотка на углу (даже в горле запершило), Русик направил свои стопы в сторону рынка, возле которого, как ему объяснили, была баня. Сочи он знал слабо, бывал здесь до войны всго несколько раз. И сейчас, впрочем, не собирался задерживаться в этом городе: встретить кого-то знакомого из Абхазии в сегодняшнем Сочи было куда проще, чем в горах над Гагрой. Еще в автобусе он пересчитал всю имевшуюся у него рублевую наличность и решил: все эти восемьсот рублей с мелочью пойдут на "возвращение к цивилизации" в Сочи, а на дорогу в глубь России он истратит заветные 50 долларов, запрятанные под обложку паспорта.

"Возвращение к цивилизации" прошло как по нотам, как ему и мечталось все эти дни и ночи. Заглянув в баню и удостоверившись, что свободных душевых кабинок навалом, отправился в расположенный в сотне метров от нее универсам, где на втором этаже отоварился розовым глицериновым мылом и прочими банными принадлежностями. На первом, продуктовом этаже были приобретены и засунуты в полиэтиленовый пакет: 300 граммов самой дорогой, сырокопченой колбасы, свежий батон, бутылка пива, бутылка сливок и батончик "сникерса", которого Русик к стыду (иногда почему-то переходившему в гордость своей уникальностью) ни разу в жизни еще не пробовал.

И вот он, наконец, встал под горячие струи душа и увидел, как по его измученному, изломанному трехдневной ходьбой телу стекает темными струйками грязь. Тело

задышало, его словно окатило волной наслаждения, но Русик поторопился выйти из-под душа и присесть на каменную лавку в крошечном предбаннике номера. Здесь его ждали заранее нарезанная аппетитными — не слишком толстыми и не тонкими, а в самый раз — кружками колбаса и открытая о металлическую ручку двери бутылка пива. Зубы впивались в плотную пружинистую темно-красную с белыми крапинками плоть колбасы, вкусовые сосочки языка не спеша смаковали ее — твердую и одновременно сочную, солоноватую и маслянистую, похожую на спрессованную донельзя паюсную икру. Затем следовал кус свежайшего, будто воздушного белого батона и долгий глоток холодного пива. И — снова в той же последовательности. Съев половину колбасы и оставив еще один ее кружок дотаивать во рту, он шагнул под душ. Это было уже наслаждение в квадрате — пережевывание истекавшей своими соками концентрированной вкуснотищи и осязание того, как под горячими струями открываются все поры кожи. На этот раз он уже яростно прошелся по плечам, предплечьям, груди, впалому своему животу намыленной мочалкой, плеснул на темя и растер щедрую пригоршню шампуня... "Ну что, герой Ханагуа, тебе там лучше?" Господи, вот она, жизнь, вот всего лишь маленький кусочек этой самой жизни — не какой-то там "звездный час", а тривиальное ублажение своей грешной плоти. А сколько еще загадочного и непредсказуемо-прекрасного таит она, будущая его жизнь! Ну и пусть не станет он большим художником, пусть, допустим, не станет даже просто художником — в любом случае впереди столько простых радостей жизни: любовь, семья, отцовство... И все это они — Ханагуа и прочие — хотели отнять у него! Но если, друзья, вы имеете такой хош прыгать с десятого этажа, то это ваши проблемы, а других-то зачем за собой тянуть?

Потом он с удовольствием сбрил свою поганую — редкую, рыжеватую с красным отливом, в общем совсем не шедшую ему бороду — заодно с усами. Потом, сорвав фольгу с горлышка бутылки, короткими глотками, не спеша пил сливки (давно, ох давно их не пивал, в Абхазии в магазинах он их сроду не видел) и закусывал батончиком "сникерса". "Сникерс" Русику понравился. Он протер запотевшее зеркало, вмурованное в стенку "предбанника", и ел "сникерс", поглядывая в это зеркало и сравнивая себя с тем самым парнем, которого часто видел до войны в телевизионном рекламном ролике. Рекламный поедатель "сникерсов" — сперва будто оторопевший, увидев их в магазинной витрине ("так вот что мне было нужно!"), а затем смачно откусывающий от зажатого в кулак батончика — был отнюдь не красавец — скуласт, губаст, темноват лицом, разве только широкоплеч, но как раз тем, что он обыкновенный "парень из толпы", и должен был, наверное, подкупать. Вот и Русик станет таким "парнем из толпы" — ничем особо не примечательным, но знающим себе цену, одним из многих, но для кого-то конкретного самым дорогим и любимым. И, кстати, к счастью, он не наделен характерными внешними чертами "лица кавказской национальности", а значит, не будет привлекать излишнее внимание ни в Астрахани, ни в Саратове, ни в каком-нибудь Вышнем Волочке...

* * *

Его все умиляло. И отсутствие очереди к окошку железнодорожной кассы на вокзале. И спорая работа миловидной белокурой кассирши (взяв билет, не удержался от игривого пожелания: "Спасибо большое, девушка. Дай вам Бог хорошего любовника!"). И даже горестная надпись на дверце кабинки платного туалета, куда он зашел поздно вечером, за полчаса до прихода своего поезда:

"Я сижу на толчке и горько, горько плакаю:
Почему так мало ем и так много какаю?"

* * *

В последние годы Русик отвык ездить на поездах: авиабилеты были относительно дешевы, и тащиться, скажем, до Москвы день и две ночи на поезде вместр двух часов лета стало ему, как и многим, казаться глупейшим занятием. Но теперь он с радостью предвкушал путешествие по железной дороге, будто заранее видя на перронах теток с горячей, присыпанной укропом вареной картошкой в целлофановых пакетиках и ведрами яблок; маленькие дощатые домики у шлагбаумов; застывших, как изваяния, рядом с ними зрителей в оранжевых жилетах с полосатыми жезлами в руках; отблески путевых огней на ночных вокзалах...

До Астрахани добирался с пересадкой в Ростове-на-Дону.

В обоих поездах соседи по купе (ну, "купе" — это условно говоря; чтобы сэкономить деньги, Русик взял плацкартный билет) не раз менялись. Попадались среди них и весьма разговорчивые, но он сразу отсек себя от возможного участия в их дорожных беседах, забравшись на верхнюю полку и за весь день спустившись с нее несколько раз. Меньше всего его увлекала сейчас перспектива отвечать на почти неизбежные в таких случаях вопросы "откуда да куда?" и "как там у вас?" Ночь спал как убитый, днем или читал газеты, или дремал, накрыв лицо газетным шалашиком, или делал вид, что дремлет.

Да, когда ехал до Ростова, сходил в битком набитый вагон, оборудованный под видеосалон: потянуло с чего-то на крутой боевичок — этакий, чтоб пахло кровью и спермой. Что ж, на экранные страсти-мордасти смотреть — совсем другое дело...

Говорят, что все эти боевики выполняют полезную функцию, помогая людям "сбросить" агрессивное начало в себе. Возможно, возможно... Ну, а по Русику — это еще и лишнее напоминание: достичь того, чего достиг экранный супермен, пройдя через немыслимые опасности, то есть остаться в живых, можно и гораздо проще — полеживая на диване...

Уже после пересадки чуть не влип в неприятный инцидент: в тамбуре, через который он шел, разразилась драка, некто бомжевидный размахивал ножом... Забравшись к себе на верхнюю полку, покачал головой: "Ну и ну! Вот была бы хохма — удрать от войны и случайно напороться на нож какого-то пьянчуги... Конечно, смерть способна подстеречь где угодно. Можно переходить улицу и попасть под машину... Можно, как Серега Мальцев, полезть куда тебя не просят..." Учился на одном курсе с Русиком в Москве такой Сергей Мальцев, при упоминании о котором млели все факультетские девчонки, — красавец, отличник, капитан команды КВН,

будущий аспирант. И вот как-то на вечерней улице, провожая девушку, он решил показать себя перед ней — поставить на место двух пьяных хулиганов, которые хотели над ними покуражиться. Вот бы эту телку трахнуть", — громко сказал один. Сергей остановился, хотя девушка тянула его дальше. "Иди-иди, а то и тебя трахнем", — сказал другой. Ну, Сергей размахнулся и врезал ему. Только что он от этого выиграл? Из подворотни выскочил третий — их дружок, и пошла такая рубка... Саданули его сзади по голове кирпичом. В итоге у Сергея — травма черепа и первая группа инвалидности. Пару раз Русик встречал его, когда уже заканчивал институт: палочка, искривленная шея, струйка слюны изо рта... Это был получеловек, и Русик еле выдержал минуту разговора с ним. После этого он не мог уже без отвращения читать газетные призывы к равнодушию и гражданскому мужеству типа "не проходите мимо"...

Так что же все-таки остановило его выбор на Астрахани? Слава об арбузном и рыбном изобилии? То, что никогда в тех краях не бывал? Но ведь он никогда не бывал и во многих других краях... Относительно теплый, подходящий для него, южанина, климат? А, может, то, что лежит эта Астрахань как бы на отшибе, в стороне от мест, где можно встретить его абхазских знакомых (потому-то Москва сразу отпадала)?

* * *

Происходи подобное путешествие — когда неизвестно, где будешь ночевать и на что проживешь следующий день — в какие-то иные времена, на душе у Русика по мере приближения к "пункту назначения" становилось бы все тревожней и тревожней. Сейчас же предстоящие проблемы казались ему пустяками. Негде сегодня ночевать? Да Господи, а вокзал для чего? В одном кармане — вошь на аркане, в другом блоха на цепи? Ну и что?.. Нет, садиться в подземном переходе "Помогите беженцу из Абхазии" он, конечно, не будет, а пойдет завтра в порт: руки есть, ноги есть, какая-нибудь работенка типа "бери побольше, неси подальше" в таком бойком месте да подвернется. В общем, будет день — будет и пища. А потом обязательно найдет что-нибудь по специальности, возможно с общежитием. Или же баба с квартирой подвернется... Ну, а главное: какое это счастье — просыпаться по утрам и засыпать вечером, ходить по улицам без сверлящей мысли, что жить тебе, возможно, осталось несколько часов...

На перрон астраханского вокзала, держа в руке черный, с массивными ручками полиэтиленовый пакет, где находилось все его нехитрое имущество, ступил в шесть вечера. По-хозяйски осмотрел один зал ожидания, другой, подыскивая местечко, где будет сподручней скоротать ночь, купил в киоске местную газету и отправился на автобусе в центр города. Сегодня зацепиться за что-то в смысле ночлега или работы ему все равно бы не удалось, и поэтому Русик решил, отбросив все заботы, просто с наслаждением туристующего бездельника пройтись по астраханским кварталам. Астрахань ему определенно нравилась (хотя тут же поймал себя на мысли, что в этой ситуации, наверное, понравился бы и любой другой город). Наслаждение заключалось в разглядывании магазинных вывесок и внимательном изучении прилавков работающих магазинов: книжного, гастронома, радиотоваров,

хлебобулочного... В погружении в вечернюю толпу, где кто-то толкал перед собой коляску с младенцем, кто-то явно спешил на свидание, кто-то шел основательно "приняв на грудь" после рабочего дня, кто-то степенно прогуливался... Гостиницу Русик не искал: во-первых, совершенно не был уверен, что там будут свободные места (хотя по нынешним временам, когда цены повсюду так взлетели, вполне могли и быть); во-вторых, еще меньше был уверен, что у него хватит денег даже на сутки гостиничного житья; в-третьих, даже если б и хватило, было бы очень глупо отдавать на это последнее, что за душой.

А вот перекусить немного не мешало бы. Но еще больше хотелось пить. И когда в одном из проулков увидел грузовик, с которого торговали арбузами, сомнений у него не было: ну, конечно, с чего еще начинать пребывание в Астрахани? Вот что ему сейчас нужно — и дешево, и сердито... Купленный действительно за бросовую цену 8-килограммовый (а ведь это ему выбирали из тех, что поменьше) арбуз сразу округлил и натянул до невозможности пакет. Теперь вопрос состоял в том, где этот арбуз разделить и съесть. Русик еще минут пять в опускающихся сумерках бродил по окрестным улицам и дворам, пока не наткнулся на подходящий дворик: как водится, с песочницей и грибком, качелями и, что для него было наиболее важно, с густыми зарослями каких-то кустов. Вот в эти-то кустики он и подался. Комфорт несколько нарушали голоса играющих где-то поодаль детей, но зато посреди кустарника обнаружился очень удобный пенек, на котором Русик воссел, расстелив перед собой газетку — из тех, что читал в поезде. Складной нож — верный товарищ еще по трехдневному походу в горах — срезал "северную полярную шапку" арбуза, потом "южную"... Ну, загадал Русик, если арбуз попался хороший, значит и у меня будет все хорошо.

Арбуз оказался великолепным — алым на цвет, крупно зернистым и очень сладким. Русик пластал его ножом на крупные ломти, чуть-чуть очищал от черных, как антрацит, косточек и вгрызался в сахаристую мякоть. Съев три ломтя, решил передохнуть и развернул местную, не читанную еще газету, где в разделе объявлений отметил несколько заинтересовавших его приглашений на работу. Дальше читал, одновременно поглощая все новые и новые ломти. Раньше арбуз такой величины он в жизнь бы не съел в один присест, но сейчас... В общем, когда Русик, наконец, отер нож о газету и поднялся, то сам себе напоминал тяжеленный шар, наполненный сладкой водичкой.

Когда он снова вышел на центральную "авеню", было около восьми. Подмигнув круглолицему уличному фонарю, резонно решил, что на вокзале еще насидится — вся ночь впереди — и что поэтому стоит еще с часок побродить по центру города, пока тот окончательно не опустел. Но центр опустел раньше, чем Русик рассчитывал. Подуло холодным ветерком, и он уже двинулся по направлению к автобусной остановке, как вдруг...

Ах, этот сказочный зачин "как вдруг"! Русик никогда не относил себя к "везунчикам", скорее наоборот. Самая большая его жизненная удача, как он любил пошутить, не простиралась дальше выигрыша в какую-то лотерею электрического будильника. Но вот в последние дни что-то в небесном механизме, управляющем его судьбой, видно, резко переменилось. Вспомнить хотя бы переход через Псоу, когда на помощь ему пришел ливень... Проходя мимо кафешки с обворожительным

названием "Нега" (огромные неоновые буквы его разметнулись на всю длину фасада); Русик вспомнил, что часа полтора назад уже поднимался в это заведение, на второй этаж по мраморным ступенькам, и что там пять-шесть посетителей, за спинами которых маячило еще несколько зрителей, азартно сражались с игральными автоматами. А может, кафе еще открыто — всего девять! — и стоит заглянуть в него и поглазеть на игру? Но кафе было уже, конечно, закрыто (это тебе не годы "застоя"), о чем ему сообщила веселая тетка, явно из работниц заведения, спускавшаяся навстречу с двумя тяжеленными сумками в руках. "Веселая" в данном случае было производным от "навеселе". Судя по всему, тетка (светлые брови под краем туго повязанной косынки, крупный прямой нос, белые ровные зубы), хорошо нагруженная продуктами и полуфабрикатами "Неги", направлялась домой после "междусобойчика" в честь окончания рабочего дня, и душа ее жаждала приключений (не у одних мужиков так, значит, бывает — сделал философское заключение Русик). "А вы, наверное, иностранец?" — оглядела она влюбленными глазами поджарую фигуру Русика, его потертые джинсы и шапочку-жокейку и залилась переливчатым смехом человека, умеющего радоваться жизни.

"Иностранец", — с готовностью согласился Русик, не вдаваясь в подробности, из какого государства он прибыл. Поскольку подниматься дальше вверх было бы алогично, а вниз им, естественно, было по пути, Русик, как истинный джентльмен, предложил даме помочь нести ее ношу. Тетка без видимых колебаний согласилась и уступила ему одну из сумок, весьма в самом деле тяжеленькую. Теперь ситуация сама складывалась так, что, взявшись за гуж, он должен был сопровождать тетку минимум до порога ее жилища. Самым худшим вариантом при этом оказывался следующий: она живет у черта на куличках, дома ее ждет ревнивый муж, и Русик, выполнив свой джентльменский долг, доберется на вокзал за полночь — словом, ничего катастрофического. Но, как выяснилось из пьяно-путаных рассказов тетки (звали ее Нина), перемежаемых характерным ирихахатыванием, жила она совсем неподалеку; что касается мужа, то развелась с ним в незапамятные времена, а единственную дочку выдала замуж полгода назад. В "Неге" она работала барменшей (вспоминая интерьер заведения, Русик склонялся к мысли, что скорее все же буфетчицей, ну да Бог с ней, "барменша" так "барменша"). Только что у них в подсобке действительно закончился междусобойчик", но не по случаю окончания рабочего дня, а в связи с днем рождения одной из ее товарок. Дальнейшее Русик домыслил сам: у каждого из остальных участников короткого застолья семьи и семейные заботы, и они, скорее всего, разбежались раньше... В общем, все девчата парами, только я одна", и наиболее остро это ощущается именно в подпитии. На ответных откровениях Нина не настаивала. Русик не спешил навязываться ей, но и не хотел выглядеть таким скованным юношей, скучным и безвкусным, как дистиллированная вода, или же младенцем из поговорки "Связался черт с младенцем". И понимая, что пьяный часто так же не понимает трезвого, как и сытый голодного, он старался говорить ей в тон, с веселостью и хохотком (что, разве самому не доводилось бывать в ее состоянии?), как бы с готовностью соглашаясь играть на ее поле.

Через минут пять они остановились у калитки в темном проулке. Нина долго возилась, открывая непослушным ключом огромный амбарный замок, а Русик

размышлял: "Пикантная ситуация. Но, разрази меня гром, банальностей типа: "Можно зайти к вам на чашку чая?" — я произносить не буду". Когда же Нина управилась с замком и разогнулась, ему показалось, что ее мучает схожая дилемма: как его не упустить, не проявляя при этом излишней навязчивости? А может, эти ее моральные затруднения были просто его домыслом? Так или иначе, но когда Русик с церемонной улыбкой выставил вперед руку, на которой покачивалась сумка, Нина даже не взглянула на нее, а, крикнув в темноту двора: "Джюльбарс!", — быстро обернулась к нему: "Осторожно, тут у меня такой пес здоровенный. Сейчас я его буду держать, а ты проходи".

Не без опаски, под рычание пса Русик двинулся вперед и вскоре очутился в крохотной прихожей, служившей очевидно, хозяйке и кухней, и столовой. У стены стояла тахта, а противоположный угол был заставлен огромными клетчатыми сумками, в которых держатели "комков" обычно передислоцируют свой товар. "Это — дочки с зятем, — пояснила Нина, — в бизнес решили удариться, а здесь, в центре, удобней хранить. Кофе будешь?"

Теперь, при ярком электрическом свете, он смог ее, наконец, как следует рассмотреть, тем более, что она сняла косынку. Нине было на вид лет 35-36; "теткой" ее делали, пожалуй, как эта самая косынка, так и грузноватость фигуры. Зато кожа лица была по-девичьи чистой и гладкой, даже с легким румянцем, руки белы, бойкие голубые глаза привыкли смеяться, а о красивых молодых зубах и говорить нечего. В общем, достаточно сдобная дамочка, если учесть, что не сегодня-завтра может стать бабушкой...

— Что смотришь? — хохотнула Нина. — Не признал?

— Да вот... Думаю: как это ты ухитрилась уже дочку замуж выдать?

— Да что такого: сама в девятнадцать родила, и Людка моя точь-в-точь, как я, в восемнадцать замуж выскочила... Сразу, как загс разрешил... А так они и раньше жили. Дай Бог, может ей больше повезет.

"Ага, значит я ненамного ошибся: ей — тридцать семь. Ровно на "червонец" меня старше."

— Ну что, может, ванну примешь? Ты же с дороги...

"Кайф, — думал он полусидя в ванной и лениво направляя теплый дождик из гибкого шланга на свою в меру волосатую грудь, плечи, колени. — Тысяча и одна ночь."

На белом кухонном столике тем временем расцвели в блюдце ромашки разрезанных пополам вареных яиц, появился изящный кофейник и блюдец с холмиком сливочного масла. Попивая кофе — растворимый, конечно, из огромной фаянсовой кружки — и закусывая бутербродами с колбасой, снова больше слушал, чем говорил. Кто же она, эта Нина? Судя по ее словарю (а Русик просто обалдел от перлов, которые она выдавала по ходу рассказа о сегодняшнем "междусобойчике" и вообще о своей жизни: "такие косяки бросает", в смысле — взгляды; "насадили", в смысле — украли; "от такой наглости я чуть не опухла"; "пошли за бутылкой и хавкой"; "наезды начались", "жабы безротые"; "халява подорванная") — это была типичная "барменша"-буфетчица, чьи интересы не простираются дальше означенных понятий. Но в то же время было что-то в ней: в ее певучем голосе, взгляде голубых глаз, произнесенных невзначай совершенно

чужеродных этой лексике фраз, — что наводило на мысль: всех этих словечек, будто хорошая, умная, добрая собака блох, она нахваталась совсем недавно, и как раз они для нее чужеродны.

Подняли пару стопариков коньяка, но Нина почти не пила. "Нет, она не пьянчужка, — подумал Русик. — Иначе бы не чувствовала, что ей уже надо остановиться." Он взглянул на часы: пол-двенадцатого. Пора определяться. Ситуация была весьма прозрачной: она хотела его, и он хотел ее. Но верный избранной тактике: "не навязываться" — Русик уже поглядывал на тахту, чтобы скромненько так попросить разрешения прикорнуть на ней. Однако Нина, убрав со стола, без лишних слов повела его в спальню, где была уже расстелена широченная постель. Там она включила стоявший в ногах постели на каком-то возвышении большой цветной телевизор, тут же заигравший всеми красками, и, приказав: "Раздевайся и ложись", — вышла. А через несколько минут и сама, уже в ночнушке, откинула край одеяла: — Ну что, давай познакомимся?

* * *

Он проснулся в пол-седьмого утра. Нина спала, уткнувшись своими светлыми кудряшками ему подмышку. Русик осторожно отстранился, чтобы не спеша рассмотреть ее. Да, дела... Это ведь не он ее вчера "снял", а она его. Вспомнился один читанный им когда-то рассказ с красивым названием "Фригийские васильки". Автор — Семенов, но не Юлиан, а какой-то другой. Начинался рассказ с того, что главный герой — мужик не первой молодости — просыпался дома после очередной дружеской попойки и обнаруживал рядом в постели обалденную красавицу, которая по возрасту годилась ему в дочери. И на протяжении всего последующего повествования он, отправившись с ней в путешествие на своей легковушке, пытался ее удержать, да так и не удержал. Грустная история... И тут же по аналогии в памяти всплыл анекдот: "Просыпаются двое. Он удивленно смотрит на нее: "Ты кто?" "Маня." "А сколько тебе лет?" "А сколько дашь?" "Да ну... люди столько не живут..." Это, конечно, крайние случаи. Спавшая рядом с ним не была небесным созданием, но не была и "ископаемой" страхолюдиной. Но главное-то в другом: могли он вчера вечером, поедая свое единственное утешение — астраханский арбуз и стараясь как можно дольше растянуть это поедание, вообразить себе, что судьба устроит ему через час такой фарт — приличный ужин, мягкую постель и бабу под бок? "В сущности, — размышлял он, — подобная встреча — одинокой, нестарой и жаждущей мужской ласки бабенки ("надоело уже подушку по ночам обнимать", — призналась она вчера) и бродяги, ищущего крова, — рано или поздно состоялась бы: в Астрахани или в другом каком месте... Сказочное же в этой истории лишь то, что она произошла так быстро, в первые часы по моему прибытию в "Астраханское ханство", чего я, конечно, не чаял."

Да, ночка действительно выдалась ничего. И в грязь лицом не ударил: Ниночка в экстазе царапалась и мяукала, как кошка. Ну, а дальше? В общем, все как у Евтушенко, только наоборот: "И спрашивал он шепотом: а что потом, а что потом?" Он смотрел на нее, спящую, и на душе становилось все тревожнее. Вчера она

"гуляла", и все для нее было как в тумане, а сегодня, продрав глаза, может удивиться: а это еще что тут такое? Ну, не обязательно, может, так резко... Скорее всего, накормит завтраком и пожелает счастливой дороги, устройства всех дел. И в любом случае сегодня, на трезвую голову, у нее наверняка должны возникнуть законные вопросы: а кто он такой? а где его паспорт? а есть ли у него справка о проверке на ВИЧ-инфекцию и так далее? Вчера он сказал ей, что сам из-под Сочи (если иметь в виду, что от Пицунды до Сочи 50 километров, то так оно и есть), что по специальности — инженер-строитель (и здесь не соврал) и что хочет найти в Астрахани работу (естественно, ведь воровать он не умеет и не собирается этому учиться). Ну, а чего ему не сиделось в своем курортном раю, чего решил податься в Астрахань?.. Н-да, непонятно. Если он хочет у нее остаться (а что, от добра добра не ищут; перекантоваться здесь первое время было бы неплохо), придется, видимо, Русику признаваться, что он беженец из Абхазии: ведь паспорт так или иначе придется показывать...

Сомнения улетучились, когда Нина проснулась и, навалившись своим пухлым телом, стала целовать его глаза, лоб, щеки, а потом шепнула: "Оставайся в меня..."

* * *

Спустя неделю, в солнечный, но прохладный полдень, Русик бесцельно брел по одной из улиц в центре Астрахани, размышляя о переменчивости человеческой натуры. Еще несколько дней назад он был в носторженном состоянии духа, полон оптимизма и радужных надежд, но с того времени его настроение без видимых причин резко упало. Ну, кое-какие причины, конечно, были: ни в одном из мест, куда он тыкался, его на работу по специальности не взяли. И хотя разумом понимал: как по заказу такие вещи не происходят (не все коту масленица), а тем более сейчас, в год вступления в пресловутую рыночную экономику, а тем более, что он пока без прописки... Но все равно каждый отказ больно бил по самолюбию и прибавлял уныния. Главным же было то, что у него начался период самоедства. Еще в Пицунде Русик предвидел, что, сделав выбор, возможно, станет потом в нем раскаиваться, и потому постарался тогда себе внушить: это вопрос жизни и смерти, выбирать тут не из чего — но поди ж ты, без душевных метаний все равно не обошлось.

Еще в первое утро пребывания в доме Нины (позднее разобрался, что ее квартира занимала пол-дома) по телевизору передали сногшибательную весть о взятии абхазским ополчением Гагры. "Ну, молодцы абхазцы!" — громко восхитилась Нина и даже рукой об одеяло хлопнула. — Чтоб этому Шеварднадзе пусто было. Я же говорила, что они такие, что "заднего хода" не знают." Кому, когда говорила? До сего момента Русик был почему-то уверен, что Нина если и слышала что-то о войне в Абхазии (ну, как, телевизор во время "Новостей" не выключала же, наверное), то судила о ней на уровне: "Черт этих черножопых разберет, что они там снова не поделили!", а тут вдруг такое активное боление. Выяснилось, что несколько лет назад она была в Абхазии, отдыхала в Новом Афоне. "И наверняка общалась с абхазами, — смекнул Русик. — Подружилась бы с кем-то из грузин, скорее всего болела б сейчас за них."

Тут уже пришла пора раскрывать карты. Русик рассказал ей, что отец у него абхазец, мать — грузинка (на самом деле она была наполовину абхазкой, наполовину русской), а потому не может он воевать, не может, чтоб одна его половина стреляла в другую. Как только началась война, в их дом попал снаряд, а они всей семьей выехали в Россию. Родители поселились в одной из станиц Краснодарского края у дальних родственников, а он решил податься в большой город, где легче найти работу. Почему именно в Астрахань? "Наверное, шестое чувство подсказало, что тебя здесь встречу." На такой оптимистичной ноте и закончился тот разговор. Вопреки ожиданиям, дом Нины не оказался для него уютным. Слишком общительным она была человеком и в слишком бойком месте города дом находился. По сути это был какой-то проходной двор: с утра до вечера тут толклись то товарки, забежавшие на чашку кофе или "рюмку чая", то какие-то разношерстные родственники. Сперва Русик списывал это на желание Нины продемонстрировать приобретенного ею "мужчинку", но потом понял, что это вообще образ ее жизни. В первые дни он пытался вписаться в эту среду, поддерживать компанию, но потом стал откровенно манкировать гостями. Гнетущее чувство не покидало его: ему все время хотелось уединения, а остаться по вечерам наедине с собой в этом доме можно было разве что в ванной. Вот он и уходил туда, ни разу еще не услышав, но предполагая фразочку за спиной: "Он у тебя что, из рода водоплавающих?"

Привыкли засиживаться у Нины по вечерам и ее дочка с зятем-молокососом, хотя казалось бы: чего вы тут сидите, у вас что, своей квартиры нет, ровесников для общения не хватает? Дочка почти не скрывала своего враждебного отношения к Русику, наверняка видя в нем афериста, который покушается на мамочкин дом. Да сто лет этот дом ему не нужен! Заявление в загс они с Ниной, правда, подали, но, во-первых, этого прежде всего ей хотелось, а во-вторых, надо же было ему рано или поздно за что-то зацепиться, где-то прописаться...

— Русик!

Он вздрогнул, но не обернулся. Кто его мог здесь так окликнуть, если в Нинином доме звали только Русланом?

— Русик! — женский голос звал его уже что было мочи.

Все. Уже поздно что-нибудь менять. Он повернул голову на голос. А если человек похож на того, которого зовут, да еще среагировал на его имя, сомнения отпадают... Женщина, которая подбегала к нему, была абхазкой из Пицунды. Глупейшая мысль: что стоило ему пойти по соседней улице?!

— Русик, ты откуда здесь? Позавчера с Феней по телефону разговаривала, она grit, что ты в горах пропал. Сестра твоя, grit, с ума сходит, не верит, что тебя убили. А мы здесь с двадцатого августа, у моей двоюродной сестры. Каждую неделю в Пицунду звоню. Наши Гагру взяли, знаешь? Пятеро пицундских ребят погибло. Жорик Блаб, Шулумба... А ты как сюда попал? Адгурчик мой, внук, в школу здесь пошел, сестра устроила...

Русик стоял и чувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Он был так растерян, так не готов к этому разговору, что не догадался даже ляпнуть: "Я — за оружием здесь. По заданию", — или что-то в этом роде. Да, впрочем, чушь какая... Все равно не поверит. Она баба ушлая, так глазами-шильцами и колет. Хорошо еще, что

тархтит не останавливаясь, можно за это время попытаться что-то придумать.

— А Рамиз Дбар знаешь, что сказал?.. Он тебя всегда не любил... Что ты сбежал. Я, грит, видел, как он уползал... Отец твой его чуть не убил, когда он это сказал. Сердце словно обварили кипятком.

— Да сам он трус, этот Рамиз. Шакал вонючий... По делу, я здесь. Так надо.

— Ага. А то Феня грит: дезертировал, мол... Завтра снова буду звонить, что твоим передать?

Все-таки эта стерва не удержалась, чтобы не произнести в конце концов слово, которого он страшился. Хотя и остерегалась, но так уж, видно, хотелось сказать, так прорывалось это в ней!..

— Ничего не надо, я сам скоро буду звонить. Кто еще из пицундских погиб?

— Валера Шулумба, Славик Ампар, Гарик Хутаба и еще один, не помню...

— Значит, и Жорик, командир пицундского взвода?

— Ага... А ты где здесь?... Телефон есть? А адрес какой?..

"Почему я не пошел по соседней улице? Чушь собачья, все равно бы мы встретились рано или поздно. Или нет? Это ж не Пицунда с ее двумя-тремя улицами..."

Ну кто мог подумать, что здесь, в Астрахани... Нелли Кайтанба, кажется, ее зовут.

Ну, да. Баба языкастая. Завтра же всем там будет известно... Да еще весь наш разговор так преподнесет... Рамиз меня не любил... Да она сама меня всегда недолюбливала. И надо же было именно на нее нарваться... У-у, сука!"

Он добрел до садовой скамейки, сел на нее и застыл. Пробегавший мимо мальчонка с удивлением обернулся, когда сидящий на скамейке дядя громко застонал и с силой ударил себя кулаками по коленям.

* * *

Повторилось то, что он уже переживал недавно в Пицунде: снова сон стал для него чем-то спасительным, обезболивающим, вроде новокаина, а пробуждение — возвращением к кошмару. Только на этот раз кошмаром был уже не страх, а... Тогда в виски стучало: "Вот-вот случится непоправимое", а теперь: "Случилось непоправимое".

Он проснулся посреди ночи и вспомнил все. "Гарун бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла..." Что же он наделал! С собой, со своей жизнью! Будто огненными буквами на стене, в темном углу спальни было выведено — "Дезертир".

Вечером накануне Русик лежал в ванной не в силах повернуть рукой, а из лежавшего на его груди склоненного набок дуршлага гибкого шланга все лилась и лилась теплая водичка, но она, конечно, не могла затушить тот огонь, который пожирал его внутренности. Что-то он во время встречи с Нелли Кайтанба сказал не так? Можно было избежать этих заминок, оторопелости, неубедительности объяснения и, наверное, страха во взгляде? Но какая к черту разница? Главное, что его мечта о бесследном исчезновении из Абхазии не осуществилась.

Ведь с самого начала он представлял это себе только так: с той, первой его жизнью покончено навсегда, прежнего Русика с его прежним кругом знакомств, родственных связей, привычных глазу ландшафтов нету и не будет. Конечно, тут не

обойтись без издержек: даже когда человек просто переезжает жить на новое место, ему грустно, он будто присутствует на похоронах части себя, части своей жизни... И он был готов к этой грусти. Но теперь, после встречи с Нелли Кайтанба, во второй жизни его всегда будет преследовать трупный запах жизни первой. Так желчь, вовремя не вырезанная и разлившаяся при разделке туши в остальные внутренности и мясо, отравляет их и делает невозможными для пищи. Теперь уже никогда и мороженое пресловутое будет ему не в сладость, и девочки не в радость... Конечно, можно было проявить больше предосторожности и махнуть сразу (хотя откуда у него такие деньги?) куда-нибудь на Чукотку, даже — теоретически — в Австралию. Но и не будь этой встречи... Она ведь просто наложилась на его состояние...

Кончился "праздник плоти", и теперь вся предстоящая жизнь простиралась перед ним выжженной, угрюмой пустыней. Теперь он навсегда обречен на одиночество, неприкаянность, отчужденность от людей. Теперь каждое утро своей жизни он будет просыпаться и вспоминать, какая он мерзкая тварь. На свете, правда, живет уйма мерзких тварей, но большинство из них этого просто не осознает... Да, будь он человеком попроще — с главной, почти единственной заботой: выпить и закусить — какое это было бы счастье!

В чем же была его ошибка? Да ведь он сам когда-то вывел формулу, что война — это большая драка с моральной невозможностью от нее уклониться. Вот именно: с "моральной невозможностью". Если б на Земле жили не люди, а какие-то другие, сверхразумные существа, или все люди были бы такие же, как, скажем, Русик и Алик Гвазава, то есть всегда способные найти друг с другом общий язык, — тогда другое дело. Но на Земле живут именно люди — такие, во всей их общности, какими их создала природа. Или Бог, или дьявол... И так уж испокон веков повелось: время от времени перед самым миролюбивым человеком встает выбор — или его собственное выживание, или выживание его народа. Ну, не получается иначе, третьего не дано!.. И в исторической памяти любого народа выбравший второе окружен преклонением и славой, а выбравший первое — презрением и проклятиями. И это ведь не иллюзия, не мираж, не условность — язык, национальность; это, в отличие от многого другого, разделяющего людей, не придумано ими, это объективная реальность.

Если в дом к тебе врываются враги и хотят тебя и твоих близких ограбить, унижить, поработить — разве не должен ты взять оружие и защищаться? И заповедь "Не убий" тут уже не при чем. Так просто и элементарно... Почему же всего неделю назад будто пелена застилала ему глаза? Не потому ли, что способность мыслить была атрофирована страхом за свою шкуру? Стоп... Но он же так долго убеждал себя, что дело не в страхе. Да, он стал дезертиром не из-за физиологической трусости, а из-за своих убеждений. Но каких убеждений? Тех, что его драгоценная жизнь гораздо важнее для него, чем судьбы тысяч незащищенных людей, судьба его народа... "Не я придумал эту войну..." — жалкие эти слова теперь расплзались, будто склеенные из мокрой бумаги...

Сколько ни сжимай голову руками, а они все лезут в нее, эти мысли о том, как в Пицунде его знакомые обсуждают сейчас последний звонок Нелли Кайтанба. Торжествующее презрение одних, растерянность других, тихое злорадство

третьих... Диана, Тина, отец — каково им будет сейчас!..

Смерть, страх которой медленно убивал его в последние недели в Пицунде, — да разве это самое ужасное, что может быть на свете? Умереть — все лишь "присоединиться к большинству", вот и все. Рано или поздно опустят гроб в могилу, ударятся комья земли о крышку... А вот опозорить себя и весь свой род... Теперь он навсегда растоптан позором. А что, если имя его станет в Абхазии таким же нарицательным, как... Жил, читал Русик, когда-то некий Салыбей, но певец и сказитель Жана Ачба так жестоко высмеял его, что перестали давать новорожденным это имя и исчезло оно в Абхазии.

Жизнь, будущая его жизнь, что совсем недавно представлялась Русику огромным, в полнеба, ослепительным белым полотном, сжалась, сшагренилась до размеров старой половой тряпки, которой одна дорога — на помойку.

Арсен Ханагуа, герой Арсен... Да, он действительно герой. И сейчас пришло время завидовать ему.

* * *

Днем ноги долго носили его по городу, пока не забрел в кинотеатр, Фильм смотрел почти не вдумываясь в смысл происходящего — шла какая-то примитивная арабская мелодрама. Ну, а пошел в кино, потому что его поразило название на рекламном щите — "Прошлое было ошибкой".

Да, все же он — не из тех деревьев, которые можно выкопать, пересадить и они приживутся на новом месте. Космополита из Русика явно не получалось...

Вот там-то, в кинозале, и окрепла окончательно его мысль о выходе.

Ведь прежний Русик — живший в Абхазии — в любом случае умер, возврата домой ему нет. А вторая его жизнь по сути не началась, и жалеть о ней так же мало смысла, как, считал он всегда, мало смысла жалеть о жизни ребенка, который умер еще при родах или во младенчестве.

Вот как тот, например, что похоронен на маленьком кладбище на самой оконечности Пицундского мыса, в месте, где к морю выходит Кипарисовая улица, в песчаной почве в тени сосен... В память Русика когда-то, еще в детстве, врезался каменный бордюрчик непривычной формы — длиной около полуметра — на могиле и надпись на скромном могильном камне: "Хлудеев А. П. 5.V.1957 — 6.V.1957." Русик не раз думал о том неведомом ему "А.П.", который прожил на Земле когда-то за восемь лет до его собственного рождения всего один день. Раньше — с сочувствием: ведь этот "младенец мужеского полу" умер с непробудившимся сознанием, так и не увидев, не осознав, как прекрасен мир, в который ему приоткрылась дверь: эти величественные сосны над головой, этот жар солнца, это море, ласкающееся к берегу, как ребенок спросонья. А сегодня — сегодня, пожалуй, он думал о нем с завистью: ведь "А.П." не суждено было познать ни обид, ни утрат, ни самого страшного, что может чувствовать человек, — состояния, когда изнутри тебя пожирает чудовище отвращения к себе.

Говорят, что любому вполне нормальному человеку несколько раз в жизни да придет в голову мысль о самоубийстве. Но думать об этом и совершить это — очень разные вещи. Главное тут, рассуждал он всегда, — перетерпеть период, когда

кажется, что ты в тупике. Пройдет время — и все само собой рассосется, утрясется, зарубцуется... И у Русика был такой период пару лет назад — когда он стал заглядывать на верхний, 14-й этаж пансионата "Золотое руно" в Пицунде. Почему именно этого пансионата, ведь всего таких на пицундском мысу выстроилось семь? Может, потому, что когда-то ему рассказали, как, прыгнув с него на третий день своего отдыха, разбился насмерть один 19-летний курортник из ГДР. А всего, сказали, за двадцать пять лет существования пансионатов таким же образом покончили с собой около двадцати отдыхающих. Ну, если учесть, что в год в пансионатах отдыхало в среднем около пятнадцати тысяч, то цифра вполне "приемлемая". А причины? Ну, наверное же, не недостатки в обслуживании на курорте. У каждого — свое. И тот же 19-летний немчик, наверное, приехал отдыхать с грузом каких-то своих неразрешенных проблем, и тут вдруг решился...

А с чем это состояние было связано тогда у Русика? Чистая ведь ерунда, какие-то нелады на работе, где его попытались втянуть в борьбу двух группировок. "Ты, мальчик, хочешь быть хорошим для всех, — сказал ему тогда один прораб. — Но так не получается... Для всех — это значит и для порядочных, и для негодяев. Значит, и сам негодяйчиком становишься". Разумеется, подразумевалось, что сам прораб — воплощение порядочности. Но Русик и вправду в тот момент запутался, оказавшись между двух огней, и жестоко страдал...

Тогда он перетерпел. Но перетерпит ли сейчас?

Бродя по Астрахани, он невольно задирает голову на наиболее высокие здания. Да нет, ерунда это все, никогда он на такое не решится... Это представить себе только, как делаешь шаг и... Где-то Русик читал, что половина таких самоубийц умирает от разрыва сердца уже в полете, хотя были и фантастические случаи — когда оставались живы падая с полусотни и более метров. Но не хочешь вот так: пролететь, упасть и остаться на всю жизнь калекой?

Потом он очутился на какой-то автомобильной развязке и долго стоял у перил каменного моста, глядя вниз, туда, где на нижней дороге мчались в обе стороны автомобили, шагали по тротуарам пешеходы. В какой-то миг ему показалось, что совершить это легко... Перемахнуть через перила так, чтобы угодить аккурат под колеса мчащегося сюда грузовика — "упасть с дерева, чтоб еще и змея укусила..." В следующую секунду все там, внизу, переживут недолгий шок: машины затормозят, люди остановятся, женщина, ведущая за руку ребенка, наверное, закричит...

Недавно, говорят, в Японии разразился скандал вокруг одного автора. Он издал учебник по суициду — описание всех самых легких и безболезненных способов ухода из жизни. Интересно, а вошел в ту книгу способ, который Русик видел в поезде по дороге сюда?.. Его герой все время мечтал сорвать в казино большой куш. И вот однажды вечером, проигравшись вконец и придя домой, он сказал жене: "Я выиграл. Едем отдыхать в Европу", а сам пошел принимать ванну, вывинтил там из патрона горящую лампочку и сунул в патрон мокрую руку... Выходит, не случайно вчера в ванной взгляд Русика все время притягивала эта матовая лампочка под потолком?

* * *

На следующий день Русик пришел домой повеселевшим. В прихожей-кухне-столовой сидели Нина, какая-то из ее подруг, дочка с зятем и вводили в свои не окрепшие еще после вчерашнего организмы новомодный спиртной напиток "Амаретто".

— Все, завтра выхожу на работу, — сообщил Русик с порога. — Уфф, устал...

— Куда?

— Сейчас расскажу. Только ополоснусь.

...Он разделся, тщательно повесил одежду на вешалку, тщательно помылся в ванной. Да, да и еще раз да! Дезертировать — так уж до конца. Туда, куда уже никто до него не доберется, где ничто не будет его мучить, где только сны без сновидений... К черту жизнь, теперь только спать, спать, спать... Спать вечно сладким гробовым сном. Вот уж об этом решении он никогда не пожалеет — потому что жалеть будет некому. Да и Нинина дочка сразу поймет, как она ошибалась, когда думала, что он аферист, проходимец... Он вытащил затычку в ванной. Вода стала уходить в отверстие. Когда ее совсем не останется... Как быстро она устремилась вниз! А может и к лучшему, что быстро. Он поднялся в ванной, вытерся наспех полотенцем, надел трусы. Чтобы не обжечь пальцы о лампочку, взял в руку майку.

Тургенев, кажется, писал, что слабые люди сами никогда не кончают — они ждут конца. Значит, он, Русик, все-таки не из слабых.

Главное потом, когда наступит темнота, быстро и точно попадет внутрь патрона плотно сжатыми указательным и средним — так он по чему-то решил — пальцами правой руки.

Нехорошо так — совершить это в чужом доме? Как они забегают сейчас... Да ладно. Как будто это первая гадость в его жизни!.. Так пусть же она будет последней.... Все равно через минуту ничего не будет...

Как же он посмеется над всеми ними — Нелли Кайтанба и прочими — из-за "гробовой доски", оттуда, где все тени слились воедино: "Попробуйте отличить меня здесь от Арсена Ханагуа!"

В последний раз взглянул на себя в зеркало над умывальником — старое, со ржавыми разводами, которые кое-где прорывались изнутри серебряными взрывами. Так вот где оно было — то самое зеркало, что самым последним отразило его лицо.

Главное сейчас — не тянуть. Как хорошо: он уже никогда не проснется...

Чудовищная пустота ворвалась в его душу.

...Когда в ванной раздался вскрик, а затем какой-то шум, сидевшие за столом переглянулись.

— Что там такое? — спросила Люда.

Начали стучать в дверь ванной, звать Русика — никто не отзывался. Муж Люды с силой ударил в дверь, та оказалась незапертой, но, приоткрывшись сантиметров на двадцать, дальше не поддавалась. На дверь навалились, и тогда стало ясно, что она уперлась в лежащее на полу тело Русика. Наконец, тело вынесли и уложили на тахту. В комнате царили паника и гвалт.

Где Авель, брат твой?

Августовская жара доставала до самых печенок. Старая синтетическая рубаша Нури постоянно липла к спине. Время от времени, прихватив ее двумя пальцами у пояса, он брезгливо отдирал влажную плотную ткань от тела, и тогда воздух, на миг коснувшись кожи, приносил микроскопическое облегчение.

Солнце висело в небе как бесцветный тусклый ком жара.

Десять с половиной месяцев он не видел эти места, где родился и почти безвыездно до того прожил пятьдесят два года. Вот этот ольховый лесок вдали, уходящий на горизонте к морю, вот этот изгиб речки, вот это кукурузное поле, которое должно бы сейчас стоять, волноваться сплошной стеной зеленой поросли, но нынче только хмуро щетинилось пеньками прошлогодней стерни...

Он, впрочем, помнил это поле всяким: по весне — тяжело вздыхающим под лемехами плуга, который таскал-возил старенький трактор соседа Дато (а потом и его сына Авеля), и чернеющим бурунами свежевздыбленной пашни; умиротворенно-серым после сева; в ртутном блеске росы на зеленеющих всходах ранним летом, зимним — в утреннем покрове из инея и наледи; и тускло-желтым, шуршащим, источающим сухость и жар... Нури помнил, как осенью ходил по полю, с хрустом выламывая из гнезд на стеблях тяжелые литые початки в коконах из жилистых, увенчанных мягкими метелками листьев, как затем отсекал остро отточенным серпом пружинистые стебли почти у самого корневища и складывал их шалашиками.

Нынче же... нынче война, разлучив людей с землей, перемешала, перепахала времена года.

А вот и его дом... Точнее, то, что осталось от дома. И хоть мысленно Нури много раз и в деталях — рассказчиков хватало — представлял себе это пепелище: одинокую трубу камина, стены красного кирпича с еще не успевшими выветриться следами бушующего огня, осколки стекол, косо упавшую, обугленную, но не догоревшую до конца, с черными вздутиями древесины балку, — и даже успел как бы привыкнуть к его зрелищу, все равно дрогнул, подойдя, почувствовал, как слабеют ноги, и опустился в двух шагах от балки на траву.

...Свой автомат, с которым ночью пришел в Тамыш, он спрятал ранним утром в леске, в самой его чаще, в зарослях колючек, и поэтому, зайдя сегодня еще в пару домов, к приземистому, но крепкому дому соседей-мегрелов Цурцумия направлялся спокойно, просто как путник, который после долгих странствий возвращается в родные места. Вот уже почти месяц в Абхазии перемирие — самое долгое и самое вроде бы серьезное из всех перемирий с начала войны. Неужто на этот раз все, конец? И верится, и не верится. Больше все-таки не верится — что вот так все вернутся по домам и как ни в чем ни бывало, как до войны, заживут рядом с теми, кто стал их врагами...

Старая Хатуна, маленькая и почти невесомая, как сухое полое растение, увидев его, запричитала, обняла.

— Нури, чким скуа * (* *Мой сынок (мезр.)*)... — по худому сморщенному лицу текли слезы. Но в лучиках морщин, показалось Нури, притаилось и тревожное ожидание: с чем пришел сосед, которого почти год здесь не было?

Опустилась на табуретку. Ореховую палку, до блеска отполированную наждаком темных старческих ладоней, приткнула рядом. Начала рассказывать, как хоронили в ноябре мать Нури.

Нури сидел на старенькой тахте и молча слушал. Мог ли он когда-то представить себе, что не сможет присутствовать на похоронах собственной матери? Но вышло все именно так. А всем, кто в ту минуту помог, конечно, большое спасибо...

— Ну, а как сейчас вообще у вас жизнь?

— Какая жизнь? Мучаемся... Эти Ардзинба и Шеварднадзе — что они с нами натворили!..

— А что Ардзинба натворил? — не удержался Нури. — Ардзинба же не нападал на Грузию, а Грузия напала на нас...

— Да, но он все-таки не должен был...

— Что, сопротивляться? А вот если бы наши абхазцы сюда пришли и выгнали вас в лес, вам приятно было бы? Неприятно, правда? Скрывались бы где-то... А нас выгнали. Почему выгнали? Убивали нас, поэтому и ушли в лес. В лесу живем, как дикие люди... Но когда-нибудь все равно мы вернемся сюда...

Старушка закивала, всем своим видом выражая смирение и согласие: да, да, конечно, вернетесь, и все, дай Бог, потечет, как прежде, тихо и мирно.

— А где сыновья твои, Хатуна? Где невестка?

— Зураб здесь, по хозяйству возится, сейчас придет. Натела — на огороде, а Авель...

— тут она запнулась.

— Да, Авель...

— На работе. После обеда будет.

— А что за работа у него такая? Мне наши ребята сказали, будто он автомат в руки взял. Это правда?

— Да нет, что ты, сынок! Он в охране железной дороги просто... Он же не воюет, не стреляет... Посиди здесь, я сейчас Зураба крикну.

...Около часа они просидели с Зурабом напротив друг друга за графинчиком домашней водки и тарелкой орехов, к которым после первой стопки прибавилась и сковорода с яичницей-омлетом и жареным сыром, молча поставленная на стол молодой женой Авеля Нателой. Нури знал, что эта соплячка ненавидит абхазцев (потому и поздоровались они сегодня еле-еле). Прямо, в лоб, она, неприметная и тихая, обычно своих чувств не выражала, но до Нури, конечно, в свое время доходили ее слова... Их она, видимо, наслушалась в родном селе Охурей, откуда ее взяли в этот дом три года назад: и про то, что "всех абхазцев можно уместить на одном стадионе", и про то, что "скоро придут грузины и всех абхазцев выхарят..." Когда эти ее слова дошли до Марго — тетки Авеля, которая была замужем за абхазцем, разразился большой скандал. Марго и ее дочь полгода не разговаривали с семьей Цурцумия.

Зураб же, старший сын Хатуны, — совсем другой человек. Сейчас ему под сорок — седые виски, проплешина на темени, чуть оплывающая фигура. Он так и остался холостяком — что делать, не всякая пойдет за хромого. А хромал сильно — родовая

травма. Эта беда стала общей для соседей. Нури хорошо помнилось, как лет тридцать назад он вместе с Дато — покойным отцом Зураба и Авеля — возил маленького Зурика на операции в Сухум и Тбилиси. Все бесполезно...

Все инвалиды с детства, которых знал Нури, почему-то резко, без полутонов, делились для него на две категории: озлобленных на весь мир эгоистов и людей очень добрых, сердечных и открытых. Зураб, без сомнения, относился ко вторым. Вот скорее ему, а не младшему его брату подошло бы библейское имя Авель... И об абхазском народе он тоже плохого слова не говорил. Когда началась война, перед всеми грузинами села встал вопрос: с кем они — с пришельцами, которые одной с ними крови, или же со своими соседями-абхазами, с которыми вместе росли, со многими из которых состояли в родственных связях? Большинство долго пыталось сохранить нормальные отношения и с теми, и с другими, и лишь летом 93-го окончательно качнулось в сторону пришельцев. Но только не Зураб... Когда абхазские ребята в первые же дни войны ушли в партизаны, он очень им помог — передал одеяла и многое другое с Тамышской турбазы, где работал заместителем директора.

Пили совсем немного, по чуть-чуть — и водка была очень крепкая, и напряжение в разговоре все-таки чувствовалось. В основном, рассказывал Нури: о том, где побывал за это время и что испытал. Не все, конечно, рассказывал, а то, что было можно...

— Зураб, а где Авель? До меня тут доходят разговоры... Скажи: зачем ты позволил своему брату оружие держать? Ты же знаешь, как у нас все становится известно...

— Да, не надо было ему это делать... Но разве он меня послушает?.. Он теперь больше вот эту... сам знаешь кого... слушает. — Зураб помолчал. — Из-за него, знаю, когда-нибудь все равно нам придется отсюда уехать. Из-за вот этого моего брата...

— А Авто Курашвили? Его же так и не смогли заставить автомат взять... Где он сейчас, что вообще о нем знаешь?

— Авто... Да, с Авто чего только они ни делали!.. Привели раз в комендатуру и говорят: "Ты, такой здоровый лоб, почему в гвардию не вступаешь? На чужом горбу хочешь в рай въехать? Пусть другие село от абхазцев защищают, а ты за их спинами будешь прятаться, да? Тогда сразу возьми и надень женскую юбку — и мы тебя не будем больше трогать". А он им: "Насчет юбки — давайте с любым из вас сойдуся врукопашную и тогда посмотрим, кому она больше подойдет. А автомата я в руки брать не буду. Я среди абхазцев вырос, столько абхазских родственников имею! Жена — абхазка, значит и дети наполовину абхазцы. Я что, должен буду в своих жену и детей стрелять?" "Ты дурачком не прикидывайся, — они ему говорят, — в жену тебя никто стрелять не заставляет. А вот брат твоей жены против нас воюет и ужасы творит... Не знал? Значит, ты не грузин, если отказываешься!" "Я, — говорит, — как раз грузин. И помогать вам буду — продуктами, чем хотите... У меня же трактор — день и ночь буду пахать... Но автомат в руки не возьму". Тут они, человек пять-шесть, как начали его бить — привезли потом домой и выкинули у калитки полумертвого.

— А потом?

— Ну, оклемался помаленьку. Потом, через неделю, собрался с семьей, и через Очамчирский порт выехали они в Батуми. А оттуда — в Сочи. Где-то в

Краснодарском крае сейчас.

— А что там с Мерабом было? Какая-то история с тушенкой...

— С Мерабом? Шония? Там такая история... Он же перед войной завез на продажу несколько тысяч банок говяжьей тушенки с Украины. Ну, в октябре, сразу после того, как тебя взяли, приходят к нему ночью партизаны... Свои же ребята, одноклассники бывшие. "Мераб, мы знаем, ты тушенки много прячешь..." И он вроде бы им говорит: "Давайте приезжайте и забирайте ее, но так, как будто вы сами нашли у меня и отобрали". Я говорю "вроде бы", потому что так он абхазцам рассказывал — перед тем, как в Москву выехал. Ну, а грузинам, естественно, по-другому: хотел, мол, в грузинскую армию отдать, и тут как раз ночью приехали бандиты, стрелять, пугать начали, все обыскали и в конце концов в гараже тушенку эту самую нашли... Ну, ты знаешь, у него же мать абхазка, отец — мегрел. Да и не в этом только дело... В общем, я следствие не проводил... А тушенку ту партизаны на двух тракторах вывозили. Один нормально доехал, а по другому на шоссе снарядом шарахнуло. Почти все банки — всмятку... Потом долго на дороге эти банки подбирали — кто по соседству жил.

Помолчали.

— Да, что эта война делает!.. — заговорил Нури. — Ты же братьев Мампория хорошо знал?

— Ну... так. Это те, что погибли? Один на грузинской стороне воевал, а другой — на абхазской?

Нури кивнул.

Братья Мампория были мегрелами, оба в Тамыше родились, выросли. Но один из них давно переселился в Кутол. Женат был на абхазке, в окружении одних абхазов жил. В общем, когда началась война, стал рядом со своими соседями. А другой брат, что в Тамыше оставался, в грузинскую гвардию записался. И погибли почти одновременно, с разницей всего в несколько дней... Случаев, когда двоюродные братья (по матери обычно) воевали друг против друга, вокруг было много, но вот чтоб родные...

— Да, война так знает, — пробормотал Зураб, берясь за бутылку с чачей.

В это время во дворе раздались громкие мужские голоса.

— Это не Авель? — встрепенулся Нури.

Вышли на крыльцо.

У Авеля все такое же худощавое, чуть вытянутое лицо, зеленоватые глаза. Автомат за плечом. Рядом — его ровесник и сосед Нугзар Талавадзе, тоже с автоматом. Оба были в изрядном подпитии.

— Ну, что, как дела, ребята? — спросил Нури.

— Нормально все, хорошо.

Конечно, Авель не мог не опешить, увидев Нури здесь.

Неужели все-таки это он, Авель, навел тогда на него? Тот самый малыш Авель, которого Нури катал когда-то на загровке, изображая из себя лошадку, вот по этому самому двору... Тот, которого он учил ловить рыбу... Тот, на свадьбе которого он три года назад, как ближайший сосед, трудился, не покладая рук... Да что говорить — сколько лет и десятилетий как одна семья, считай, жили!

* * *

В полдень 18 октября прошлого года в дом Нури пришли девять грузинских гвардейцев. В то время мать его была уже прикована к постели тяжелой болезнью. Жену и младшего сына он отвез в Члоу, к дальним родственникам, старший сын воевал в отряде "Дельфин". Сам Нури задержался в Члоу ненадолго — дома, в Тамыше, кукурузу надо было собирать и мать одна оставалась... И вот в этот самый треклятый день 18 октября и нагрянула к нему "зондеркоманда".

Он вышел во двор.

— Здесь Нури Тужба живет?

Раз имя, фамилию знали, отпираться уже не было смысла.

— Это я.

— Вы ночью почему свет включали и выключали?

— Свет? Потому что мать больная лежит, вот войдите, посмотрите. То подать что-то надо, то горшок из-под нее вынести — куда идти, надо же видеть...

— А у нас есть сведения, что ты партизанам мигал светом...

— Ребята, зачем мне партизаны нужны? И что бы я мог им этим сообщить, а? Подумайте сами. Мать больная, я рядом сижу. Я не воюю, ничего...

Нури говорил с ними на грузинском, которому научился еще в малолетстве, общаясь с соседями, но гвардейцы продолжали упорно обращаться к нему на ломаном русском. Это могло показаться странным: ведь обычно пришельцы требовали у всех подряд, чтобы с ними говорили только по-грузински... Нури решил, что эти, услышав его довольно сносную грузинскую речь, хотели, видно, наоборот, как-то отстраниться от него, чтобы он не считал себя "своим".

— Мы уже подумали. Это ты хорошо подумай...

Как ни старался Нури удержать разговор в спокойно-дружелюбном русле, он обретал все более жесткий характер. Гвардейцы начали обыскивать дом.

Один из них, с коричневыми конопушками на лице, спросил:

— А где твои сыновья, чем занимаются?

— Мои сыновья... Их нету здесь. Один в Харькове учится, другого я тоже к нему отправил...

— Почему ты обманываешь? Они же воюют!

— Ну, я насколько знаю, они уехали...

— Нет, они против нас воюют. Их в Лабре с оружием видели...

— Ну, хорошо, — согласился вдруг, даже для себя неожиданно, Нури. — Может, и воюют. Может, не уехали... Я их удержать не могу, они взрослые. Но если воюют, они, сынок, за свою землю воюют.

— А ты им сигналишь отсюда...

Тут пошел между ними уже разговор на повышенных тонах, и конопатый, схватив автомат, выстрелил между ног Нури.

— Сынок, — сказал Нури, побледнев, — я не боюсь твоей стрельбы. Я уже и покушал, сколько хотел, и выпил, и прожил свое. Так что моя смерть мне не страшна... В один день родился, в один день и умру.

Между тем остальные перетряхивали все в доме, и Нури заметил, как один из них, зажав между пальцами правой руки патрон от "мелкашки", открывает дверцу

шкафа, а потом достает этот патрон оттуда, будто там нашел.

— Сынок! — обратился к нему Нури. — Эту школу я давно закончил... То, что ты недавно узнал, я уже забыть успел. Ты скажи честно: предлог хочешь? Как абхазца, можешь меня забрать. А то, что ты мне подкидываешь патрон, это мне неинтересно. Ты честно скажи: поехали — значит поехали.

Через несколько минут они уже были в центре Тамыша. Вся трасса перед мостом через реку и весь мост были запружены гвардейцами — человек семьдесят их здесь находилось, не меньше. Посередине моста стоял танк, грозно направив дуло орудия в сторону синееющих вдали гор.

Сперва Нури оставили на обочине шоссе, а потом подвели к высокому майору, в черную шевелюру которого были будто вплетены серебряные нити седины. Тот без разговоров вытащил из кобуры пистолет Макарова и ударил рукояткой Нури по голове. Удар был силен — Нури пошатнулся, но устоял. Что-то теплое полилось по левой щеке. Коснулся рукой — кровь. Майор, видя, что он не падает, переложил пистолет из правой руки в левую и ударил его уже по правой стороне головы.

— Смотри-ка, — удивленно обратился он к конопатому, — опять не упал!

И тут же последовал чей-то страшный удар прикладом автомата в спину. А поскольку Нури продолжал держаться на ногах, майор бросил конопатому:

— А ну-ка перебей ему ноги.

Конопатый рывком сорвал с плеча автомат и начал стрелять Нури под ноги:

— Я тебя сейчас научу, как надо танцевать!

— Я от испуга никогда не танцевал и не собираюсь танцевать, — спокойно, как во сне, отвечал Нури. — Если ты мужчина, в лоб мне сейчас пулю пусти — и закончим это дело.

— Смотри, чего захотел! — засмеялся конопатый, обнажая крупные ровные, белые зубы. — Не-ет, я тебя еще должен помучить.

— А как твой сын делал, думаешь, не знаем? Просто так людей убивал? — заорал вдруг майор, так что у него вздулись жилы на шее. — Подвесил нашего парня на крюке, живот разрезал и бумажку приколол: "Продается грузинское мясо!"

Нури уже слышал от соседей-грузин эту байку — будто нашли такого подвешенного в Лабре, — а этот уже и сына его сюда примешал. На ходу выдумывал, конечно, на психику давил...

Один из выстрелов конопатого угодил-таки Нури в ногу — в левую пятку, под косточку. Сразу пулю не почувствовал, только тепло в пятке стало. Толкать со всех сторон начали — нога уже подкашивалась...

Наконец, упал. А когда упал, стали бить, пинать, как футбольный мяч... Он лежал в пыли, скрючившись и стараясь прикрыть кистями рук голову, а локтем — печень и почки. Кровь капала в пыль, скатывалась в ней в серо-красные бусинки.

Бросили в белую "девятку", на переднее сиденье, повезли в Цагеру.

...В центре села, перед школой, толпилось несколько десятков местных жителей.

Еще до начала войны абхазы прозвали Цагеру "осиным гнездом". Она и впрямь отличалась от всех грузинских "переселенческих" деревень Очамчирского района, возникших в сороковые годы, каким-то особым неукротимым и злобным антиабхазским духом. Сюда стекались обычно на свой совет "неформалы", здесь вынашивались их акции, копилось оружие...

Нури знал многих цагерцев. Как никак соседнее все же село. Кое с кем из стоявших сейчас перед школой убеленных сединами отцов семейств он лет тридцать-сорок назад гонял в футбол... И тут все они, его знакомые, как по команде, отвернулись — не хотели встречаться с ним глазами.

Нури сбросили на траву под эвкалиптом. Откуда-то появились два длинных куска толстого двужильного электропровода. Конопатый сноровисто накинул петлю из провода на правую щиколотку Нури, а второй его конец крепко привязал к стволу эвкалипта. Другой гвардеец тем временем прилаживал петлю на левую, раненую ногу Нури... И только когда потянул конец своего куска провода к стоявшему тут же старенькому замызганному трактору "Беларусь", до Нури, наконец, дошло, какая казнь ему предназначалась — его собирались разорвать пополам. Или делали вид, что собираются?

Но тут привезли еще одного — парня лет двадцати пяти. Лица его не видно было — одна сплошная кровавая маска. Нури спросили: "Ты его знаешь?" "Как его можно узнать? У него же лица нет". Тогда спросили парня, показав на Нури: "Ты его знаешь?" Тот был не в состоянии говорить, только отрицательно качнул головой... Парня решили "пропустить без очереди". Сняли петли с ног Нури и накинули на длинные и худые, как жерди, ноги этого полумертвеца.

Когда замызганный голубой "Белорус" дернулся вперед, Нури не выдержал и отвернулся. Что все это — запугивание, способ довести жертву до последней стадии ужаса, или человека действительно разорвут сейчас как курицу?..

Но в этот момент на вишневых "Жигулях" подъехал местный житель Шакро Хецуриани. Даже удивительно, как сразу всплыло в памяти Нури это имя — знал-то его всегда, что называется, издали: "Привет!" — "Привет!" — "Как жизнь?" — "Лучше всех", — вот и все их отношения. Рядом с Шакро сидел еще один парень, в "спортивке", про которого Нури было известно, что он вор.

— Вы что с ним хотите делать? — заговорил Шакро, вылезая из машины и показывая на Нури. — Я его знаю, он мне все расскажет... Он мне в штабе нужен...

Нури запихнули на заднее сиденье вишневых "Жигулей". Поехали в сторону Очамчиры, а по дороге Нури услышал, как Шакро Хецуриани говорит вору по-грузински:

— Давай его отпустим.

Тот, подумав, возразил:

— Теперь все в Цагере знают, что мы его забрали... Что мы им скажем?.. А он пойдет куда-нибудь — все равно поймают, убьют... Давай до штаба довезем — а там видно будет.

Штаб грузинских войск, куда привезли Нури, размещался в известном "девятом районе" Очамчиры. Вызвали во двор какого-то офицера. Нури вытащили из машины, он еле стоял... Шакро сказал:

— Я хочу выменять на него своего брата.

— Дело твое, — ответил офицер. — Хочешь — меняй, хочешь — убивай.

После этого Нури отвезли в железнодорожную больницу. Там сразу сделали рентгено снимок ноги. Врач, на попечение которого оставил его уехавший Шакро, — звали его Ираклий Лемонджава и Нури неплохо знал его отца — сказал, что ранение сквозное, пуля вошла и вышла. Но он, Ираклий, чтобы уложить Нури в

больницу, что-то там подложил, и на снимке получилось, будто пуля — в ноге. Тут привезли нескольких тяжело раненных грузин, и Ираклий громко сказал: "Этот абхазец ничего, выдержит, потерпит до завтра, а мы сейчас будем оперировать грузин". И положил Нури в палату на втором этаже.

Трое грузин раненых еще там лежало, и он, четвертый, — абхаз. Один из грузин был местный, кочарский, того же примерно возраста, что и Нури. И он Нури узнал. "Ты тамышский?" "Да, тамышский". "Тужба?" "Тужба". Грузин замолчал, отвернулся к стене...

Ближе к полуночи пришел Лемонджава, снова осмотрел ногу и тихо, на ухо сказал: "Ничего не бойся, дядя Нури, сегодня ночью устроим тебе побег".

Всю ночь в палате просидел, охраняя Нури, гвардеец по имени Анзор, парень из Озургети. Может, для своих он был к нему приставлен, чтобы Нури не сбежал, а по сути — чтоб его не тронули: никого в палату, кроме медперсонала, не впускал и не выпускал. И, конечно, Нури так и не заснул. В голове все время колошматилось: вот сейчас выведут, расстреляют, вот сейчас выведут... Не случайны же были все эти меры предосторожности — в коридоре то и дело начинался шум, слышались крики: "Кровь выпьем этого Тужба! Кровь его надо выпить!" Как потом узнал Нури, больше всего там неистовствовали грузины из Дагеры и Араду...

Под утро Нури с Анзором разговорились.

— Отец, — сказал Анзор, — я твою историю знаю... Ты тут не при чем. Да, пусть твои сыновья против нас воюют... Встретимся с ними в бою — кто-то из нас должен будет умереть. Пуля рассудит. Но ты же — немолодой человек, ты автомат не держал... За что тебя должны расстрелять? ... Я сейчас ухажу, раненых должен сопровождать на вертолете до Кутаиси, но перед этим помогу тебе убежать...

— Как тут убежишь? В коридоре с автоматами стоят...

— Ты не бойся... Тихо пройдешь, как будто в туалет... А там, на первом этаже, у туалета, свернешь направо и выйдешь через черный ход. Я подстрахую, если что... И уходи, спрячься у кого угодно в Очамчире. Если здесь, в больнице, останешься, то тебя убьют.

Было около девяти утра, на улице стало совсем светло. Нури вышел во двор путем, который описал ему Анзор, и, прихрамывая, пошел дальше и дальше...

Несколько суток Нури скрывался в доме очамчирского мегрела Жоры Горзолия.

Мысль отсидеться именно у него возникла внезапно, когда, удирая из больницы, он свернул на улицу, где Жора жил. Вместе когда-то работали в одном АТП, автобусы водили... Знал, что Жора не подведет, не выдаст — и не ошибся.

Спал у него в одной из задних комнат дома, там же и прятался, если днем кто-то стучался в дверь. Когда взрослых дома не было, детишки Жоры обычно сидели у калитки на лавочке и объясняли всем, кто приходил: "Папы, мамы нет, а ключи у них, мы тоже домой не можем попасть".

Но потом уже начались поквартальные обходы-проверки, и он решил: надо двигаться дальше. Но куда? Все автодороги, выходы из города были блокированы. Военные власти Очамчиры постепенно приходили в себя после неудачного штурма города абхазскими отрядами и террор вокруг царил страшный. Тут любой абхаз, который попался бы в руки гвардейцам, мог легко распрощаться с жизнью, а уж такой, как Нури, — неостреленный и недоказанный, у которого сын в

партизанах...

И тогда Нури решил на поезде выбраться в Зугдиди, где у него жил один знакомый. Там-то уж никто за ним охотиться не будет, а по-мегрельски он, слава Богу, знает, по-грузински знает... Да, как ни странно, но легче всего спрятаться от грузин ему в тот момент было в Грузии. Точнее, в Мегрелии, охваченной звиадистскими волнениями.

Люди, к которым он попал в Зугдиди, тоже были звиадистами. Они буквально молились на Звиада Гамсахурдиа. Нури не поддакивал им, но и не спорил, рассудив так: конечно, Гамсахурдиа много в свое время наговорил против абхазов, но кто старое помянет... Да и не хотелось ему ни в чем перечить хозяевам, которые сделали для него так много хорошего: приютили, накормили, привели врача... Пусть молятся на своего Звиада, если им от этого легче... Главное — и Нури, и хозяев дома объединяла ненависть к "хунте" Шеварднадзе. "Мы знаем ваше горе абхазское, — сказал один из них. — Сами от этих кровавых натерпелись".

Около недели провел Нури в этом доме. Нога его уже совсем зажила, и он начал просить, чтобы помогли ему попасть домой, в Абхазию. Такой случай вскоре представился: звиадисты собрали для осажденного Ткуарчала немного продовольствия (теперь оно по-новому называлось "гуманитарной помощью") и Нури снарядили с теми, кто должен был переправить его по горным тропам. Вскоре Нури был среди своих, в Ткуарчале. Через какое-то время, несмотря на возраст, взял в руки автомат и стал отправляться на позиции. Попадись он снова в лапы к грузинским гвардейцам, тем уже хоть было бы за что его расстреливать. А в отряде "Дельфин" воевал теперь и его младший, восемнадцатилетний.

* * *

Талавадзе и Зураб вошли в дом, а Нури с Авелем присели на скамеечке во дворе. — Ты чего сюда не приходишь? — исподлобья глянул Авель. — Что там делаешь в Члоу? Ты же наш...

"Наш", — усмехнулся про себя Нури.

Да, вашим был... Но когда грузины взяли меня... за жабры, пришлось бросить все и бежать отсюда. Выдумали, как будто я сигналил светом партизанам.

Авель ничего не сказал.

— А теперь вот и дома моего нет... А ты где работаешь, бичо* (* *Парень (груз.)*)? Чем занимаешься, что с автоматом ходишь?

— А что делать?.. Надо жить. На железной дороге работаю, функции полицейского исполняю.

— Функции полицейского исполняешь?.. Но ты же, Авель, всю жизнь был трактористом... Они уйдут, которые сюда пришли, а вы не забудьте, ребята, что вам здесь жить. Бросай-ка, лучше, сынок, то, что ты держишь в руках, и успокойся... Совсем вас эти картвелы с ума свели... Вы что, своей головы не имеете? ...Знаешь, у какого народа в Советском Союзе средняя продолжительность жизни была шестнадцать лет?

Конечно, Авель знал этот анекдот. Но Нури без остановки продолжал:

— У вас, у мегрелов. Как только паспорт получали, так сразу в грузин превращались.

— А что мы, не грузины? — заговорил, наконец, Авель, давно ерзавший на скамейке от желания возразить. — И свою голову, между прочим, мы имеем. А вот ты, дядя Нури... две головы, что ли, имеешь?

— Я?.. Ну, ну, продолжай, послушаю...

— Что продолжать? Ты меня обвиняешь, что я железную дорогу охраняю, а твои сыновья что делают? Все знают, что Батал воюет в группе "МГУ" — "Мародеры, грабители, убийцы". Что, не так?

— Слышал я уже эту байку от ваших. Нет у нас такой группы. А то, что воюет — да, воюет. Но он за свою землю воюет. Он же в Кутаиси или в Ланчхути не пошел воевать...

— А я что, не за свою землю... стою?

— Ты? Твой дедушка Чола откуда сюда приехал? Из Хобского района, правда? А мать? Из Цаленджихи... Вот если б ты с этим автоматом встал сейчас рядом с моими сыновьями, тогда бы за эту землю и воевал. А так... И сам не знаешь, за что. Вы, мегрелы, в свое время слишком долго думали, никак не могли решить, где свою столицу сделать — в Зугдиди или в Поты, и в итоге так на бобах и остались.

— Нури, что вы там застряли? — показался из дома Зураб. — Давайте, мы же вас ждем...

— Сейчас, — махнул ему рукой Нури, — сейчас придем, только один вопрос надо выяснить.

И, когда Зураб скрылся, придавил Авеля к спинке лавочки тяжелым взглядом темно-карих глаз (а он умел смотреть так, что собеседнику становилось не по себе):

— Это по твоей наводке меня тогда забрали?

— Когда "тогда"?

— Ты прекрасно понял. В прошлом году, в октябре. Кто мог еще видеть, что у меня ночью свет включался и выключался? А?

— Мало ли кто: и с той стороны живут, и шенгелиевцы могли увидеть...

— Но только такой дурак, как ты, мог решить, что я партизанам сигналю.

Авель, сузив глаза, смотрел на него и молчал.

— А дом мой зачем было сжигать? Хочешь, я сведу тебя с человеком, который своими ушами слышал?..

— Что слышал?

— Слышал, как ты выступал: "Надо тужбовский дом спалить!" Что, не было такого?

— Ну, приведи его сюда, разберемся...

— Так было или нет?

Авель сплюнул на прожженную солнцем землю:

— Да, дядя Нури, здорово же кто-то тебя накрутил...

— Ты не юли.

— Больше мне делать нечего... Может, и вырвалось что-то по горячке... Но я же твой дом не трогал...

— Ага, сам спичкой не чиркал, бензином не поливал... Но канистру с бензином им дал. Так? Думал, никто ничего не узнает? Э-э, брат, что с тобой эта змея, жена твоя, сделала!.. Ты же, Авель, раньше не таким был... Пацаненком у нас во дворе дневал и ночевал. Сколько в нашем доме пил и кушал — забыл? А до тетки твоей Марго, когда все это дойдет, ты представь, что она скажет... И отец твой никогда бы в

жизни такое не одобрил...

— Ну, хватит! — вскочил Авель со скамейки (пьяный-пьяный, а планку предохранителя неувловимым движением поставил на "одиночный бой"). — Ты мне еще мозги будешь вправлять? Всем, что я поел-выпил в твоём доме, меня вырвало, когда узнал про Батала... как он грузин убивает... А ты сам... Думаешь, я не знаю, чем ты там занимался?.. Всю вашу породу надо уничтожить, а то здесь никогда житья не будет. Ладно, мы сейчас с тобой в другом месте поговорим!

Увидев, что Авель направляет на него ствол автомата, Нури на миг растерялся, но потом смело схватил ствол правой рукой и задрал его вверх, а левой рванул автомат к себе. Завязалась борьба — с хрипом, толчками и ударами по ногам.

— Нугзар! — крикнул Авель, задыхаясь. А когда встревоженные Талавадзе и Зураб появились на крыльце, он изловчился и ударил Нури коленом в пах. Одновременно рванув автомат на себя, отлетел к стене дома; оружие осталось в его руках.

— Ну, все, — сказал Авель, вытирая разбитую в кровь губу. — Никуда я тебя не поведу... Вот здесь и прикончу... И в лесу тебя закопаем.

— Авель, дай сюда автомат, — захромал наперерез брату Зураб. — Что тут у вас произошло?

Он уже стоял почти между ними, когда мощный кулак Нури обрушился на скулу Авеля. Авель зашатался и тут же нажал на спусковой крючок. Но на землю, обливаясь кровью, упал не Нури, а кинувшийся вперед Зураб.

* * *

Когда через месяц Нури с сыновьями вернулся в родное село с Ингура, дом Цурцумия оказался пустым. Нури уже знал, что все его обитатели, в том числе и выздоравливающий после тяжелого ранения грудной клетки Зураб, оказались на родине Дато — в Хобском районе.

Нури прошелся по двору, остановился у скамейки, на которой сидел не так давно, выясняя отношения с Авелем. И будто снова услышал истошные крики Хатуны и Нателы, увидел кровь, заливающую черну майку Зураба, серое лицо миготавшего Авеля... В этот миг все находившиеся во дворе, кажется, забыли о пропасти, которая пролегла между ними, неожиданная беда снова сделала их будто одной семьей. Но только на миг...

1997

Смерть ходит по горам

62-летнего кандидата философских наук, доцента Джамфера Халбада война застала в его доме в гористом северном предместье Сухума. За несколько дней весь их "абхазский поселок" (полтора десятка дворов в мегрельском, в основном, окружении) почти опустел. Большинство его жителей выехало за Гумисту, только в некоторых домах оставались старики; семья же Халбад держалась пока в полном составе: сам Джамфер Алексеевич, его жена Циба и их младший сын Валерий с

невесткой и трехлетним ребенком.

Целыми днями обитатели дома на склоне мандаринового холма были прикованы к телевизору. Жизнь поделилась на промежутки между выпусками "Новостей" и "Вестей" из Москвы, да Циба, единственная в доме знающая грузинский, смотрела передачи из Тбилиси и переводила, как могла, услышанное. Все жадно ждали информации об Абхазии, и потом обычно еще некоторое время продолжался "политчас" — обсуждение новостей.

Дней через десять после начала военных действий из города приехала двоюродная сестра Цибы и рассказала, что до нее дозвонился из Гудауты Заур — старший их сын. Он находится там с семьей — и с Белкой, "и с детьми, очень беспокоится о своих и советует им выбираться, пока не поздно. "Именно так и сказал, — повторила она, — "пока не поздно."

После ее ухода был настоящий "совет в Филях", как называл его Валерик. Все собрались в гостиной, только Алясик спал наверху, в детской. Валерик убеждал, что надо бросить здесь все (Бухут и Гия Шаматава — хорошие соседи и за домом присмотрят), взять только деньги и самое ценное из одежды и двинуться всей семьей к Гумисте по горным тропам: знанием этих троп хвалился недавно другой их сосед Сурен Устьян. Тихая маленькая блондиночка Мадина была на стороне мужа, Циба колебалась, и только Джамфер Алексеевич, выслушав их, выступил против. На правах главы семьи он разошелся не на шутку:

— Что с вами со всеми? С какой стати я должен удирать со своей родной земли и где-то прятаться? А вы не подумали, что вот эти "наши братья", которые в нас стреляют, может, только и мечтают, чтоб мы все, задрав хвосты, отсюда побежали, а они бы здесь спокойно, с комфортом, расположились — заняли наши дома, участки, собрали все, что мы здесь вырастили?..

В принципе-то не сказал ничего нового, его позицию и так все в доме знали, но никогда еще он не отстаивал ее с таким напором. После слов Джамфера Алексеевича в комнате долго молчали.

— В нашем поселке, кроме нас да стариков Тарба и Гвинджия, никого уже не осталось, — заговорил, наконец, Валерий. — И Адик, знаю, на Гумисте, на позициях, и Хас, и Мирка... Вот они придут потом и спросят меня: "А ты, оказывается, здесь отсиживался?!" Ты же не хочешь этого?

"А придут ли?" — подумал Джамфер Алексеевич, но ничего не сказал. Он прекрасно понимал, что Валерик должен был произнести эти слова: хотя бы для того, чтобы они были произнесены, — но очевидно было и то, что своей репликой сын сделал Цибу активной соратницей отца в сегодняшнем споре.

— Только тебя там не хватало! — встрепенулась она. — У тебя же маленький ребенок... Не хватит того, что Заур там?

Подразумевалось — никто в этом почти не сомневался, — что Заур "держит оружие" на Гумисте.

Заур рос у них сорвиголовкой. Давно обосновался с семьей в Сухуме (дети у него уже в старших классах учились), неплохо там устроился — без его помощи Джамфер Алексеевич не осилил бы капремонт дома — и вообще был из тех, кто нигде не пропадет. Младший же, Валерик, красивый, как девочка, рос телок-телком. Но любимым телком. И хотя одинаково болело сердце Цибы за обоих сыновей, о

старшем тревожилась все же меньше — полагая, что тот всегда сам сможет за себя постоять, и не задумываясь, что для пули это никакого значения не имеет...

— Ладно, — сказал Валерий, — не будем обо мне. Я — ладно. А вот за них вы не боитесь? — он кивнул в сторону жены и движением головы показал наверх, где на втором этаже спал сейчас Алясик. — Придут ночью несколько человек с автоматами... поиздеваются над ней... А ты, отец, будешь им в это время лекцию о правах человека читать?.. Сейчас можно сколько хочешь храбриться, а тогда что поможет? Или давайте так: нас троих Сурен переведет на ту сторону, а вы с матерью оставайтесь здесь — раз уж ты так за все это имущество переживаешь...

Говоря "поиздеваются", Валерий прибег, конечно, к эвфемизму; не мог же он при родителях брякнуть: "изнасилуют". Но вообще перспектива, нарисованная им, с учетом доходивших отовсюду слухов, выглядела вполне реальной. В конце же своей тирады он явно не сдержался — и тут же поплатился за это. В начале разговора Джамфер Алексеевич в основном слушал, но постепенно "завелся", а тут и вовсе вскочил из-за большого полированного стола. Его пышная седая шевелюра растрепалась, глаза под густыми черными бровями блестели сердитым блеском.

— А ты многое в этот дом вложил, чтобы таким тоном разговаривать: "Имущество"!.. Ты, что ли, его наживал? Этот дом мой отец построил. Таких чисто каштановых домов по всей Абхазии сейчас знаешь, сколько осталось?.. Его для музея хотели купить — я не отдал, вы все это знаете. — он помолчал. — И вообще — не будем паниковать. Подождем хотя бы до третьего...

Третьего сентября в Москве должна была состояться встреча Ардзинба, Шеварднадзе и Ельцина, и все вокруг жили в ожидании этой встречи. Дожить бы до третьего, а там уж, казалось, наступит мир...

Окончательного решения в тот день так и не приняли.

Почти всю ночь потом Джамфер Алексеевич не спал, ворочался, курил, продолжая думать о том, что случилось с Абхазией и как ему в сегодняшней ситуации быть. Никто не мог упрекнуть его в трусости: всем соседям-абхазцам памятно, как он вел себя в 89-м — не прятался, не юлил, а смело спорил с грузинами, доказывал свое. Но не надо, размышлял он, путать: трусость, малодушие — это одно, а реалистичная оценка ситуации — совсем другое. Наивно-нелепо верить в то, что кучка абхазских мальчишек сможет одолеть грузинскую армию. Слишком неравны силы, неравны наши потенциалы.... Даже если ты... как его зовут, этого кумира нынешней молодежи, который вертится на телеэкране, как волчок, разбрасывая во все стороны руки-ноги?.. (позже в памяти всплыло-таки его имя — Брюс Ли)... то когда на тебя со всех сторон навалятся сразу сорок человек, ты через минуту будешь лежать связанный. А грузин больше нас ровно в сорок раз... Пока отношения выяснялись через словопрения, абхазы еще могли что-то доказать, выпорить, выторговать, но сейчас, когда все решает грубая сила... Нет, это гибель для нас. Единственная надежда — на Россию, на эту самую встречу в Москве, на то, что Шеварднадзе обяжут вывести войска из Абхазии. Иначе абхазов ждет новое махаджирство, похуже того, что было в девятнадцатом веке, потому что после этого на родине их останется не больше, чем шапсугов в Шапсугии, несколько тысяч. Остальные, скорее всего, растворятся где-нибудь в Москве, Краснодарском крае, на Северном Кавказе...

И надо же — только-только он закончил ремонт дома! Впрочем, это лишь так называется, что ремонт, а на самом деле был построен, в общем-то, новый двухэтажный дом. От отцовской постройки осталась только передняя часть из великолепных, мягкого и теплого цвета каштановых досок, с резной верандой. Сзади же выросла каменная пристройка ("большой дом") с гостиной, будто скопированной из идущего сейчас по телевизору сериала "Богатые тоже плачут" — диваны, пуфики, винтовая лестница на второй этаж. Стены сплошь обшиты деревом, бар за стойкой, подвесной потолок. Такой, словом, получился синтез абхазской старины и западного комфорта. Все друзья и коллеги, которые успели в новом доме побывать, в один голос восхищались: "Да тут у тебя только международные симпозиумы проводить." И буквально все вокруг: прокопченный котел в пацхе, длинный ряд турьих рогов, прибитых на веранде, небольшая, но изящная хрустальная люстра, привезенная лет десять назад из Праги, натюрморт, подаренный именитым художником, серебряная ложечка с причудливым вензелем, лежащая в ящике кухонного стола, белый фаянсовый молочник, пластиковый коврик-электрообогреватель на стене в спальне, шляпка каждого гвоздя, забитого им в деревянную обшивку гостиной, — все это было сейчас для него так дорого, как могут быть дороги лишь живые существа, к которым привязался на всю жизнь.

* * *

В среду второго сентября по настрою Джамфера Алексеевича: ни коем случае не уезжать — был нанесен чувствительный удар.

Утром собрались за завтраком, и тут от ворот дома послышался истошный женский крик. Вышли и увидели, что к ним еле-еле поднимается соседка, семидесятилетняя Дуся Тарба. Внизу, у ее дома толпилась куча вооруженных людей. Войдя во двор, Дуся упала на колени и стала умолять защитить ее от грузин, которые ворвались в дом и грабят, рушат, ломают все подряд. В это время поднялась и ее старшая сестра Нора, тоже перепуганная, бледная, как смерть. Джамфер Алексеевич и Циба втащили их в дом. Дуся снова рухнула на колени, обхватила Нору за ноги и стала плакать и умолять: "Не дайте им меня убить." Нора тоже заголосила. Циба накричала на них: "Успокойтесь сейчас же!"

Между тем к воротам подошло человек двадцать-тридцать вооруженных и одетых кто в военную форму, кто в "гражданку". Подняли крик: "Хозяин, выходи!" Циба вышла и заговорила с ними по-грузински. Спросила, что им нужно, а они: "Вы прячете оружие и боевиков!"

И раньше уже пару раз к ним в дом заявлялись "проверяльщики", но чтоб такой толпой...

Это были, в основном, жители сел Тависуплеба и Бирцха. Обшарили дом, сад, даже лесок за домом и ушли.

Но это оказалось только начало.

Только успели перевести дух, как через полчаса к дому снова поднялась целая моторизованная армия: два "уазика", две "Волги", грузовая бортовая машина, заполненная людьми, и даже один задрипанный БТР. Циба объяснила, что дом

только что обыскивался, но непрошенные гости потребовали открыть все двери — в подвал, гараж. В соседнем доме Алхаса Халбада, племянника Джамфера Алексеевича, на первом этаже лежал товар на миллион рублей, привезенный из Прибалтики для продажи: три вида рыбных консервов, коробки конфет, водка... Все это начали вытаскивать и загружать в машины. Другая группа на втором этаже занялась поисками драгоценностей и денег. Когда Джамфер Алексеевич поднялся вслед за ними, ему вдруг представилось, что в комнате в летнюю жару идет снег. А это в лицо ему летел пух: потрошились подушки. Поднялись на чердак и оттуда с победным кличем вытащили спрятанные вещи. В гостиной было вдребезги разбито зеркало... Джамферу Алексеевичу стало плохо с сердцем, и он спустился с лестницы. Но то, что он увидел в своем доме, чуть совсем его не доконало. В детской были разбросаны игрушки, ползунки, распашонки. На них наступали грязными сапогами и ботинками. Из шкафов все вывалили на пол. В рабочем кабинете Джамфера Алексеевича книги с полок были тоже сброшены на пол и по ним ходили.

"Оказывается, они "пильольоги", кацо!" — издевательски сказал один ("филологи" — догадался Джамфер Алексеевич). Видно, наткнулся на книги жены... Тем временем раздался крик Цибы из кухни. Там двое здоровенных пьяных гвардейцев, в пятнистой своей форме похожих на двух тритонов, громили все подряд. Один смел прикладом пластмассовые емкости для продуктов, стоявшие высоко на буфете. Другой брал блинчики со стола (в семье так и не успели позавтракать) и отправлял в рот, а потом повернулся и стал наносить ножевые "раны" холодильнику. После их ухода Циба насчитала на своем "Минске" 15 царапин.

Валерия "тритоны" заставили таскать ящики, полные награбленного из окрестных домов, и грузить в машины. С самого начала Джамфер Алексеевич и Циба больше всего боялись за него. Циба объяснила высокому рыжему гвардейцу — судя по ухваткам, он был тут главным, — что это их сын, что он работник культуры, музыкант. Вырвав из паспорта Валерия листок, заполненный по-абхазски, и бросив паспорт на стол, рыжий буркнул: "Вы все тут музыканты, однако держать оружие все мастера." И, оглядевшись вокруг, добавил: "Как хорошо живете, все есть, что вам еще надо было?!"

И стал ораторствовать, все больше и больше распаляясь:

— Чего вам, абхазцам, не хватало? Свои школы имеете, газеты на абхазском языке выходят, даже университет вам дали... Вот моя сестра поступала к вам на иностранное отделение, так ее не приняли — потому что грузинка...

Среди бумаг в книжном шкафу наткнулся на список приглашенных на свадьбу Валерия. Джамфер Алексеевич объяснил ему, что это.

— Смотри, — сказал рыжий, обращаясь к другому гвардейцу, — ни один грузин не был приглашен.

Тогда Циба взяла из его рук список и начала читать грузинские и мегрельские фамилии, и он замолчал.

Потом, чтоб обитатели дома не путались под ногами, их выгнали во двор, где они должны были ждать на скамеечке окончания "обыска".

Не обошлось и без курьезов. Чернобородый лысоватый гвардеец выскочил на веранду с мельхиоровыми ложками в руках:

— Что это?

— Что, бомбу нашел? — не выдержала Циба. — Ложки, что еще?

А один юный верзила собрал всех вокруг себя торжествующим воплем:

— Рация, бичо, рация!

Оказалось, он наткнулся в кабинете Джамфера Алексеевича на портативную пишущую машинку. "Кахетинский осел!" — выругался рыжий на грузинском.

Когда гвардейцы вынесли из дома три полные сумки, Циба сказала: "Покажите, что вы берете." Один из них, сбвсем молодой, лет 16-17, усмехнулся: "Завтра увидишь." Грузовая машина сделала два рейса. В конце гвардейцы начали уже между собой спорить ("У тебя много шоколада", "А ты покажи, что у тебя в машине спрятано...") — не могли поделить добычу. А рыжий еще и начал выговаривать Джамферу Алексеевичу: "Видно, что вы готовились к войне. Вот сколько припасов попрятали для своей армии."

В одном высоком стройном пареньке Джамфер Алексеевич сразу узнал своего бывшего студента, только фамилию не мог вспомнить. Кажется, года два назад закончил... Паренек в "обыске" не участвовал и вообще, как казалось, чувствовал себя здесь неловко. И все же Джамфер Алексеевич решил первым не здороваться, чтобы не ставить его в трудное положение: помочь им парень все равно не мог, только бы неприятности себе нажил. Если уж решится "узнать" своего преподавателя, то пусть сам это сделает... В самом конце, уходя, паренек направился к скамейке, где сидел Джамфер Алексеевич, тот стал подниматься ему навстречу, уже готовя какие-то слова, которые произносятся обычно в ответ на извинения. Однако когда парень приблизился, Джамфер Алексеевич не увидел в его темных глазах ничего, кроме ненависти. Острая боль пронзила правую голень — это бывший студент, стараясь не привлекать лишнего внимания, носком тяжелого ботинка ударил Джамфера Алексеевича в кость повыше щиколотки. И - свистящий шепот: "Что, абхазская тварь, помнишь, как ты меня на госах завалить хотел? Ничего, скоро вам всем..." Джамфер Алексеевич еще какое-то время стоял, ошеломленный, не силах выдавить из себя ни слова, потом, тихо постанывая, опустил на скамейку. Глаза его застилали слезы.

...Когда уезжали, БТР повалил забор, поломал несколько деревьев. Хохоча, "гости" выехали на дорогу...

* * *

В пятницу четвертого сентября, под вечер, пришли двое — сосед, живший через три дома, Бухут Шаматава и подтянутый грузин среднего роста, лет сорока, с зачесанными назад редющими волосами и в военной форме. "Малхаз Чолокашвили, вице-полковник грузинской армии", — представился он, не прибегая к посредничеству Бухута.

Пройдя в гостиную, начал от имени грузинской армии извиняться за причиненные позавчера, как он выразился, неудобства.

— Давайте говорить прямо, уважаемый Джамфер, — сказал он. — И у нас, и у вас, и вообще среди людей любой национальности встречаются скоты. Вы думаете, мы не знаем, сколько в наши ряды затесалось всякой швали, подонков, отбросов общества?.. Еще как знаем! Что делать, любая стрельба притягивает эту публику, как

магнит железные опилки. Вы думаете, на той стороне, за Гумистой, не так? Все то же, только еще хуже. Но вот увидите: мы своих мародеров, грабителей будем отстреливать, как бешеных псов.

Джамфер Алексеевич слушал его с настороженной вежливостью. Конечно, Бухут Шаматава, с которым он пришел, — порядочный человек, но из этого еще ничего не следует. Поблагодарив за приглашение сесть, Чолокашвили достал из командирской сумки бутылку дорогого марочного коньяка. "Двинул по столу бутылку взаимопонимания", — вспомнил Джамфер Алексеевич фразу из какой-то книги.

— Это что такое? — воспротивился он. — По-моему, и у нас, и у вас в Тбилиси такие вещи не делаются... Слава Богу, в нашем доме и водка есть, и вино...

— Ну, — улыбаясь, развел руками Чолокашвили, — извините, если я вас обидел. Будем считать, что это мой маленький презент.

Циба и Мадина — без особого, правда, энтузиазма — начали собирать на стол, а Чолокашвили пружинисто поднялся:

— Я наслышан о вашей библиотеке. Можно взглянуть?

Книжные полки в кабинете Джамфера Алексеевича осматривал с уважением и даже восхищением.

— О-о, Илиада"! Чей перевод? Ага, Вересаева, — и, "разломив наугад томик в яркой суперобложке, начал декламировать:

В том только месте, где шею от плеч отделяют ключицы,
Горло белело его; для души там быстрейшая гибель!
В это-то место копьем Ахиллес богоравный ударил,
И через нежную шею насквозь острие пробежало.
Ясень ему меднотяжкий гортани, однако, не пробил,
Чтобы с Пелидом он мог, говоря, обменяться словами.
В пыль опрокинулся он. И вскричал Ахиллес, торжествуя:
"Гектор! Убивши Патрокла, ты жить собирався остаться?
Ты и меня не страшился, когда я от битв удалялся!
Нет, глупец безрассудный! Товарищ намного сильнейший,
Сзади Патрокла вблизи кораблей оставался я быстрых,
Я, колени твои сокрушивший! Собаки и птицы
Труп твой растащат с позором, его ж похоронят ахейцы!"

Джамфер Алексеевич слушал его, усевшись в свое черное кожаное кресло, Бухут стоял рядом, рассматривая корешки книг на полках.

В изнеможеньи ему отвечал шлемоблещущий Гектор:
"Ради души и колен твоих, ради родителей милых,
В пищу меня не бросай, умоляю, ахейским собакам!
Множество меди и золота в дар от меня ты получишь, —
Выкуп, который внесут мой отец и почтенная мать.
Ты ж мое тело обратно домой возврати, чтобы в Трое
Труп мой огню приобщили троянцы и жены троянцев."

Мрачно взглянув на него, отвечал Ахиллес быстроногий:
"Пес, не моли меня ради колен и родителей милых!
Если б гневу и сердцу свободу я дал, то сырым бы
Мясо срезал я с тебя и съедал его — вот что ты сделал!
Если бы выкуп несчетный, и в десять раз больше, и в двадцать
Мне от твоих привезли, и еще обещали бы больше,
Если б тебя самого приказал хоть бы на золото взвесить
Царь Приам Дарданид, — и тогда, положивши на ложе,
Мать не смогла бы оплакать тебя, рожденного ею.
Хищные птицы тебя и собаки всего растерзают!"

Чолокашвили перевел дыхание и захлопнул книгу:
— Ну, не сойти с ума? Когда эта Троянская война была? Если не ошибаюсь, тысячу двести лет до нашей эры. И вот спустя три тысячи... больше, чем три тысячи лет... я все это вижу каждый день: и выкупы за трупы, и раздробленные кости, и кровь из ран хлещет, и матери по убитым воют, и три дня на разграбление дается...
— Ну, теперь-то не три дня, а куда больше, — вставил Джамфер Алексеевич.
— Да, теперь — больше, — согласно склонил голову Чолокашвили. — Правда, и выкупы, и военная добыча — это негласно. Древние хоть не лицемерили. Ну, вместо медного меча пуля или осколок сегодня жизнь отнимают, а так — ничего ведь не изменилось. Ничуть человечество со времен Гомера не поумнело. А, уважаемый Джамфер Алексеевич, каково ваше просвещенное мнение?
— По этому поводу я бы привел вам такую цитату... — Джамфер Алексеевич поднялся из кресла и безошибочным движением руки выхватил из книжного ряда на полке книгу в зеленоватом переплете, — "Песнь о Гайавате" Лонгфелло. — Вот послушайте... Так., ага... Владыка Жизни, Гитчи Манито могучий, созвал к себе народы — имеются в виду индейские — и обращается к ним с вершины Красных Камней:

"О дети, дети!
Слову мудрости внимлите,
Слову кроткого совета
От того, кто всех вас создал!
Дал я земли для охоты,
Дал для рыбной ловли воды,
Дал медведя и бизона,
Дал оленя и косулю,
Дал бобра вам и казарку;
Я наполнил реки рыбой,
А болота — дикой птицей:
Что ж ходить вас заставляет
На охоту друг за другом?
Я устал от ваших распрей,
Я устал от ваших споров,
От борьбы кровопролитной,

От молитв о кровной мести.
Ваша сила — лишь в согласье,
А бессилие — в разладе.
Примиритесь, о дети!
Будьте братьями друг другу!
Погрузитесь в эту реку,
Смойте краски боевые,
Смойте с пальцев пятна крови,
Закопайте в землю луки,
Трубки сделайте из камня,
Тростников для них нарвите,
Ярко перьями украсьте,
Закурите Трубку Мира
И живите впредь, как братья!"

— Замечательно! — воскликнул Чолокашвили. — "Смойте краски боевые!" Сколько существует "человек разумный", столько и звучат эти призывы. А толку? Его, что называется, подхватило и понесло. Он вспоминал "Шах-наме" Фирдоуси, цитировал Аристофана и Руставели... Затем, когда задался вопросом, почему все-таки, несмотря на неискоренимую тягу истреблять себе подобных, популяция людей, самая многочисленная среди популяций млекопитающих (второе место занимают крысы, но людей развелось куда больше), мысль Чолокашвили сделала неожиданный вираж и он начал пересказывать статью о сине-зеленых водорослях, прочитанную им недавно в каком-то научно-популярном журнале: "По новейшим научным данным, эти водоросли — и не растения даже, и не животные, а микроорганизмы. Так вот, около миллиарда лет назад часть их попала в мировом океане в неблагоприятную среду обитания и стала видоизменяться. Изменялась, принимая все более сложные формы, и доизменялась — в результате всех этих мутаций появились млекопитающие и, наконец, мы с вами. А те водоросли, которым повезло и они продолжали жить в тепле и благополучии, так и остались водорослями. Может быть в этом, дорогие друзья, и есть высшая премудрость природы? Может, как раз эта безрассудная, на первый взгляд, особенность человека — создавать искусственные трудности для выживания своего вида, причинять огромные страдания себе и другим людям — и есть уникальный дар природы и залог удивительного прогресса человечества?" Джамфер Алексеевич слушал рассуждения Чолокашвили, стараясь не потерять их нить и одновременно силясь понять, что это за тип и чего от него следует ждать. Внешне тбилисец чем-то очень напоминал ему киноактера Леонида Филатова. Наконец, дошло — формой носа. У обоих кончики носов будто кто-то прищепил на время бельевой прищепкой и оставил по бокам вмятинки. Да еще, пожалуй, манерой говорить — решительно, все убыстряя темп... Человек, без сомнения, образованный и абсолютно выпадающий из общей массы "госсоветовцев", с какими уже приходилось сталкиваться. Что его сюда, в "зону конфликта", потянуло? То ли он кадровый военный, из советской армии (у него и акцента грузинского почти нет), то ли... псих какой-то...

Потом Чолокашвили поинтересовался "просвещенным мнением" Джамфера Алексеевича относительно сакраментального вопроса: "Сопутствует ли научно-техническому прогрессу нравственный прогресс человечества?" Джамфер Алексеевич убежденно ответил, что сопутствует, но только не прогресс, а наоборот, регресс. Чолокашвили решительно не согласился, назвав это "распространенным заблуждением и свидетельством слабости интеллекта" и долго говорил о "всемирном законе сохранения и превращения добра":

— Поймите, общее соотношение добра и зла за тысячелетия осталось в обществе тем же. Изменилась только форма их проявления — в сторону смягчения. Цивилизация, знаете ли, берет свое... Я не думаю, что в Древнем Риме было больше негодяев и кровожадных людей, чем в современном большом городе. Но попробуйте организовать сегодня где-нибудь гладиаторский бой — пресса тут же поднимет шум и вас быстренько упекут за решетку. Не так ли?...

— Но вы сами произнесли ключевую фразу: "Древние хоть не лицемерили", — сказал задетый Джамфер Алексеевич.

— Совершенно верно, — обрадовался Чолокашвили. — Только это две стороны одной медали. Скажем так: развитие человеческой цивилизации подняло критерии нравственности на гораздо большую высоту, а человек остался тем же, и это несоответствие стало больше бросаться в глаза...

Разговор продолжился уже за столом в гостиной, где к ним пришлось присоединиться Валерию. Чолокашвили очень хвалил поданные блюда, особенно ему понравилась мамалыга с копченым сыром. В центре внимания так или иначе постоянно оказывалось подписанное вчера в Москве соглашение и то, что Ельцин заставил-таки Ардзинба и Шеварднадзе пожать друг другу руки.

"Сейчас можно бесконечно препираться и обвинять друг друга, — рассуждал подвыпивший Чолокашвили. — Вы будете говорить, что это мы начали войну, введя войска в Абхазию, а мы будем говорить: нет, это вы начали, когда стали стрелять в наших солдат. Но стоит ли? Главное — прекратить все это. Что нам, простым людям, делить? Неужели грузину будет хуже от того, что сын его соседа-абхаза ходит в абхазскую школу и говорит по-абхазски, а абхазу — что сын его соседа-грузина ходит в грузинскую школу и говорит по-грузински? И чем плохо, когда они знают языки друг друга?.. Есть просто кучка людей, одержимых жаждой власти, и есть третья сила, которая этих людей использует в своих целях..."

Поскольку разговоры о "третьей силе" набили оскомину Джамферу Алексеевичу еще в его ГИСХе, он постарался перевести разговор от политики к литературе, искусству. Сам он был неплохо знаком с современной грузинской литературой и высоко оценивал романы Думбадзе и последние вещи Отара Чиладзе — "Железный театр" и "Шел по дороге человек". Чолокашвили восхищался Фазилем Искандером — единственное: "не стоило ему в своих рассказах касаться болезненных страниц в истории отношений двух наших народов."

Проводив Чолокашвили и Бухута, подвыпивший Джамфер Алексеевич подумал о том, что он был все же абсолютно прав: нет, ни в коем случае нельзя им срываться отсюда — несмотря на все испытания последних дней. Пустующие дома соседей-абхазов мародеры обчистили уже полностью, ничего из мебели не осталось; у Димы Сангулия даже двери вывернуты с петель, у Капитона Джопуа со двора вывезли

бетонные блоки — а у него в доме, если не считать поцарапанного холодильника, побитых тарелок да нескольких шмоток, все на месте. Да и Чолокашвили сегодня несколько раз сказал: если еще кто к ним сунется, надо сразу сообщить Бухуту, а тот знает, что делать. И, наконец, главное: в Москве подписано соглашение, вот-вот все это безумие кончится, и тогда в дураках останется тот, кто, вернувшись из-за Гумисты увидит свои дома разоренными, а то и сожженными и проклянет собственную минутную слабость.

Что делать, приходилось сегодня поддакивать этому подполковнику и тогда, когда поддакивать совсем не хотелось: в чьей лодке сидишь, того и песни поешь. Но в главном-то Чолокашвили, безусловно, прав: раз Бог поселил наши народы вместе, рядом, значит все равно нам друг от друга никуда не деться, и сколько бы мы ни ссорились, ни дрались, все равно мириться рано или поздно придется. А раз так, то чем быстрее это произойдет, тем лучше.

Когда уже ложились спать, неприятно кольнула, правда, фраза жены: "Что ты сегодня так часто бабушку поминал?" Джамфер Алексеевич действительно несколько раз говорил за столом, что бабушка его по матери была грузинкой, вспоминал о ней как о замечательно трудолюбивом и мудром человеке, которого он очень любил. Но ведь так оно и было. "А что я, по-твоему, — должен был скрывать это как военную тайну?" — пришел в раздражение Джамфер Алексеевич.

* * *

Через несколько дней во время обеда Джамфер Алексеевич разругался с сыном. Можно было бы сказать мягче: "поспорил", но если называть вещи своими именами... С начала войны у них был заключен негласный мораторий на политические дискуссии, а тут сцепились.

Началось все с какой-то малозначительной реплики Валерия, когда смотрели "Вести", а продолжилось уже за обеденным столом. Макая кусочек мамалыги в фасолево варено и хмуря лохматые брови, Джамфер Алексеевич бросил сыну: — Вот если бы не этот твой Горбачев, который на пару с Ельциным развалили Союз, мы бы не сидели здесь и не тряслись от страха и кровь бы не лилась... Ты не знаешь, что мать каждую ночь плачет: убьют Заура или не убьют? А в 89-м, когда был Союз, перебросили в Абхазию внутренние войска и мигом всех утихомирили!..

— Во-первых, он такой же мой, как и твой, — запальчиво заговорил Валерик. — Я еще, помню, посмеивался, когда ты приходил домой с горящими глазами и начинал вдохновенно о перестройке рассуждать: что теперь, мол, все будет по-другому... Помнишь? А во-вторых, не надо, папа, упрощать. Как будто все дело в Горбачеве!.. Все равно бы это рано или поздно случилось. И он-то как раз долго не мог этого понять — что все империи...

— "Империи"! Нахватался слов.

— Ну, а что? И тем более: империи зла... Надо смотреть правде в глаза. Я понимаю, что ваше поколение от этого отвыкло... А главная беда Горбача была в том, что он никак не мог понять: свобода — она есть или ее нет. Не бывает свободы слова в строго отведенных границах, пол-свободы, четверть свободы... Или уж закручивать гайки, или...

— Ты очень умный, да? Ты самый умный в этом доме? А до чего нас довела твоя демократия, не видишь? — Джамфер Алексеевич выбросил правую руку в сторону окна, хотя за ним не было ничего, кроме привычной картины: мандариновый сад, заглядывающее в комнату инжировое дерево, а вдали — зеленые волны холмов, будто заштрихованные тонкими черточками кипарисов. — Да сто лет мне не нужна эта ваша свобода слова, если не сегодня-завтра моего сына убьют! Если каждый день сыновей моих друзей убивают... Тогда лучше действительно гайки закручивать.

— Ну, что делать... — Валерий помолчал. — Когда кость неправильно срослась, ее приходится ломать, а это всегда больно... Но это же факт, что мы жили в королевстве кривых зеркал... Хотя ты это королевство и прославлял на своей кафедре марксистско-ленинской философии, которая теперь просто "философии"... Да, сейчас абхазец идет в бой, умирает, но он хоть знает, за что умирает. Он хоть в бою умирает! И верит, что его семья с гордостью будет о нем говорить. А тогда людей расстреливали пачками, пытали, заставляли себя оговорить, а они перед смертью еще "Да здравствует Сталин!" кричали. Да ты же лучше меня это знаешь! Когда ты учился в пединституте имени Лаврентия Павловича Берия, вам спускали резолюцию, что уровень образования абхазских детей надо поднять обучением их на грузинском, и вы этой резолюции аплодировали. И когда мама пошла учиться в школу, ей сказали: "Благодаря заботе партии вы, дети, будете учиться на грузинском языке". Вас унижали, а вы были счастливы, что вас до сих пор не выслали вслед за греками куда-нибудь в Казахстан. И страх тех лет в вашем поколении до сих пор сидит.

Увлеченный своей речью Валерий не мог остановиться даже после того, как Джамфер Алексеевич стал угрожающе подниматься из-за стола. И замолчал, только когда отец швырнул скомканную бумажную салфетку — сперва казалось, что она летит в сына, но потом, обессиленная, упала на стол — и двинулся к выходу.

— Нет, это сумасшедший дом! — жалобно воскликнула Циба, которая уже несколько раз пыталась прекратить спор. — Вам грузин уже мало, вы между собой скоро передеретесь!

— Тупяк!.. — обернувшись у дверного косяка и не обращая внимания на жену, грохотал Джамфер Алексеевич. — Ты всю жизнь за материнскую юбку держался, в тепличных условиях рос... никакого представления о реальной жизни не имеешь... А сейчас рассуждать взялся о страхе. Сейчас смелым легко быть — забился в середину стада и блей вместе со всеми. Но ты запомни, что я никогда никаким таким резолюциям не аплодировал, так что не надо... А вот ты... еще неизвестно, как бы себя повел...

* * *

Утром в понедельник 12 октября Циба, Нора и Дуся решили пойти пешком в город за хлебом. Издали увидели внизу, в центре села, черную "Волгу" и рядом с ней толпу встревоженных и возбужденных людей. "Наверное, теперь, после Гагры, они боятся прихода наших", — сказала Нора. Когда приблизились, узнали в толпе знакомого еще по событиям 89-го Гочу Толорая. "Нан, нан, убьют, — запричитала Дуся. "Иди за

мной", — бросила ей Циба. Нора шла спокойно.

Толорая громко сказал по-мегрельски: "Вот идет их племя, трое женщин. Сейчас я хоть их за пятерых наших убью". Циба, однако, смело шла в его сторону. "Волга" была набита молодыми вооруженными людьми. Один из них выскочил из машины и, весь красный от злости, отрывисто обратился к ней: "Кто такие, куда идете?" "Мы местные, — сказала Циба, — идем в город за хлебом". Тут к ним подошла соседка Маквала Шургая и с ужасом в глазах стала рассказывать, что вчера ночью в их части села было убито пятеро местных парней. И начала перечислять их фамилии: Салуквадзе, Шония, Лабарткава... Еще кто-то... Нора заплакала по убитому Салуквадзе, потому что его дедушка дружил с ее мужем. Маквала зашептала: "Вы с ума сошли! Как могли показаться на дорогу? Идите сейчас же домой, назад. Вы не слышали? Пятерых убили. В селе горе". Один из мужчин в толпе сказал: "Отпустите их, пусть идут, куда шли". Но в этот момент они услышали крик и увидели старуху, мать Маквалы Шургая, которая кричала по-мегрельски: "Убейте их, надо выпить их кровь!.." Циба повернулась, и все трое быстро зашагали назад, домой.

* * *

В конце октября приехала из города двоюродная сестра Цибы, очень возбужденная. Сказала, что звонила Белла. Надо собираться и немедленно ехать в Гудауту. Вроде бы намечается обмен. Нужно попытаться выехать через гумистинский мост. А вдруг грузины возьмут нас в заложники? — сказал Джамфер Алексеевич — Все это не так просто. Они там не совсем, наверное, представляют наше положение".

Вечером, когда легли спать, Джамфер Алексеевич и Циба, как это часто бывало в последнее время, долго ворочались в кроватях, прислушивались к дыханию друг друга и в конце концов завели разговор.

— Мне кажется, все-таки надо быстрее выбираться отсюда, — шепотом, будто кто-то мог их подслушать, начала Циба. — Ты не чувствуешь, что мы все на пределе? Как будто петля вокруг шеи все туже затягивается... Мне уже Бог знает что чудится... Как уйдут дети к гвасалиевцам ночевать, начинаю думать: "А вдруг это как раз Марго Гвасалия нам гвардейцев подсылает?" Так же можно с ума сойти... И Валерик места себе не находит...

— Да? А мне кажется, что он уже как-то смирился.

Помолчали. Вообще-то Циба знала, после чего смирился Валерик — после того, как она пригрозила: если он с Мадinou и Алясиком попробует выбраться без них, она тут же покончит с собой. Уговорить же отца, зная его характер, Валерий тоже отчаялся...

— И то, что Малхаз, полковник этот, к нам повадился, мне совсем не нравится... Что ему тут надо? Что, ему там у себя не с кем больше в нарды играть?

— Послушай, единственный нормальный человек из них, который с нами общается... Чем он тебе помешал?

— А чем он нам реально помог, от кого защитил? Одни разговоры...

— Ну, он же не может здесь отделение солдат поставить для нашей охраны! И откуда ты знаешь?.. Ты видишь только тех, кто сюда приходит, а тех, которые благодаря ему, может, не пришли, ты же не видишь... Он у меня книги читать

берет... Инал-ипа книгу вот взял. Ему интересен...

— Быт туземцев?.. Не нравятся мне эти посещения, — упрямо повторила Циба. Заговорили о соседях. "Все же как война раскрывает людей! — сказал Джемфер Алексеевич. — Вот Анзор Читая... Я его всегда считал грузинским националистом. Ну, националист-то он и есть.. Но ведет себя порядочно, даже продуктами помог. Зато Гия Шаматава, ты заметила, как сходу к нам изменился? Раньше такой сладкий был, услужливый... А антиевцы вообще обходят нас за версту, как зачумленных. Боятся?.." Циба вспомнила, как на днях Алясик прибежал домой заплаканный: "Бабушка, меня Темурчик абхазом назвал". "А ты, — говорю, — и есть абхаз. Маленький, но абхаз". А он: "А я хочу быть грузином..." И снова это прозвучало как упрек Джемферу Алексеевичу: почему не уезжаем?

— Неужели снова вернутся те времена? — вздохнула Циба и в который раз стала вспоминать, как когда-то в детстве — они жили в Сухуме — мать разговаривала с ней по-абхазски только ночью, чтоб не дай Бог, никто из соседей не услышал. Будила и разговаривала.

Вспомнили о сегодняшней передаче Абхазского радио (в последнее время оно стало для них главным источником информации; работавшие на последнем издыхании батарейки позволяли ловить Гудауту и в дни, когда не было электричества). Циба сказал, что у нее настроение

еще больше падает от траурных мелодий, от этих бесконечных рассказов про погибших. Зачем надрывать душу людям, которые собираются вокруг приемников с надеждой услышать что-то хорошее?

Джемфер Алексеевич был с ней во многом согласен, но считал, что внушать неоправданный оптимизм тоже не стоит — "уже довнушались":

— У некоторых наших абхазцев после Гагры началась эйфория, а мне, наоборот, тревожно на душе. Грузины нам этого не простят... И ведь после Гагры их не перестало быть четыре миллиона, а нас сто тысяч. Грузия — это все-таки го-су-дар-ство, пойми. И грузины тоже и руки-ноги, и гордость имеют, и оружия у них хватает. Видишь, как укрепляются...

— Так что, надо было сдаться?

— Надо было не доводить до того, чтоб они в Абхазию войска направили. Сколько раз перед войной мне сердце говорило: с огнем же играем! Когда Предсовмина в Верховном Совете утверждали, помнишь? Или когда Ломинадзе из МВД выкидывали? Я же говорил: "Нельзя такие вещи делать!" Всегда можно находить какие-то компромиссы..! Нет, шли напролом, на обострение! А ведь мы перед войной разве плохие позиции имели? Никогда за всю мою жизнь абхазцы в Абхазии не имели такие позиции. В Верховном Совете — пусть маленькое, но устойчивое большинство, почти все ключевые посты — в наших руках! Ну, и двигались бы потихоньку вперед, проводили свою политику... Зачем было форсировать? А теперь можем все потерять. Ты со мной не согласна?

— Не знаю я... Нет, мне кажется, война все равно бы началась.

— Так думаешь?..

... В ту ночь Джемфера Алексеевича долго мучила бессонница. О чем только ни передумал, вслушиваясь в перебrehивание и вой собак и далекую канонаду, глядя на беспокрийно спавшую жену. В матовом лунном свете ее лицо казалось ему таким

же молодым и прекрасным, как когда-то, когда он ее впервые увидел. А сколько уже прошло?! Тридцать пять?... Даже больше... Все-таки в чем - в чем, а в семейной жизни ему повезло. Может, даже незаслуженно повезло. Сколько, помнится, было треволнений и страхов, когда ходил, присматриваясь к одной из студенток филфака, светлокудрой прелести девятнадцати лет! И хотя был он уже тогда, в конце пятидесятих, преподаватель вуза, человек, добившийся в обществе определенного положения, имевший на кафедре свой голос, свое мнение и умевший его отстаивать, брали сомнения: зачем он ей — низкорослый и, прямо скажем, не слишком красивый, выглядевший старше своих лет? Горбоносый и короткопалый, он смотрел на ее безупречно ровный нос, длинные тонкие пальцы, и думал, что, наверное, особенно притягивает в ней то, чего он сам лишен... Когда это все-таки свершилось, ему казалось: взял дорогую красивую игрушку, несмышленища, которого надо будет постоянно опекать. Что ж, пусть, думал, так и будет: он властелин-мужчина, хватаящий молнии, добытчик, она — жена-дочка. А вышло все наоборот: такую умную, преданную, стойкую хранительницу домашнего очага попробуй еще где найти. Как спокойно и мудро поддерживала она его в период, когда из-за интриг ему чуть ли не пришлось уйти из института. Это потом уже, в начале восьмидесятих, сам ушел в субтропический... Вот и сейчас — весь дом держался на ней. После того, как закончилась "земляная эпопея" Джамфера Алексеевича: с помощью Валерика закапывал в огороде ящики со всем наиболее ценным из дома, отрыл в саду небольшой окопчик — он больше практически ничего не делал, пребывая в депрессии. Циба же умудрялась из ничего готовить обеды, беспокоилась обо всех и каждом, встречала и выпроваживала непрошенных гостей, поддерживала общение с соседями... Внешне все выглядело благовидно: мужчинам вообще сейчас попадаться на глаза грузинам опасно; Валерик — так тот почти не выходил из задней комнаты, а ночевать они с Мاديной уходили к надежным соседям.

Что же будет с несчастной Абхазией, думал Джамфер Алексеевич и невольно сворачивал в колею спора с сыном, спора, который подспудно продолжался в нем все эти дни. Конечно, Валерий во время их недавней перепалки многое не договаривал, и именно то, что он не договаривал, приводило Джамфера Алексеевича в ярость. Сын считал, что отец отказывается выезжать потому, что выжидает, не хочет сжигать за собой мосты. Именно поэтому, мол, Джамфер Алексеевич и в институт свой время от времени навещался (хотя занятий там никаких, естественно, нет), и даже зарплату пару раз непонятно за что получил. "А может, и выжидаю! — мысленно выкрикивал он сейчас в лицо сыну. — Я не политик, я просто преподаватель, лектор. Я хочу заниматься своим делом и никому не заказывал эту войну. И я абхазец, я родился и вырос на этой земле, я хочу жить в своем доме, в который вложил столько сил, и умереть здесь, а не где-нибудь, как изгнанник, в Краснодарском или Ставропольском крае. И хочу, чтоб мои дети и внуки, правнуки тоже были бы похоронены в этой земле. А что до смелости, то как раз-таки куда большие смелость и мужество нужны тому, кто не боится быть сам по себе. А забиться, дрожа от страха, в середину скандирующей толпы — ту много храбрости не надо".

Джамфер Алексеевич помнил, как накануне войны в местных газетах стали

появляться статейки кое-кого из его знакомых, кто раньше, например, в 78-м, и рот боялся раскрыть, а теперь всеми фибрами души стремившихся доказать: "И я тоже патриот! Я — свой, свой!" И как он посмеивался над осмелевшими авторами... Сейчас они, в большинстве своем, сбились в кучу в Гудауте, но стоит пасть власти Ардзинба — многие из них приползут сюда, помахивая хвостом и скуля о своих ошибках.

* * *

Это случилось в один из дней середины октября. Ближе к вечеру Джамфер Алексеевич в поисках какой-то мелочи зашел в пустой дом Алхаса, который почти вплотную примыкал к заднему торцу его дома. Что-то ему показалось странным. Приставил лестницу к открытому чердачному люку, поднялся на чердак и обнаружил там постель на двух положенных друг на друга матрасах, рядом — грязные бинты, пустую кружку... А спустился с лестницы — наткнулся на Цибу. Та не стала лукавить и рассказала все, как есть. Оказывается, около недели назад Сурен Устьян привел, вернее — почти притащил на себе в поздних сумерках молодого абхазца, который участвовал в неудавшемся наступлении на Шрому, был ранен, отбился от своих и долго блуждал по горам. Почему Сурен притащил его сюда? Ну, как же? Два единственных абхазских дома в округе. Вернее, даже один — к старикам тарбовцам он же его не повел бы... Циба и Валерий общими усилиями подняли раненого на чердак, устроили там постель. Циба делала ему время от времени перевязки, носила лекарства, воду и еду. Когда раненый — это был двадцатилетний абхазец из Адзюбжи — окончательно оклемался, ему дали кое-что из одежды Алхаса, растолковали, как идти, и сегодня на рассвете он двинулся на ту сторону через горы. А прибраться за ним Циба утром не успела и собиралась сделать это сейчас.

Джамфер Алексеевич был, естественно, возмущен и оскорблен тем, что ему ничего не сказали. "Решили не говорить, чтобы ты зря не нервничал, — стала объяснять Циба. — Да и зачем это нужно было? Мы и сами все сделали". "Вы что, мне не доверяете?" — этот вопрос так и вертелся на языке у Джамфера Алексеевича, но он промолчал.

К разговору о раненом "постояльце" вернулись, когда ложились спать.

— Все-таки я удивляюсь, — раздраженно начал Джамфер Алексеевич. — Вот ты спрашиваешь: зачем вам нужно мне было говорить? Да затем, чтобы вы не наделали тех глупостей, которые наделали. Как его можно было на чердаке держать? Да здесь же у нас чуть не каждый день гвардейцы шастают. Ну, вздумалось бы кому на чердак подняться...

— А куда его нужно было деть?

— Уж я бы что-нибудь придумал... А вы даже люк забыли закрыть, когда он ушел. Что за беспечность?.. И откуда у тебя уверенность была, что это не провокация? Ты знаешь, после чего в 42-м Сталин выслал поволжский немцев? В одну немецкую деревню был заброшен десант — как будто фашистский, а на самом деле переодетые русские. Ну, и местные жители пустили их ночевать. Во-первых, как не пустишь, если те с автоматами, во-вторых — все-таки соотечественники, одна

кровь, один язык. В-третьих, может, они даже собирались наутро их сдать с потрохами — кто знает?.. Но этого было достаточно, чтобы всех подчистую в сорок восемь часов, или во сколько там... Слава Богу, что у нас в конце концов обошлось. Если обошлось...

Циба высказала сомнение в том, что для высылки немцев Сталину был нужен ложный десант. И вообще, насколько она помнит, их выселили в 41-м, сразу после начала войны. Потом перевела разговор на то, что происходило накануне у тарбовцев и что они и так уже обсуждали целый день. Ночью к тарбовцам пришли, отобрали двух бычков, бочку вина. Все обыскали. Потребовали рацию. У нас, сказали, есть сведения, что вы имеете связь со своими за Гумистой. пользуетесь рацией. Это — о совершенно неграмотных стариках, которые, может, и не представляют себе, что такое рация. Днем пришли к ним снова — брать единственную дойную корову. Восьмидесятилетний муж Норы Дикран стал сопротивляться, его ударили бутылкой по голове. Сверху, от халбадовцев, были слышны крики, вопли...

Что Циба пережила, когда Валерий стал порываться пойти к соседям, защитить их! "Какой дурак! Вот его бы уже точно они пристрелили!" Ей тогда даже стало плохо, посадили в кресло, отпаивали каплями...

— Какое было бы счастье — уснуть и не проснуться, чтоб ничего этого не видеть! — сказала она сейчас.

Потом долго говорили о положении на фронтах, о том, что конца войне не видно. Обсуждали, правда или нет, что погиб их сосед Амиран Сангулия...

— Боже! Сохрани наших детей и внуков. Спаси и сохрани Абхазию, — в который раз взмолилась Циба.

— Да, это патовая ситуация, — мрачно произнес Джамфер Алексеевич. — Но в шахматах пат — ничья, а здесь — самоистребление, потому что никто на ничью не согласен: и грузины никогда с потерей Гагры не смирятся, и наши им Очамчирский район отдавать не собираются. Ну, и столицу, конечно... Так и будем убивать друг друга... Все равно же рано или поздно мир будет заключен, но если через месяц — еще, допустим, сто-двести человек погибнет, через полгода — тысяча... Но ведь это им на руку — прав был этот Каркаршвили, арифметика тут простая. Мне иногда даже приходит в голову: может, лучше было бы для абхазского народа, если б не занялись грузины в Сухуме в первые дни грабежами и мародерством, а двинулись сходу на соединение со своим десантом в Гагре. Ну, ушло бы наше руководство в отставку... Главное — народ сохранить. А не будь сейчас войны — давно б можно было уже порядок навести, с бандитизмом покончить...

Циба молчала.

— Ты видишь, какие мысли уже, бывает, в голову приходят, — пробормотал Джамфер Алексеевич. — Ох, не знаю я, не знаю...

* * *

Абхазский "микророселок" совсем опустел, разграблен. Держатся только два дома, и то тарбовцы находятся, в основном, у соседей. Только воют голодные брошенные собаки, да приезжают грузинские гвардейцы пострелять оставшихся кур. "Сколько

можно грабить!" — сказала как-то Мадина. "Сколько нужно им, столько и можно", — усмехнулась Циба.

Приходили поживиться все новые и новые группы — и гвардейцев, и местных жителей. Односельчане же их тоже, судя по всему, не чурались мародерства, но предпочитали наведываться за чужим добром куда-то подальше.

Халбадовцев в последнее время не трогали. Но они устали со страхом смотреть на дорогу и прислушиваться, не урчит ли там, внизу, мотор машины. Если машина на развилке поворачивала в сторону их поселка, то все уже были в панике... Устали со страхом ждать сумерек, потому что в темноте начиналась обычно вакханалия: стрельба и шастанье по соседним домам. По окрестным горам, казалось, воя по-шакальему, ходила смерть — и все ближе, ближе...

Обитатели, дома то старались ободрить, поддержать друг друга, то начинали ссориться. Спорили, никак не могли решить, оставаться им или попытаться выехать. "Если уедем, то дом сожгут, как сожгли уже два в поселке, а нас по дороге расстреляют или возьмут в заложники", — таковы были главные аргументы "против".

* * *

Новый год встретили без света, с коптилкой на столе, с дымящей железной печкой в углу. Прокопченная комната, убийственное настроение... Но все же встретили за столом, все вместе (пришли и тарбовцы). Старались шутить, чтобы ободрить друг друга. Даже маленькую елку для Алясика нарядили.

За столом были не только мамалыга с фасолью (единственная в последнее время их пища), но и немного мяса, сыра. Было вино. Выпили за Новый год, за то, чтобы он принес мир и счастье на землю Абхазии, за здоровье детей и внуков, всех сынов и дочерей Апсны.

Вокруг встречали Новый год куда более шумно. Стрельба стояла оглушительная. Со стороны города то и дело взмывали вверх трассирующие очереди.

На следующий день в селе продолжалась пьянка. В доме боялись, как бы их по этой пьянке вообще не уничтожили.

Вечером пришел Бухут Шаматава, принес угощение: жареную поросятину, сациви, водку, конфеты. Был навеселе и долго всех обнимал и целовал: "Ничего не бойтесь, пока мы с братом здесь, вам ничего не грозит".

Джамфер Алексеевич и Валерий посидели с ним за столом, выпили, повспоминали о том, как дружно здесь раньше жили все соседи: и грузины, и абхазцы, и армяне.

Бухут со слезами на глазах рассказывал о своем отце, который жил в селе Кочара: когда рядом, в абхазском селе, горели дома, подожженные грузинскими гвардейцами, он, мудрый старик, сказал: "Э-э, сынки, это грузинские дома горят". Не все его тогда поняли, но потом, когда запылали дома кочарцев после наступления абхазских партизан, все прекрасно поняли. Сейчас он живет в Очамчире, у сестры Бухута...

— Вот если б можно было объединиться хорошим людям всех наций, чтоб повести войну против негодяев, воров, мародеров всех наций, я бы в эту армию, несмотря на возраст, вступил, — продолжал рассуждать Бухут. — Неужто мы с вами этих

негодяев не одолели бы раз и навсегда, а?

Под конец он заговорил о вице-полковнике Чолокашвили: "С ним надо быть осторожным. Это настоящий садист. Он — как клещ, который вцепится вам в тело и будет тихо, долго, с наслаждением пить кровь".

Ушел в первом часу ночи.

* * *

Около одиннадцати утра у ворот забибикали белые "Жигули". Спустившаяся во двор Циба увидела, что из машины выходят Аркадий Хашба* (** Один из организаторов и лидеров коллаборационистского Комитета спасения Абхазии (КСА), действовавшего в 1992-1993 гг. в оккупированной части Абхазии*) и немолодой грузин, фамилии которого она не помнила. Та самая парочка, которая зачастила в их дом в конце ноября и усиленно агитировала Джамфера Алексеевича подписать некое воззвание "за прекращение войны" и вступить в создаваемый в Сухуме Комитет спасения Абхазии. Во время первого их визита Джамфер Алексеевич под благовидным предлогом (сказал, что текст воззвания надо, на его взгляд, доработать, и даже вызвался предложить свой вариант) от подписи уклонился, а потом наказал Цибе объяснить им, когда в следующий раз появятся, что он уехал в город. "Сладкая парочка" приезжала еще два-три раза, но всякий раз Джамфер Алексеевич вовремя засекал их появление на дороге и отсиживался в доме Алхаса.

Кстати, воззвание вскоре было напечатано в "Демократической Абхазии", и под ним среди нескольких десятков фамилий известных оставшихся в Сухуме абхазов как ни в чем ни бывало стояло и "Джамфер Халбад". Джамфер Алексеевич тогда в полном смысле слова рассвирепел, долго бегал по дому, размахивая газетой, но постепенно успокоился. Текст воззвания, надо сказать, был довольно-таки безобидный и обтекаемый. Между тем благодаря этой публикации многие соседи-грузины стали относиться к халбадовцам гораздо приветливее, чем раньше.

...А вот сейчас они его, как назло вышедшего из сарая в меховой своей безрукавке и с пилой в руках, застали врасплох. Да и не ожидал уже, что появятся, думал: отстали.

Аркадий Хашба и его спутник приехали не с пустыми руками, а с мешком гуманитарной муки килограммов на тридцать. Джамфер Алексеевич, когда поднялись в дом, с удовольствием расписался в его получении. Он даже не стал высказывать претензий за случай с воззванием (вре равно уже ничего не исправишь: что было, то прошло). Но если б миссия сегодняшних гостей на этом и закончилась... Аркадий начал уговаривать Джамфера Алексеевича приезжать на заседания КСА (ближайшее намечалось как раз на днях), а потом подsunул прочесть текст, озаглавленный как письмо Генеральному секретарю ООН Бутросу Гали и Президенту Российской Федерации Борису Ельцину. Джамфер Алексеевич начал читать, но, не дочитав, поднялся:

— Это что такое? "Ныне кровавая агония ардзинбовского режима, требующая все новых жертв и разрушений..." Я такого подписывать не буду.

— Садитесь, садитесь, — начал успокаивать его грузин. — Это мы не подписывать привезли, а для ознакомления. Кому нужно, уже подписали.

— Джамфер Алексеевич! — более жестко заговорил Аркадий-Хашба. — Вы все время повторяете: "Я не политик". Но политиком быть необязательно, нужно быть гражданином. Наш с вами народ гибнет, нужно что-то предпринимать, а многие из честных, уважаемых мной, образованных людей, таких, как вы, заявляют вдруг: "Моя хата с краю". Боитесь поссориться с псевдопатриотами? Я понимаю, тут надо немало мужества...

— Слушайте, — перебил его Джамфер Алексеевич, — что вы все меня в недостатке мужества уличаете? Одни упрекают, что я в Гудауту не уехал...

— Кто это?

— Неважно. Вы — что я против Ардзинба не выступаю... А я, может, считаю, что мужество состоит в том, чтобы оставаться самим собой и не петь ни с чьего голоса. Оставьте меня в покое. И заберите, ради Бога, этот свой мешок... — с этими словами Джамфер Алексеевич направился к стоявшему в углу мешку с мукой.

— При чем тут это? — покраснев, вскочил со стула Аркадий Хашба. — Мы с этой мукой не голос ваш приехали покупать! Ладно, мы уезжаем, но вы подумайте. Мне кажется, все должны найти в себе силы...

Джамфер Алексеевич даже не вышел их провожать. Провожала Циба.

* * *

В воскресенье четырнадцатого февраля выдалось ясное, морозное утро. Цитрусы в саду так и пропали, неснятые. Как елочные игрушки, выглядывают из-под снега мандарины, апельсины и лимоны. словно нарочно, небывалый урожай в этом году...

В обед к тарбовцам нагрянули мародеры. Нора попыталась с ними ругаться, но они открыли стрельбу над ухом старухи и прогнали ее со двора. Потом загрузили машину досками и убрались. Нора поднялась к Цибе и устроила истерику: "Вы нам не помогаете. Терпите нас, стариков, потому что без нас не можете здесь оставаться, боитесь!" Вопила, плакала... С трудом ее успокоили.

Около семи вечера тарбовцы поднялись послушать Абхазское радио из Гудауты. Все сидели, как обычно, вокруг приемника. Потом погас свет, через некоторое время залаяли собаки. Начался страшный обстрел дома из автоматов. Через минут пять услышали, как ломают двери. Джамферу Алексеевичу сперва показалось, что это в доме у тарбовцев, но потом совсем близко раздалось на грузинском: "Эй, Гиви, смотри, где они!" Оказывается, "гости" сломали двери в большом доме и через окно заметили свет коптилки в маленьком, бросились к внутренней двери и начали ломать ее с криком: "Сейчас мы вас всех уничтожим!"

Все в комнате сидели ни живы ни мертвы. Циба крикнула по-грузински: "Не ломайте дверь, сейчас откроем", но они уже выбили прикладами двери и ввалились в комнату — трое до зубов вооруженных заросших верзил. Заорали: "Руки на голову! Ни с места! Кто здесь?" Джамфер Алексеевич начал им объяснять, кто они, но крик продолжался: "Где ваши сыновья, я их маму... Против нас воюют? Я их из-под земли достану и разорву!" Кричавший схватил с комода свечку и побежал в большой дом. Другой — за ним. Третий остался и потребовал деньги. А для острастки начал стрелять в потолок и окна. Потом выскочил из комнаты, захлопнул дверь и крикнул:

"Сейчас я вас всех сожгу вместе с домом!" Вбежал снова и начал обстреливать шкафы, холодильник, телевизор. Нора протянула ему дрожащую руку с деньгами (в одежде у нее, оказывается, было спрятано 400 рублей). Он выхватил деньги, посмотрел на них и злобно толкнул ее. Нора упала на кушетку. Повернувшись к Джамферу Алексеевичу, гвардеец вытащил нож: "Сейчас я тебя прикончу". "Имейте в виду, — спокойно сказал Джамфер Алексеевич, стоя у стола, — за учиненный здесь дебош вы все ответите перед вице-полковником Малхазом Чолокашвили". "Кем-кем?" — насмешливо скривился гвардеец и ударил его прикладом автомата. Удар пришелся в левую ключицу. Джамфер Алексеевич еле удержался на ногах. Гвардеец изо всех сил ударил его прикладом в правое плечо, и тогда он рухнул на пол. Гвардеец стал бить его ногами: в лицо, живот... Тут Циба начала кричать. Ее поддержали Нора и Дуся. "Гиви, сюда!" — стал звать гвардеец и убежал. Женщины голосили долго. То ли их вопли подействовали, то ли стрельба сверху, с дороги, где, как обычно, дежурили соседи, но бандиты убрались. Хватились Дикрана, стали его звать и, наконец, вытащили — помертвевшего, почти невменяемого — из-под стола. Какое он представлял из себя жалкое зрелище! "Господи, — мелькнуло в голове Цибы, — как странно устроен мир. Почти еще не жившие мальчишки без тени страха идут в бой и погибают, а этот дряхлый старик с таким отчаянием цепляется за свою несчастную жизнь..."

Через полчаса пришли соседи — Бухут и Жужуна Шаматава, Алик Сергия и русская женщина-медсестра. Осмотрели оба разгромленных дома и ужаснулись: вещи разбросаны, одежда выброшена на улицу, в снег. Груда поломанных стульев в гостиной в большом доме была облита керосином. Видно, хотели поджечь, но сразу не получилось, а потом их спугнули.

Соседи посидели минут 15-20, посочувствовали и ушли. Циба сказала, что из дома надо немедленно уйти и переждать ночь в огороде или сараях. Несмотря на то, что шел сильный снег, собрали наспех узелки с вещами, взяли одеяла и пошли в коровник к тарбовцам, но потом подумали, что там слишком опасно, и решили заночевать в верхнем сарае. Всю ночь не спали, прислушивались к малейшим шорохам...

На следующее утро Джамфер Алексеевич и Циба спустились к антиевцам. Те еле встали. Опухшие глаза, мрачные. Даже не дали им ничего говорить, сами стали рассказывать, как не спали всю ночь, как собрались соседские ребята, но ничем не могли помочь: что они в состоянии сделать — безоружные, бессильные? Омар Антия сказал: "Мы уйдем из дому, больше не можем слышать и видеть ваши мучения. А вы как хотите" ..

* * *

Больше месяца обитателей дома никто не тревожил. Валерий, Мадина и Алясик по-прежнему уходили ночевать то к Сурену, то к Шукри Гвасалия. Но в доме Шукри в последнее время начался разлад: его мать и жена все больше косились на "ночлежников" и втихомолку пилили его: сами, мол, из-за них можем пострадать, и так уже соседи начинают тебя ненавидеть. А тут еще неудачное наступление абхазов на Сухум, сперва вызвавшее в селе панику, а потом погрузившее его на

несколько дней в беспробудные торжества. Обстановка вокруг "абхазского островка" в селе снова накалилась.

Девятнадцатого марта, в четвертом часу дня, в дом нагрянуло около десятка гвардейцев, большинство явно обкуренные.

— Чтоб вы знали, — сразу предупредил хозяев один из них, лет сорока, приземистый, заросший черной бородой до глаз и в завязанном на манер пиратского черном платке на голове, — мы не грабить вас пришли, а убивать. Сердце Цибы сжалось. Что-то подсказывало, ей, что это не просто слова, что эти — самые страшные из всех бывших здесь "гостей".

Гвардейцы согнали обитателей дома — а застали они всех пятерых — в гостиную и с комфортом расположились вокруг: кто в креслах, кто на диване, а один — положив автомат на колени — на подоконнике.

И тут двери открылись, и в комнату вдруг вошел вице-полковник Малхаз Чолокашвили (уже месяца три он не появлялся здесь; говорили, что его перевели в Очамчиру). Его сопровождал еще один гвардеец — гигант под два метра ростом.

Джамфер Алексеевич радостно встрепенулся, но тут же почувствовал неладное — вице-полковник был какой-то странный, с лихорадочным блуждающим взглядом. Ни слова не говоря, он прошел к столу и, притянув к себе свободный стул, уселся.

— Батоно Малхаз, — начал было дрожащим от возмущения голосом Джамфер Алексеевич, но Чолокашвили, подняв правую руку, прервал его:

— Сегодня в госпитале умерли двое моих лучших ребят, вот их друзья. А шестнадцатого осколком снесло затылок Авто Барамидзе. Вы знаете, кто такой был Авто Барамидзе? Он стоил в бою двадцати абхазов! Имейте в виду, я бываю очень плохой, злой...

Чолокашвили замолчал. Молчали и остальные.

— Мне в свое время было любопытно пообщаться с представителем так называемой абхазской интеллигенции, — продолжил Малхаз, в упор глядя на Джамфера Алексеевича, — а вы довольно искусно демонстрировали лояльность властям Грузии. Хотя я прекрасно видел, как вы все здесь меня "любите" в кавычках. Вот этот молодой человек, — он перевел взгляд на стоявшего у стены Валерия, — так, кажется, за столом меня бы вилкой и проткнул... Ха-ха-ха... Но напрасно вы думаете, что мы не имеем глаз... Того абхазского боевика, который скрывался у вас в конце прошлого года, местные жители обезоружили в трех километрах отсюда и доставили в комендатуру.

Джамфер Алексеевич почувствовал, как мертвеет, как деревенеют его щеки... Неужели сбылись его худшие опасения? Кто-то из соседей заложил? Но надо держаться...

— Вы меня шокировали, батоно Малхаз, — стараясь говорить как можно более спокойно и сухо, начал он. — В этом доме, по-моему, вас всегда принимали... с максимальным уважением. И если у вас были какие-то... подспудные ощущения, то это ваши проблемы. И о каком боевике вы ведете речь, я тоже не понимаю.

— Да? — деланно изумился Чолокашвили. — А разве не здесь ему перевязки делали? "Чепуха, подозрения, — подумал Джамфер Алексеевич. — Что я испугался? Если б у них были доказательства, они пришли бы за нами еще тогда, в ноябре".

— Мы не знаем, о чем вы говорите, — твердо сказал он.

— Ладно, — Чолокашвили поднялся со стула. Его, казалось, была нервная дрожь, — допустим. Но вы же не будете отрицать, что поддерживаете режим Ардзинба? И опять-таки дело не в этом. Как сказал Вольтер, "мне отвратительно ваше мнение, но я готов отдать жизнь за ваше право исповедовать его".

Он шагнул к чернобородому "пирату" и, приобняв его за плечи, обернулся к хозяевам:

— Дело в другом. Наш уважаемый Али-баба поклялся, что сегодня убьет хоть одного абхаза...

— И выпью его кровь, — глухо подтвердил Али-баба.

— А я не помню случая, чтобы Али-баба не сдержал своего слова.

Чолокашвили сел на прежнее место и обвел взглядом комнату:

— Какие будут предложения?

"Вот тебе и сине-зеленые водоросли, — мелькнуло в голове Джамфера Алексеевича, — вот тебе и интеллигентные разговоры..."

Гвардеец в ладно пригнанной форме соскочил с подоконника, подошел к Алясику, который сидел на высоком детском стульчике, и положил ему на голову большую жилистую руку.

— Это пацан у вас? Сколько ему? Четыре? У меня такой же. Даже похожи с этим. Мы в Ткварчели жили... до середины сентября. А потом знаете, что сделал один мой сосед-абхазец? Мы с ним в одну школу, между прочим, ходили, в футбол когда-то вместе гоняли... Пришел к нам в дом с целой бандой и с ходу — к моему пацану. И — вот так...

С этими словами гвардеец сунул в приоткрытый рот Алясика автоматное дуло. Мадина вскрикнула. Циба вскочила с места.

— Не бойтесь, я только показываю, — оглянулся гвардеец. — Это для наглядности... А мы с ним десять лет в одну школу ходили... Засунул вот так моему пацану ствол в рот и держал.

Алясик от испуга заплакал.

— Молодой человек, — заговорил Джамфер Алексеевич. — В каждом народе встречаются идиоты и садисты. Я вполне понимаю ваши чувства, но разве мы, наша семья, в чем-нибудь перед вами провинились?

— Он еще разговаривает! — взревел чернобородый Али-баба и метнулся к Джамферу Алексеевичу. — Думаешь, мы не знаем, кто вы такие? Твой старший на Гумисте грузинов убивает, а вы здесь будете спокойно отсиживаться, грузинский хлеб есть?

— Спокойно, — оборвал его Чолокашвили по-грузински и уже по-русски обратился к гвардейцу, который продолжал держать дуло автомата во рту плачущего Алясика:

— Нет, Джикия, мы — армия Республики Грузия, и мы с детьми не воюем. Хотя я понимаю вас: эта смерть произвела бы на наше "благородное семейство" наибольшее впечатление. Но... И не забывайте, друзья, что этот ребенок еще может стать достойным гражданином Грузии. В отличие от тех, кто уже отравлен ядом сепаратизма... Ну, а вы, Маглаперидзе? Каково ваше просвещенное мнение?

Со стула поднялся явно дебильного типа мордovorот с огромным, похожим на колено, подбородком:

— Ну, Маглаперидзе...

Мордоворот осклабился и покосился на Мадину. Среди гвардейцев раздались смешки.

— Ваше мнение, как всегда, окрашено налетом легкой эротики... Но... подождем. А что думают сами... кхм... претенденты? Может быть, будут добровольцы? Кстати, вы, господа, могли бы удалиться в соседнюю комнату и посоветоваться...

— Я думаю, что все это омерзительно, — заговорил после паузы Джамфер Алексеевич. — Почему бы господину Али-бабе не отправиться на фронт и не попытаться счастья там?

Чернобородый вскочил как ужаленный:

— Ничего, до твоего старшего я еще доберусь. А пока за него вот этого кончу!

Он передернул затвор автомата и, прижав Валерия к стене, снизу наискосок приставил дуло к его подбородку. Кадык Валерия судорожно дернулся.

И тут раздался пронзительный крик. Циба повисла на руке чернобородого, бормоча что-то бессвязно, умоляя не трогать сына.

"Пират" отступил на шаг и оскалил в улыбке белые крепкие зубы.

— Когда мать защищает детеныша, — сказал Чолокашвили, — это естественно... Ну, а что вы готовы сделать, чтобы он остался жив? Могли бы, например, взамен... повеситься?.. В принципе выбор уважаемого Али-бабы верен: он остановил взгляд на самом молодом, физически сильном и... Но я привношу в ситуацию новую интригу: мать может выкупить жизнь сына своей жизнью...

Циба, казалось, окаменела.

— Может, хватит издеваться над людьми? — поднялся Джамфер Алексеевич. — Неужели у вас сердца нет? Каждого же из вас тоже мать родила... Или нет?

— А что моя мать? — заорал "пират". — Моя мать — дома.

— Ну, так и она — у себя дома.

В комнате никто не обратил внимания, как Циба тихо выскользнула за дверь. Ее будто подхватило стремительное течение и несло, пока она не оказалась под домом, в помещении, которое выполняло роль подвала со сваленным сюда разнообразным хламом. Отыскала глазами давно примеченную балку. Минуты хватило ей, чтобы, став на пустой деревянный ящик — так и не востребованную нынче тару для мандаринов — привязать бельевую веревку с затянутой на конце петлей. Когда оттолкнула из-под себя ящик, он на мгновение запутался в ногах, и это чуть дольше возможного продлило ее жизнь. Рука судорожно дернулась к горлу, но тут же в бессилии опустилась: в мозгу, ее будто взорвался ослепительный огненный шар. С минуту тело сотрясало в последних конвульсиях и раскачивалось.

Первой почувствовала недоброе Мадина и ни слова не говоря бросилась из комнаты. Когда она вновь появилась на пороге, горло ее распирало крик.

* * *

В начале июля 93-го огненная дуга лука — выгнутая с севера линия Гумистинского фронта — вплотную приблизилась к дому на мандариновом холме. Трепещущая тетива этого лука, нацеленного на Сухум — главный оплот и сердце грузинской обороны, натягивалась невероятными усилиями тысяч бойцов: абхазов, горцев Северного Кавказа, русских, армян и других, многие из которых уже хлебнули

горечи неудавшихся наступлений на столицу Абхазии в январе и марте и были готовы вгрызаться в землю, но не отступить на этот раз от занятых рубежей ни на шаг. Гума, Ахалшени и Каман стали уже абхазскими...

— Подожди-ка, подожди... А я ведь, кажется, в этом домике бывал, — произнес командир батареи Леонид Тарба, опустив бинокль и оборачиваясь на своего зама Бахала Гулария.

Дно лощины, лежа на краю которой они вели наблюдение, густо заросло ольхой и кустарником. Сейчас в этих зарослях, заполненных спозаранку белесым туманом, шло шевеление — там заканчивалась установка орудий. Уже почти рассвело.

— Да, кажется, бывал... Незадолго до начала войны, — Тарба съехал чуть вниз и, облокотясь левой рукой о травянистый бугорок, повернулся к собеседнику. Его маленькое, коричневое и морщинистое, похожее на скорлупку грецкого ореха лицо выглядело озадаченным. — Между прочим, абхазский дом. И дом, я тебе скажу... Я с товарищем к его родителям сюда заезжал... Отец то ли профессор, то ли... Но его дома тогда не было. Ну, домик, согласись, и издали смотрится, а как внутрь зайдешь... "Президент-отель"!

— Не может быть! — деланно не поверил Гулария, лежа на спине и покусывая прозрачную сладкую ножку травинки. — Чтоб абхазцу дали так развернуться?

— Ну, не знаю, — в тон ему ответил Тарба, — наверное, у него все-таки какие-то эндурские корни...

Никто из них об этом не заговорил, но оба одновременно подумали о грудке мусора, которая возникнет скоро на месте этого самого дома, который горделиво возвышался почти на самой вершине зеленого холма в трех километрах отсюда.

— Тьфу ты, — с досадой произнес Тарба, — а точно этот дом? Ночью же темно было, как в бочке с тушью...

— Как-как? — Батал расхохотался. — Ну, ты сказанул... И где такого нахватался, а? Что за вычурные книжные выражения!.. Нет, чтоб сказать по простому, общенародному: темно, допустим, как у негра в жопе.

— Ну, что делать... Каждый оперирует наиболее близкими ему понятиями.

— И вообще, где наш прибор ночного видения?

— Как раз в том месте, о котором ты только что сказал. Ладно, а где твой этот... как его... проводник? Его что, не подняли?

— Должны были.

— "Должны были"... Ну, так давай, сгоняй за ним кого-нибудь. Только шустро...

И пока Батал, спустившись в лощину, давал распоряжение, а заодно и нахлобучку — отсюда не слышно было, за что — одному из бойцов батареи, Леонид впал в размышления о суетности человеческих устремлений, которую ничто, пришел он к выводу, не обнажает так, как война.

Вернувшийся Гулария блестел карими глазами и своей "фирменной" белозубой улыбкой:

— Все в порядке, мой генерал!.. Н-да, а в это время где-то в штате Аризона...

— Ну?..

— Какой-нибудь фермер попивает в кругу семьи вечерний джин с тоником.

— Да, да, а в Объединенных Арабских Эмиратах какой-то шейх реализует

супружеские права с третьей из своих жен... А вот мы сейчас должны накрыть их первым залпом так, чтобы камня на камне не осталось... Я, знаешь, кого сейчас вспомнил? Одного мужика, с которым в таксопарке работал... Это еще до института... Был один такой... имени, фамилии уже не помню. Чтоб посидеть, выпить со всеми — никогда. Одевался кое-как, семьи не имел. Зато каждую копейку в дом вкладывал. Я, правда, в том доме так и не побывал, но ребята рассказывали. Музей, а не дом. Окна, двери — из мореного дуба, шпингалеты на окнах бронзовые, сантехника, естественно, финская... И вот я не раз думал: зачем ему все это, если в доме никто почти не бывает? Кто все это видит?

— Молодой был? Может, жениться собирался?

— Лет за пятьдесят уже...

— Смотри, пришел...

Они спустились к трем замаскированным в лощине орудиям, около которых стоял, опираясь на палку, изможденный седой старик.

— Ну, как спалось, отец? — заговорил Тарба. — Значит, так... Ну-ка, давай, снова покажи. Вот этот дом, на самом верху? Белая крыша? Хорошо... Так в нем, говоришь, до тридцати человек? За сараем вон тем — "бээмпэшка", а в саду — еще одна. Так? Ну, смотри, головой отвечаешь... Да, когда я дам сигнал, открой рот и закрой уши ладонями, в так... чтоб барабанные перепонки не повредить...

Выстрел, потом еще один, третий вздыбили дом на холме и подняли над ним белое облако пыли. Орудия продолжали палить. Дом загорелся, и даже с такого расстояния были слышны крики застигнутых в нем. Еще один железный плевок на кишащий людьми склон — и вдали загрохотали автоматы идущих в атаку.

— Н-да, — задумчиво сказал Гулария, — а в это время где-то в Южном Китае, в провинции Сычуань...

— Как, говоришь, отец, твоя фамилия? — обратился Тарба к старику.

— Халбад.

По худым щетинистым щекам старика текли слезы.

— Подожди, подожди... А вы не Заура отец?

Старик кивнул.

— Так это... Я же в вашем доме бывал... Перед войной... Заур мне недавно рассказывал о вашей трагедии. И Валерика я недавно видел. Держитесь, держитесь, давайте я вас вот сюда, под дерево, усажу... Как же я вас не узнал...

1997

Гудаутские каникулы

— А можно я тоже с вами буду играть?

Ирочка — беленькая красивая девочка с пушистыми светло-рыжими волосами и большими серьезными зелеными глазами — незаметно подошла сзади и стояла, смотрела, как дети возятся в тенистом уголке у ограды, в недостроенной будке из шлакоблоков. Ирочка среди детей турбазы "Черноморец", где жили беженцы, держалась особняком, все с бабушкой да с бабушкой — худенькой шустрой

старушкой, а тут не утерпела, подошла.

— А ты хоть знаешь, во что мы играем? — важно наморщил нос восьмилетний Астик.

— А что ты умеешь?.. У тебя кукла есть?.. Мы в семью играем... — затараторила Мрамза — самая старшая здесь: ей на днях исполнилось двенадцать. — Я — мама. А это у нас самый маленький, он месяц назад родился.

Ирочка посмотрела на голыша, который лежал в пластмассовой ванночке, завернутый в марлю, и засмеялась.

— А у меня есть кукла Стелла, ей уже четыре года. И "конструктор" еще, — похвасталась она.

— Так давай неси сюда, — сказала Лика, помешивая пластмассовой ложечкой в пластмассовой кастрюльке, — а мы пока мамалыгу сварим.

Ирочка весело побежала к зданию турбазы, время от времени подпрыгивая на одной ножке.

— Воображала, — посмотрела ей вслед Саманта.

— Ничего она не воображала, — возразила Лика. — Девочка как девочка.

Вскоре Ирочка, запыхавшись, прибежала и протянула Мрамзе куклу — белокурую, с розовыми щечками и ярко-голубыми глазами:

— Вот. А "констриктор" бабушка не дала, сказала: "Еще растеряете там..." А почему в семье нет папы?

— Вот глупая, — пожала плечами Лика. — Папа же на позиции, с грузинами воюет...

— Так, — деловито сказала Мрамза, усаживая Стеллу в угол. — Пусть отдохнет с дороги. Ты, Ирочка, будешь моей двоюродной сестрой из Нового Афона, а это твоя дочка. Вы к нам в гости приехали.

— Почему из Нового Афона? Мы в Сухуме живем, — воспротивилась Ирочка.

— Так я тоже сухумская. И Астик. А Лика из Очамчиры... Ну, какая разница?.. Это же понарошку. Ну, ладно, не хочешь из Нового Афона, пусть — из Москвы...

Коробка из шлакоблоков, в которой они играли, должна была, судя по всему, впоследствии превратиться в очередной коммерческий ларек, из тех, что повсеместно расплодились в последние годы. Но к тому моменту, когда год назад началась война, строители успели закончить только одну стену, три другие возвышались не более полуметра над землей. Тут же остались большая куча песка и железная пружинная сетка от кровати, через которую этот песок просеивали.

— Ой, — обрадовалась Ирочка, — а я из песка пирожки буду печь. Мне бабушка показывала, как...

— Ну вот, — недовольно вскинул лобастую кудрявую голову Астик. Он перочинным ножиком строгал дощечку — заготавливал дрова для очага, — мамалыга — из песка, аджапсанда — из песка, пирожки — тоже из песка...

— Вот раскапризничался! — изумленно произнесла Мрамза. Она расставила длинные худые ноги, уперлась смуглыми кулачками в бока и уже готова была разразиться длинным нравоучением на тему "лопай, что дают", но тут со стороны жилого корпуса турбазы послышался протяжный женский голос:

— Лика! Лика!

— Меня мама зовет, — вздохнула Лика и отложила пластмассовую ложечку в сторону. — Ирочка, ты мамалыгу варить умеешь? Давай, тут совсем недолго

осталось. И смотри, чтоб без комков получилась... А мы с мамой в поликлинику должны идти.

...Ли́ка была для своих десяти с половиной лет крупным ребенком — с гладкими русыми волосами по плечи и светло-кариими глазами, лучшая пловчиха и главная заводила среди ровесниц в "Черноморце".

Мама на Ли́ку и похожа, и не похожа: такие же, разве что чуть темнее, русые волосы, карие глаза, красивые, тонкие черты лица, но худенькая, небольшого роста. Она была недовольна тем, что Ли́ку пришлось долго звать, и сразу крепко взяла ее за руку.

— Ну, как ты сегодня? Не тошнило больше?

— Не-а, — мотнула головой Ли́ка.

— Я тебе, Ли́ка, сколько раз говорила: брось лазить по садам. Кушаете там всякую дрянь подряд... Или дизентерию подхватишь или еще что...

— Да-а, а в этой столовой... Ты, мама, сама говорила: голодной туда идешь, голодной выходишь.

— Подожди чуть-чуть: вот дядя Рудик обещал нам из Ачандары копченого сыра привезти... И перестань со всеми подряд водиться. Что за друзья у тебя появились? Вовик-шмовик...

— Вот еще... Я с ним один раз всего и разговаривала.

Вовик был чумазый, будто его из грядки вытащили, пацанчик, несколько дней назад прибившийся к "Черноморцу" и мигом возродивший у его взрослых обитателей книжные представления о беспризорниках 20-х годов. Из его малосвязных объяснений следовало, что он из русской семьи, жившей в Сухуме, и родителей его убило во время бомбежки, но кое-кто поговаривал, что на самом деле он гудаутский и сбежал от матери-пьяницы. Он повсюду таскался со своей тощей котомкой, а ночевать упорно устраивался на голом матрасе в гладильной комнате, хотя сердобольный женский персонал турбазы предлагал ему пустующий номер и даже готов был выделить комплект постельного белья. Пару раз, как помнила Ли́ка, Вовик задибался с вожаком "черноморской" ребятни Баталом. Однажды во дворе турбазы они стоили и осыпали друг друга такими изощренными ругательствами, что высокий приезжий парень с постоянно-ироничным выражением лица, идя мимо них в столовую во главе ватаги московских журналистов, обернулся к своей спутнице и изрек:

— Если бы я был Лермонтовым и писал сегодня "Героя нашего времени", то одну его знаменитую фразу дал бы в такой редакции: "Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка... который не ходит в детсад и не нахватался еще там от других детей непотребных выражений."

На что та не замедлила в тон ему, с таким же умным видом, ответить:

— Но вся беда в том, что ты не Лермонтов, а "Герой нашего времени" уже давно написан...

А, в общем-то, мама совершенно зря беспокоилась, будто Вовик может оказать дурное влияние на ее Ли́ку: во-первых, Ли́ка с ним действительно всего раз и говорила, а, во-вторых, Вовик к тому моменту после нескольких бесед с медлительным и массивным густобровым директором турбазы бесследно исчез из "Черноморца": говорят, его взяла на воспитание какая-то местная семья.

...Лика с мамой долго ходили из кабинета в кабинет по ветхому деревянному зданию районной поликлиники. В последнем кабинете нервная пожилая врачиха с большой бородавкой на подбородке и волосами под белым чепцом, выкрашенными в неправдоподобный фиолетовый цвет, выставила Лика в коридор и минут десять разговаривала с мамой, срываясь иногда — даже из-за двери было слышно — на крик.

Мама вышла из кабинета с заплаканными глазами и всю дорогу до "Черноморца" молчала, а Лика постоянно тянула ее: "Мама, ну быстрее, на обед же опаздываем." И точно, поднялись они в турбазовскую столовую уже в момент, когда во всем ее просторном зале допивали свой безвкусный и несладкий гуманитарный чай три-четыре последних едока. А ведь сегодня на обед — Лика с утра знала — был ее любимый гороховый суп. Но раздатчица Фируза улыбнулась ей: осталось, мол, — и налила два полных черпака (сразу, значит, с добавкой) еще теплого супа, так что Лика сразу успокоилась, тем более, что в супе плавало несколько волоконцев мясной тушенки. А до второго — пшенной каши — Лика зато чуть дотронулась. Напрасно некоторые думают, что она "обжорка", — например, мама пятилетнего Темурчика, которая всегда умудряется с ним сесть за один ряд с Ликой, и постоянно кивает в ее сторону: "Посмотри, как Лика кушает... Видишь, как поправилась..." Темурчика всего месяц назад привезли сюда на вертолете из Джгерды, где он год находился у бабушки. Лика запомнила, как в первый день Темурчик, сидя на скамейке, все заглядывал своей маме в лицо и переспрашивал: "Мама... Ты моя мама, правда?", а потом, когда они вошли в столовую, схватил ее за руку и закричал, потянув к столам, где на тарелках был разложен хлеб: "Мама, смотри, хлеб, хлеб! А вообще, он такой смешной, этот Темурчик! Раз забыл, как называется вилка, и говорит: "Дайте мне колючую ложку!.." А как-то один взрослый принял его за девочку, а он ему важно говорит: "Я не девочка, а такой красивый мальчик." После обеда Лика обегала всю территорию турбазы, но не нашла никого из друзей. И на пляже, который начинался сразу за оградой турбазы, не было ни души, только какой-то рыболов торчал с удочкой на волнорезе, да прогуливался вдоль берега один молчаливый старичок, Джамфер Алексеевич, лектор, про которого в "Черноморце" рассказывали, что он потерял в войну жену и сына. "Добрый день", — поздоровалась с ним Лика. Несколько секунд он молча смотрел на нее мутными непонимающими глазами, потом кивнул и пошел дальше.

Лика качнулась пару раз сама с собой на качелях, потом сбила длинной палкой инжирину в маленьком, из трех-четырех деревьев, турбазовском саду и поплелась домой, в номер. Единственный, когда она увидела по дороге в эту послеобеденную жару, был одноногий русский парень, который стоял на веранде второго этажа турбазы, опершись на костыль, и смотрел в сторону моря. Он часто и подолгу стоял вот так молча то с этой, внешней, то с внутренней стороны жилого корпуса. Здесь, в "Черноморце", жили и его совсем молоденькая жена и теща. Мама рассказывала Лике, что они все из Меркулы, что этот парень воевал на Восточном фронте — "как наш папа" — и подорвался над mine, а в Гудаутском госпитале ему отрезали ногу. На оставшейся правой ноге у него всегда была надета новенькая фирменная, очень красивая кроссовка, и Лика смотрела на нее со сложным чувством: а где, думалось, другая, левая, и обидно становилось, что вот такая отличная пара кроссовок

"пропадает". А в глаза этому парню она почему-то всегда боялась посмотреть — может, из-за вечного его молчания! Только когда жена давала ему поддержать маленький живой сверток — их недавно родившуюся дочку — его лицо оживало и он улыбался.

А еще Лика, когда смотрела на него, всегда думала о папе. Папа — высокий, красивый — был командиром и один раз прилетал с Восточного фронта. Неужели у него тоже вот так могут отрезать ногу и он станет таким же несчастным? Мама как-то сказала: чтобы папа был живой и невредимый, за него надо молиться. Но как это делать, Лика не знала и только иногда, засыпая, говорила про себя: "Бог, сделай так, чтобы война кончилась и папа был бы живым и невредимым."

Мама была в комнате. Лика прилегла на кровать и незаметно заснула. Когда она проснулась, мама тихо разговаривала с тетей Ларисой с третьего этажа. Тетя Лариса сидела у дверей, и Лика слышала, и то неразборчиво, только то, что говорила мама: — Нет, я в отчаянии... И они там даже не знают, что посоветовать... Ты что, с ума сошла? Лариса, только я тебя умоляю, никому ни слова... Ну, я так, на всякий случай говорю... Так я им то же самое целый день твердила... Уехать? Куда? И как с Ликой начать разговор, ты это можешь себе представить?... Господи, какое несчастье!.. Лариса, ты у меня тут единственная подруга... Я с ума уже схожу...

В это время со стороны флигеля, расположенного у северной ограды турбазы, там, где Лика сегодня утром играла со своими друзьями, донеслись громкие женские причитания.

— Началось! — подала голос тетя Лариса, подходя к окну. — Уже вторую неделю эта старуха не успокоится, а?... Оставь, Кама... У людей вокруг столько горя, в каждой, считай, семье... Я что ли горем не убита, такого брата потеряла. Но я же не выставляю свое горе напоказ — чтоб вот так каждый вечер с пяти до восьми выть!.. Почему же она утром не плачет, когда все расходятся, а? И главное, кто, говорят, этого ее племянника убил? Не грузины, а свои же. То ли за мародерство, то ли...

— Мама, можно я на море пойду? — соскочила Лика с кровати.

— Иди, иди. Только что тетя Люда пошла со своими. Найди ее — и от нее ни на шаг. Ясно?

...К вечеру турбазовский участок пляжа наполнялся пестрой публикой "Черноморца": беженцы с детьми, местные и приезжие журналисты, боевики (правда, сейчас, к концу лета 93-го, последних здесь осталось очень мало; большую их часть, в том числе и знаменитую команду Шамиля Басаева, расквартировали в других местах). Присоединялась к ним и гудаутская молодежь с окрестных улиц. Лика купалась от души. С Мрамзой и Самантой они устроили заплыв наперегонки до конца волнореза, и Лика, конечно, победила. Вообще удивительно: Мрамза на полтора года ее старше и ростом выше, а купается в море голышом. Ну, то есть не совсем голышом, а в трусиках. А Лика надевает темно-синий закрытый купальник — потому что у нее уже явно обозначились припухлости на груди, и она в июне так их застеснялась, что мама достала где-то для нее купальник "на вырост". С наступлением сумерек людская масса стала перетекать во двор турбазы, обращенный к морю. С месяц назад один беженец, живший на первом этаже, выставил в лоджию экраном наружу телевизор, который был у него в номере; во дворе поставили в несколько рядов парковые скамейки, стулья — и получилось что-

то вроде летнего кинотеатра. Вот и сейчас многие сидели здесь и смотрели телевизор. Другие стояли поблизости, разговаривали, ожидая начала передач Абхазского телевидения. Кто-то гонял мяч вдаль на футбольной площадке, кто-то расположился на свежем воздухе за шахматной доской, кто-то перекидывал ракетками волан... В общем, персоналу турбазы эта идиллическая картинка вполне могла напомнить очередной довоенный заезд отдыхающих...

А Лику с заговорщицким видом отозвал в сторонку Батал.

— У меня вот что есть, — сказал он, вытаскивая из-за пазухи круглую зеленую гранату. — Настоящая лимонка. Секи, — и он взялся за блестящее кольцо, как бы намереваясь выдернуть его.

— Дурак! — крикнула Лика и даже ногой топнула. Она очень хорошо помнила, как недавно в одной из комнат на первом этаже взорвалась граната. Одного из боевиков уложило наповал. "Пили, пили, вот и допились до чертиков", — сказала мама. Из комнаты тянуло гарью и дымом. У порога ее стоял следователь и никого вовнутрь не пускал. А у косяка двери сидел один из этих боевиков и размазывая слезы по грязному лицу, плакал: "Павлуха, братуха..."

Батал засмеялся и чем-то щелкнул: над "гранатой" засветилось, заколебалось маленькое пламя.

— Это зажигалка такая, мне сегодня один кабардинец подарил. Испугалась?

— Ух, какой ты... нехороший, — повторила Лика слово, произнесенное как-то в адрес Батала горничной с третьего этажа. Какой он, в самом деле, этот загорелый до черноты, голенастый, драчливый и задиристый Батал, с самого поселения Лики в "Черноморце" почему-то решивший взять над ней "шефство"? (Неслучайно Астик как-то вывел углем на цоколе здания столовой: "Батал + Лика =" и неизвестно еще что написал бы там, если б Лика не отобрала у него уголь и не отлупила). Это с его легкой руки "черноморская" пацанва посбивала камешками почти всю надпись из красивых пластиковых букв на южном, фасаде жилого корпуса — "Миру — мир". Это он стянул однажды у пьяного казака папаху с красной полосой и нагайку и, пока тот спал на скамейке, носился по двору, воздев папаху на длинную палку и подхлестывая нагайкой по крупу несуществующую лошадь... Помнится еще, как он затеял спор на игровой площадке: "Мой папа воюет!" "И мой папа воюет, — с готовностью отозвалась Лика. — Он командир на Восточном фронте." А Мрамза молчала, потому что ее папа — совсем еще не старый — жил в "Черноморце" как беженец и все это знали (может, у него что-то болит, думала Лика, но Мрамза никогда на эту тему не говорила). А Астик вдруг заплакал, потому что его папу убили полтора месяца назад на Гумисте, и Батал тут же перевел разговор на другую тему, начал показывать, как он умеет подтягиваться на перекладине...

Тут как раз началась передача Абхазского телевидения, и Лика с Баталом побежали ее смотреть. Всех насмешил момент, когда ведущий Зураб Аргун разговаривал с одним приезжим из России и тот сказал: "Этот грузинский генерал Кукарешвили..." Аргун его поправил: "Каркарашвили". А тот: "Я его называю "Кукарешвили". Потом, когда передача закончилась и большинство стало расходиться, Лика услышала, как кто-то заговорил, смеясь, с дядей Зурабом (он тоже смотрел телевизор, его разговор шел, оказывается, в записи), а дядя Зураб сказал, что этот приезжий заранее попросил вот так поправить его.

Было уже совсем темно, и Лика пошла домой...

— Спи, — мама, склонившись над кроватью, вдруг стала целовать Лику, и целовала ее долго-долго, а потом Лика почувствовала, что на ее лицо капнуло что-то теплое. Вот странная — с чего вдруг надумала плакать?

"Хорошая все-таки у этой Ирочки кукла, — думала Лика, лежа в постели и пробуя заснуть. — и сама она неплохая девочка. Надо с ней подружиться."

Вообще здесь, в "Черноморце", весело: и качели есть, и море, и детей много. Раньше она никогда в Гудауте не бывала. Лето обычно проводила у бабушки с дедушкой в Беслахубе, но там моря нет. В прошлом году, после четвертого класса, сперва дома была, а потом поехала в Киндги в детский лагерь, но тут война началась. Сколько они все страху натерпелись, когда танки грохотали, пушки стреляли! Папа хотел вывезти их с мамой на корабле из морпорта, но не получилось. А потом папу гвардейцы сильно побили, он несколько дней встать не мог. Кушать совсем нечего было, и они пешком пошли в Беслахубу. Мама с Ликой остались у бабушки с дедушкой, а папа ушел к партизанам. Но в Беслахубе тоже очень страшно было: иногда так начинали стрелять, что земля дрожала. И в школу Лика не ходила — так год и пропустила. В Беслахубе у нее была только одна подружка — на два года старше, по имени Аснат. У нее папы не было, а маму убило снарядом, и она жила с дедушкой Астаной, через три дома от Лики, там, где лес начинался. Дедушке было семьдесят лет, его потом, весной, тоже убили, Лика своими глазами это видела. Она как раз была в тот день дома у Аснатки и играла с ней, и тут приехали гвардейцы и как закричат на дедушку Астану: "Апхазебо? Сад арис швени важишвилеби?" * (* Абхаз? Где твои сыновья?" (груз.)). А дедушка им: "У меня нет сыновей. Это вот дочки покойной ребенок, а это — соседки." Тогда они заставили дедушку принести водку, вино, сыр, фасоль, соленья, холодную мамалыгу и сели за стол пить и кушать. Их всего было четверо. Один из них все время улыбался и шутил с Ликой и Аснат, вырезал им даже из бумаги смешные фигурки — зайца и козлика. Он показался Лике добрым. Сказал: "Зовите меня дядя Бичико". У него была густая, колечками, черная борода, и он притянул ликину руку, чтобы она ее потрогала. Пальчики Лики так и утонули в этой красивой "каракулевой" бороде... А другой гвардеец, очень толстый, был с самого начала пьяный. Он увидел в серванте большой рог, из каких пьют вино, достал его, но не стал наливать в него вино, а расстегнул штаны, написал в этот рог и дал дедушке: "Пей". Дедушка оттолкнул его, тогда толстый сильно ударил его по голове, и дедушка упал. Толстый начал бить его прикладом, дедушка все хотел встать, хватался за ножку стола, но не мог подняться. Лика и Аснат стали кричать, и тогда еще один гвардеец, тоже пьяный, направил на них автомат. Он хотел схватить Аснатку, но та укусила его за руку и бросилась в двери. Лика — за ней. Аснатка убежала, а Лику догнал в кустарнике дядя Бичико. Лика споткнулась и упала. Дядя Бичико зажал ей рот потной ладонью и стал вдруг целовать ее в шею, а другой рукой гладить ее повсюду. Потом он стянул с нее трусики и навалился на нее всем телом. Ей стало очень больно, но она не могла кричать, а только мычала. Дядя Бичико встал и, пошатываясь, ушел, а она увидела на своих ногах кровь. Чтобы смыть ее, она спустилась к ручью, а когда пришла домой, оказалось, что мама — дома у Аснат. Гвардейцы оттуда уже уехали, а дедушка Астана лежал мертвый, и вокруг него собрались все соседи и кричали и плакали. Ох, лучше не вспоминать

это... Через несколько дней папа ночью приехал за ними и отвез в Ткуарчал, а оттуда они с мамой на вертолете прилетели в Гудауту.

...Надо бы попросить завтра у Батала его гранату-зажигалку и разыграть тетю Ларису. Ой, чуть не забыла: "Бог, сделай так, чтобы война быстрее закончилась и папа остался живой и невредимый... Да, и еще пусть мне сегодня ночью приснится, как будто я ем шоколадные конфеты".

Надо не забыть еще спросить у мамы, что значат те слова, которые произнесла сегодня врачиха, выставив Лику за дверь (а Лика все-таки их услышала, когда в кабинет кто-то заходил): "Поймите, ваша девочка на пятом месяце!" Ничего непонятно... Это что, болезнь такая — "на пятом месяце"? И почему мама все время плачет?

1996

Сексот Сазонов

Темным беззвездным вечером конца февраля 1993 года у здания Министерства обороны Абхазии в Гудауте остановился вишневый "Жигуленок". Оставив сидеть в машине своего коллегу Энвера Кутелия и водителя, сотрудник службы безопасности Республики Абхазия Аслан Цугба поднялся на второй этаж.

Уже предупрежденный телефонным звонком, сотрудник комиссариата Вооруженных сил республики Аркадий Джопуа вышел из-за стола навстречу. Окладистая светлая борода, из-за которой кое-кто из друзей прозвал его "белокурым барбудом", шла Аркадию и вместе с новенькими скрипучими ремнями камуфляжа придавала ему весьма мужественный вид, но покрасневшие веки говорили о переутомлении.

— Так что там стряслось?

— Ничего особого, Таевич. Надо проверить один сигнал... В общем, возможно, был факт продажи на сторону автомата... А твое присутствие как представителя Минобороны обязательно. Да чего там — сорок минут до передовой, сорок обратно, и все дела.

— А кто автомат толкнул, офицер? Как фамилия?

— Аркадий, ну не гони волну... Приедем на место, разберемся.

— Темнишь ты что-то... — недовольно покачал головой Джопуа, но стал натягивать бушлат.

Через несколько минут они уже мчались по пустынному шоссе. На фронте установилось временное затишье, установки "Град" не сотрясали в этот вечер окрестности, и только еле слышные автоматные очереди изредка доносились с гумистинского рубежа как напоминание о том, что в Абхазии — война. Джопуа еще несколько раз заводил разговор о целях поездки: "Ну, скажи, Аслан, в чем дело. Утечки не будет." Но Цугба был непреклонен: "Все — там, на месте". Разговор в машине перешел на другие темы. Не могли, конечно, не коснуться недавнего неудачного штурма Сухума (кто-то сказал, что не надо было пытаться наступать по снегу и в такую погоду, кто-то возразил: снегопад-то как раз и спас многих ребят,

которых в упор расстреливала грузинская артиллерия). А потом и вовсе замолчали, думая каждый о своем.

Аслан Цугба глядел в темноту за окном и, машинально поглаживая свою аккуратную черную, с двумя кустиками проседи бороду (в отличие от многих абхазов, ставших бородачами в августе 92-го, он отпустил ее еще за несколько лет до войны), перебирал в голове детали предстоящей операции. Конечно, никакого проданного на сторону автомата здесь не было и в помине, эту историю он придумал для отвода глаз. На самом деле все обстояло куда как серьезней — задачей группы было обезоружить, арестовать и доставить в Гудауту агента грузинской разведки, воевавшего в абхазской армии. Причем человека, которого и он, и Аркадий Джопуа, и Энвер знали много лет...

"Ах, Сазонов, Сазонов, наконец-то я до тебя добрался, — думал Аслан, вспоминая лицо этого человека — скромного, незаметного, "хорошего товарища и прекрасного семьянина", — говорил же я тебе, что придет этот час!.. Но главное теперь — это исключить случайности, сразу изолировать его от оружия, чтобы не натворил чего с перепугу."

Да, так уж вышло, что и Аслан Цугба, и Алмас Эмба много лет работали в одной и той же могущественной организации, которая называлась КГБ СССР. Только Аслан, бывший штатным сотрудником комитета, долгое время и не подозревал, что Алмас, которого он неплохо знал по городу, является его "коллегой". Официально эти люди, внедряемые госбезопасностью во все клетки и поры советского общества, называлась "осведомитель", "агент", ну а в народе — "стукач", "тихарик", "сексот" (секретный сотрудник). Последнее слово, впрочем, пришло из милицейского арго... Без таких, как известно, не обойтись ни одной спецслужбе мира, но Аслан видел, что даже в самом комитете многие относятся к ним с чувством некоторой брезгливости: как-никак доносить на своих сослуживцев, соседей, приятелей — работа с моральной точки зрения весьма малопривлекательная, тут надо обладать "специфическими" душевными качествами.

Аслан Цугба пришел в КГБ Абхазской АССР с комсомольской работы.

Госбезопасность — это считалось престижно и солидно, а до начала всех публикаций и разговоров в обществе о зловещей истории данного ведомства было тогда минимум лет десять. И, конечно, он не подозревал о сложностях, с которыми ему придется столкнуться, когда в комитете, как и по всей Абхазии, начнется резкое размежевание между теми, для кого Абхазия — это Родина, и теми, для кого она — просто уголок Родины, "северо-западная Грузия". Впрочем, и тогда, десять, пятнадцать лет назад, эта проблема уже существовала. Аслан ни на минуту не переставал ощущать себя абхазом. Вот почему когда на оперативных совещаниях председатель комитета Григорий Комошвили говорил о новых сообщениях "агента Сазонова", в которых раскрывалась деятельность "абхазских националистов", ему не давала покоя мысль: кто это такой? По всему выходило, что абхаз, причем достаточно близко знакомый с теми, кого предает. Знать его имя и фамилию Аслану, согласно служебным инструкциям, не полагалось, и все же, приложив определенную сумму усилий и использовав некоторые приемы оперативной работы, он смог в конце концов расшифровать стукача. И чем дольше наблюдал за Алмасом, встречаясь с ним в городе, тем больше убеждался: да, это и есть "Сазонов".

По образованию Алмас был филологом, работал в одном из сухумских научных учреждений, занимался литературоведением и историей, довольно часто публиковался в местной печати. Ничем особым не выделялся: ни громким голосом, ни ораторскими способностями, ни блестящим литературным стилем. Но и из круга, что называется, не выпадал: всегда бывал там, где шумели радикально настроенные абхазские интеллигенты, неизменно поддерживал наиболее смелые суждения, был завсегдатаем знаменитой прибрежной кофейни напротив гостиницы "Рица", прозванной "У Акопа".

Как любой уважающий себя сухумец (а таковой не мог не быть самостоятельным политологом), считал долгом посещать кофейню "У Акопа" и Аслан Цугба. В конце восьмидесятых — начале девяностых годов эта кофейня стала в Сухуме настоящим якобинским клубом — причем как для абхазских компаний, так и для грузинских. Чем удобно было кофепитие стоя, так это тем, что за круглой стойкой под тентом могло собраться, если завязался интересный разговор, и десять, и пятнадцать человек; порой участники беседы стояли вокруг столика уже в два ряда... Кофе, бывало, давно выпит, и чашки забрали, а очередной оратор все витийствует. Да и не столько ради кофе сюда приходили, сколько для того, чтобы "других послушать и самому поговорить": что в ближайшее время ждет Абхазию, кто возьмет в ней верх: "они" или "мы", как поведет себя Москва?.. Как-то в такой вот компании из человек семи-восьми за стойкой стоял неподалеку от Аслана и Алмас. Толковали о том, о сем, а потом кто-то из ребят возьми и скажи с улыбочкой Аслану, намекая на место его службы: "А у тебя нигде микрофон не спрятан?" "Нет, дорогие мои, у меня нигде микрофон не спрятан, а вот среди вас есть человек, который действительно сексотит, и все, о чем мы тут и в других местах говорим, и обо всех планах Народного форума регулярно Комошвили доносит. А вы стоите тут и язык за зубами не можете держать..." "Ну так кто это, скажи", — начал подзадоривать его один из "кофепийц". "Придет время — скажу, — сумрачно ответил Аслан, — и не только скажу, а он получит все, что заслужил, на полную катушку". Алмас, надо отдать ему должное, ничем себя не выдал: как и все, заинтересованно-иронически переглядывался с друзьями, как бы раздумывая, насколько всерьез можно принимать слова Аслана.

А тот оказался в непростом положении: служебный долг требовал от него всяческой поддержки "Сазонова", а совесть, патриотические чувства — "сдачи" его с потрохами. Впрочем, прямых доказательств у Аслана все равно не было. И единственное, что он в этой ситуации старался делать, — это всячески, в основном намеками, остерегать абхазскую интеллигенцию от общения с Алмасом. Да еще никогда не подавал ему при встрече руку.

И вот грянула война. Через пару недель после ее начала Цугба узнал, что Алмас, едва ли не единственный из своего учреждения, взял в руки оружие (кажется, охотничью двустволку) и пошел в абхазское народное ополчение. Это могло означать одно из трех: или он решил кровью смыть свою вину перед Абхазией, или его предательство перешло, что называется, в высшую стадию и он работает на грузинскую военную разведку, или, наконец, может быть, Аслан в свое время все же ошибался, и "агентом Сазоновым" был кто-то другой.

Как бы то ни было, Цугба предложил: абхазская служба безопасности должна

установить за Алмасом наблюдение. Начало войны стало моментом окончательного распада бывшего комитета госбезопасности Абхазии. И надо сказать, что нигде, наверное, ни в какой другой госструктуре республики, этот распад — на "абхазскую" и "грузинскую" части — не был так сложен, запутан и мучителен, как здесь: учитывая и существование интернациональной агентурной сети, и многие тонкости работы.

Алмас в начале 93-го был уже заместителем командира батальона на Гумистинском фронте. Цугба поручил следить за ним сотруднику службы безопасности Зурику Ахуба, который постоянно находился на гумистинском рубеже. И вот Зурик доложил, что в конце января Алмас Эмба получил из Москвы телеграмму — она пришла к нему в родительский дом в Гудауте. В телеграмме сообщалось об издании в Москве какой-то его книги, кажется, литературоведческой, и о том, что ему надо туда приехать для уточнения некоторых вопросов. Алмас взял увольнительную и на несколько дней уехал в Москву. Вернувшись, отправился на передовую. А на днях снова засобирался куда-то за пределы Абхазии — даже не предъявив на этот раз никакого оправдательного документа вроде телеграммы. Вот тогда Аслан Цугба и решил, что настала пора брать "Сазонова" и брать как можно скорее, чтобы не ускользнул из рук.

...В блиндаже, где размещался штаб Гумистинского фронта, Аслан сообщил полковнику Сергею Дбару: прибывшая с ним группа должна доставить в Гудауту в Минобороны замкомбата Алмаса Эмба для выяснения одного вопроса. При этом желательно его предварительно разоружить. Краем глаза Цугба следил за реакцией Аркадия Джопуа. Реакция последовала незамедлительно. "Что, что? — вскинулся Аркадий, Алмаса Эмба?" И после паузы протянул: "Не-ет, тут, видно, не автомат фигурирует..." Дбар в это время вызывал Эмба по телефону.

— Наши дальнейшие действия будут такими, — сказал Аслан. — Мы трое пока выйдем и подождем где-нибудь в укромном месте. А вы, Сергей Платонович, когда он войдет, постарайтесь тихо-мирно забрать у него автомат. А тогда уже и мы появимся.

Все прошло, как и было задумано.

— Я не знаю, по какому поводу, — начал Дбар, когда в блиндаж вошел Эмба, — но тебя требуют в Минобороны. И машину за тобой прислали.

— А что случилось?

— Говорю же: не знаю. Сейчас придут ребята... Ты автомат свой давай вот сюда, пусть у меня полежит, пока съездишь... — И Дбар, забрав у него автомат, спрятал его за свой стол.

Войдя в блиндаж, Аслан заметил, как при виде его Алмас побледнел. Стоял остолебневший, не в силах, видимо, произнести ни слова.

Вышли на улицу.

— Значит, так, — сказал Цугба Алмасу. — Видишь часового? Не делай такой вид, как будто ты арестованный. Спокойненько садись в машину — и поехали. Зачем тебе лишние разговоры?

Цугба сел впереди, рядом с водителем, а на заднем сиденье разместились по бокам Энвер и Аркадий и в середине — Алмас.

— Что случилось, объясните, — прервал молчание Эмба, когда машина выехала на

дорогу.

— Я же обещал, что мы встретимся, — обернулся Цугба. — Помнишь, в кофейне "У Акопа"? Вот и встретились.

Алмас пробормотал что-то несвязное, что можно было воспринять и так, будто он не понял, о чем речь, и надолго замолчал.

...В Министерстве обороны их уже ждали.

— Вот, — сказал Аслан, — это и есть тот самый, что доносил на абхазцев...

Собравшиеся в кабинете молча смотрели на Эмба, усаженного в низкое креслице.

— Ну, расскажи нам, как ты стал на путь предательства.

— Почему... предательства? Кого я предал? — Алмас сидел ни жив ни мертв, голос его пресекался от волнения.

— Ты хочешь сказать, что не сотрудничал с КГБ и не закладывал абхазцев? Я же видел все твои расписки за полученные деньги, — решил блефануть Аслан Цугба и не ошибся.

— Ну, я... действительно работал на комитет. Так и многие другие работали. Вы же знаете, была коммунистическая система... Мы все верили, что это патриотический долг... Я верил...

— И на кого же ты доносил? Расскажи.

— Я не помню, давно все было... Да я бы и не сказал, что кого-то конкретно я...

— Может, тебе напомнить? — повысил голос Аслан. — На Руслана Гожба, Игоря Мархолия, Олега Дамения, на писателей многих... На представителей абхазской зарубежной диаспоры досье собирал.

— Это правда? И сейчас ты на них работаешь?

— Клянусь, я... Я с первых дней войны на фронте. Дайте мне возможность погибнуть в бою... Пожалейте моих детей, они ни в чем не виноваты...

— А-а, дети!.. А те, на кого ты стучал, все бездетные были, да?

— Ты что, не понимал, что людей гробишь?

Алмас сидел ни жив, ни мертв.

— Ладно, расскажи нам подробно о своей поездке в Москву и какое задание ты от них получил, — после паузы сказал Аслан.

Хотя слово "расстрел" в комнате ни разу не было произнесено, оно витало в воздухе, оно стучало в висках Алмаса. Если по законам военного времени расстреливали, говорят, мародеров, то неужели будут жалеть его, предателя и вражеского шпиона?

— Ладно, расскажи все как на духу, а там видно будет...

И Эмба начал свой рассказ.

* * *

Он рассказывал в ту ночь; рассказывал, проведя остаток ночи в камере, на следующий день; рассказывал через день... Рассказывал Аслану Цугба и еще кому-то, кто записывал его исповедь на магнитофон, рассказывал, торопясь вытолкнуть из себя заранее обдуманнные фразы и все же нередко сбиваясь, замолкая в поисках нужного слова.

А потом все рассказанное изложил письменно на девяти страницах крупным округлым почерком.

"Все началось в шестьдесят седьмом году. Я учился тогда в Сухумском пединституте. И как-то декан нашего факультета сказал мне, что звонили из комитета госбезопасности и я должен зайти к ним в такой-то кабинет. Я пошел, думая: чего они от меня хотят? А хотели известно чего — чтобы я прислушивался к разговорам вокруг и сообщал обо всем, что подрывает устои советского общества. Я стал отнекиваться, говорить, что у меня нет способностей к такой ответственной работе, меня стали убеждать, запугивать. В общем, они меня вынудили. Я начал примерно раз в месяц давать информацию. Ничего особенного там обычно не было, сообщал что-то, лишь бы отделаться от них. Бывало, на 3-4 месяца оставляли в покое, но я напрасно радовался: потом они снова брались за меня. Я закончил институт, отслужил в армии. Когда возвращался в Абхазию, думал: может, отстанут от меня. Но нет. Какое-то время я работал в школе, потом — в музее. Женился. И все эти годы вел двойную жизнь. Ходил под невыносимой тяжестью, в результате от нервного напряжения стал сердечником.

Непосредственно со мной сперва работал Гиви Кемулариya, потом — сам председатель КГБ Комошвили. Кемулариya умело затягивал меня в это дело. А Комошвили оказался еще коварнее. Конечно, прежде всего их интересовало, что я, как абхаз, знаю о разговорах в среде абхазской интеллигенции, о планах лидеров "абхазских националистов", как они говорили. Ясно отдавал и отдаю себе отчет в том, что работал я на них не из-за денег. Сколько они платили: ну, 30, 70, 100 рублей за ежемесячную информацию... Не такие уж великие суммы даже по тем временам. Виною всему был страх. К моему несчастью, я рос немного застенчивым, слабовольным. Это и погубило меня. Они как опытные рыболовы "подсекли" и "вели" меня. Сколько раз я пытался бросить это дело, порвать с ними, но меня пугали, шантажировали... Шантаж был простой: "Все о твоей работе на нас станет известно твоим друзьям, знакомым, родственникам".

Так я и продолжал, мучаясь, жить в двух лицах. Ведь я искренне любил абхазский язык, литературу, историю. Искренне, а не только в разговорах, возмущался бериевской политикой в Абхазии в 30 — 50-е годы. (Правда, я считал, хотя никогда не говорил об этом вслух, что наши "национальные активисты" объективно могут нанести вред абхазскому народу). И в то же время мне было понятно, что работая на КГБ, я служу бериевскому делу. В общем, будто не жил, а находился в кошмарном сне. Несколько раз даже порывался уехать куда-нибудь в Россию, чтобы избавиться от этого ужаса, но куда поедешь, если у тебя уже семья, дети...

А методы у них точно были бериевские. Помню, когда Предсовмина в Абхазию назначили Юзу Убилава, они попытались сфальсифицировать дело о покушении на него, которое якобы задумал сотрудник Совпрофа Аджба... Просто для того, думаю, это дело слепили, чтоб показать свою нужность и ценность.

В последнее время местом наших встреч была квартира в жилом доме рядом с кассами Аэрофлота. Встречались примерно раз в месяц, плата за информацию была 100-150 рублей. Потом, после преобразования комитета госбезопасности в информационно-разведывательную службу и ухода Комошвили, я с ними уже не сотрудничал. С Автандилом Иоселиани, который возглавил эту службу, я, клянусь, дел не имел.

Война, казалось мне, все расставила на свои места. Там — они, здесь — мы. Детей и

жену сразу отвез к своим родителям в Гудауту, а сам — на Красный мост. Кроме охотничьей двустволки, которая была у меня дома, раздобыл еще мелкокалиберную винтовку. После того, как мы отступили за Гумисту, я постоянно был на передовой. Понимаю, что мое стремление пойти на передовую можно расценить двояко: в том числе и так, будто я пошел туда за информацией для грузинской разведки. Но это, клянусь, не имеет ничего общего с действительностью. Я был счастлив, что, наконец, кончилась моя двойная жизнь. Я был счастлив, что с оружием в руках защищаю Родину. Как ни тяжело было на фронте, для моей души это было громадное облегчение.

Я был уже замкомбата. И вот — приходит эта проклятая телеграмма: "Узнал о переезде в Гудауту. Прошу срочно выехать в Москву по поводу издания книги и получения гонорара. Григорий." И номер его телефона еще... Я сразу понял, что Григорий — это Комошвили. Меня бросило в жар: достал-таки меня проклятый старик! Что было делать? Пойти в службу безопасности и все рассказать? Но это значило — все узнают, что я делал на протяжении двадцати пяти лет. Я как раз приехал тогда домой со смены, с передовой... Несколько раз ходил к зданию районной администрации — думал, встречу Антона Арчелия, старого комитетчика и старого своего знакомого, расскажу ему все, посоветуюсь, как быть. Тянул время, тянул... Ночами не спал. А потом все же решил: позвоню по тому номеру телефона, что в телеграмме был. Хотел упросить их, чтобы оставили меня в покое, так куда там... Выезжай и точка. И опять надо мной как дамоклов меч навис страх разоблачения: ведь им ничего не стоит подкинуть нашим органам информацию обо мне... Точнее дезинформацию — о том даже, чего и вовсе не было.

И вот я в Москве. Как и договаривались, встретили меня на Курском вокзале, у справочной. Это был Ираклий Чохонелидзе — старый комитетчик, работавший когда-то давно в КГБ Гудаутского района и уволенный из органов с исключением из партии, а потом долгие годы — фотокорреспондент ГрузИНФОРМа и ТАСС. Когда я увидел, что Комошвили нет, то вообще хотел развернуться и уйти, но Чохонелидзе уговорил пойти с ним. Поселили меня в гостинице. В тот день я плохо себя чувствовал и поэтому отказался от беседы. Разговор начался на второй день, часов в одиннадцать утра. Чохонелидзе все время пытался убедить меня, что его и грузинскую информационно-разведывательную службу интересуют только пути мирного решения грузино-абхазских проблем. Интересовался гуманитарной помощью, которую получает Абхазия, вопросами вооружения. Спросил, есть ли оппозиция у Ардзинба, кто его реально может заменить. Я ответил, что у него оппозиции нет.

Далее Ираклий спрашивал о работе Верховного Совета, прессы, телевидения Абхазии, о том, кто конкретно занимается связями с казаками, об Абхазском центре в Москве. Я сказал, что в Абхазском центре у меня знакомых нет, тогда он дал мне номера телефонов и попросил по ним позвонить, чтобы завести знакомства. После этого дал мне листок с 25 письменными вопросами и предложил на них ответить. Я написал ответы примерно на половину. Не отвечал на то, чего не знал, или что было, как я считал, выдачей военных секретов.

Чохонелидзе забрал написанное и сказал, что это через пару дней ляжет на стол к Шеварднадзе. Следующая встреча со мной, сказал он, должна состояться в конце

февраля — начале марта в Краснодаре. Назвал краснодарский адрес и номер телефона. Когда я стал говорить, что у меня нет больше желания с ними встречаться, он взялся за старое — за шантаж. Сказал, что в Краснодар приедут сам Комошвили и "товарищ из Тбилиси", представитель Шеварднадзе.

За услуги Чохонелидзе вручил мне двадцать пять тысяч рублей, в чем мне пришлось, хотя и очень не хотел, дать ему расписку.

...Я проанализировал прожитую жизнь и полностью осознаю вину перед своим народом и Родиной. Поверьте мне хоть один раз в жизни, я умоляю вас: сведений военного характера я им не давал. И в Абхазский центр в Москве звонить не стал. Поймите, у меня двое детей, и я их воспитывал с особой заботой, чтобы они не стали похожими на меня. Стыдно мне об этом говорить... Но давайте мы вместе поможем этим детям, чтобы они, ни в чем не виноватые, не росли испачканные, духовно ущербные. Я все эти дни и ночи плачу. Верните мне автомат, верните меня к моим солдатам, чтобы я честно мог погибнуть в бою. Я докажу вам, что я не только гад и трус..."

* * *

Содержался Алмас все это время в одиночной камере службы безопасности. Аслан Цугба понимал, что хотя право окончательного решения судьбы Алмаса принадлежит не ему, его мнение, его предложения и доводы будут учитываться при принятии такого решения в первую очередь. Но прежде всего надо было ответить на вопрос: насколько искренним был Алмас в своих показаниях? В том, что он признался так быстро, Аслан не видел ничего удивительного: слишком неопровержимые выстраивались против него факты, да и кто такой был Алмас — не профессиональный же разведчик, не выпускник спецшколы, а обыкновенный "тихарик", осведомитель. Чего он не договаривал? Во-первых, того, почему на него пал выбор КГБ в шестьдесят седьмом. "Органы" при вербовке методом тыка не действовали. Значит, имелся тогда у Алмаса-студента какой-то жизненный грешок, используя который его нетрудно было взять на пушку. А, может, как-то по-другому смог себя зарекомендовать... Ну, да сейчас это уже не столь важно. А вот почему все же позвонил в Москву по указанному в телеграмме номеру — тут более серьезная недоговоренность. Ведь мог же, мог этого не делать. В конце концов, какая уверенность у Комошвили и его конторы в том, что телеграмма дойдет, на затеряется в суматохе войны? Или Алмасу чудилось, что в Гудауте полно агентов грузинской разведки, которые бдительно следят за каждым его шагом? А не логичнее ли предположить другое: Алмас рыл себе запасной окопчик по другую сторону линии фронта? Ведь никто не знает, чем закончится война; сорвавшееся январское наступление на Сухум нанесло чувствительный удар оптимистическому настрою не одного абхаза. Итак, в случае победы абхазского оружия Алмас оказался бы среди героев-победителей, а в случае поражения тоже не пропал бы, находясь под защитой грузинских спецслужб в роли героя "невидимого фронта". Нет, Цугба верил и в бессонные ночи Алмаса, и в то, что тот "все эти годы ходил под тяжестью", и даже в то, что на фронт он пошел искренне и избавление от двойной жизни принесло ему "громадное облегчение".

Все это было не просто правдоподобно, но и наверняка правдиво. Вместе с тем это отнюдь не означало, что Алмас не мог бы продолжить работу на грузинские спецслужбы.

Ну, ладно, что он из себя представляет, примерно ясно. Но как с ним быть? Предать этому делу широкую огласку, организовать открытый процесс? Что это даст? Мы прокричали бы на весь мир о том, что среди абхазов есть такие отщепенцы — на радость нашим врагам и сея растерянность среди своих. Опять же дети, которые действительно ни в чем не виноваты... Принять на веру покаянные показания Алмаса, простить ему все и отправить на передовую в прежней должности, как будто ничего не было? Ну, это было бы вообще неразумно. Самый, в общем-то, естественный в данной ситуации ход — используя "крик души" Алмаса о желании искупить вину перед своим народом, задействовать его связь с грузинскими спецслужбами в интересах Абхазии. Так и именно так поступила бы в подавляющем большинстве случаев контрразведка любого государства: отправила бы его под тщательным наружным наблюдением на встречу в Краснодар, постаралась бы передать через него грузинской стороне дезинформацию, выяснить, что в первую очередь интересует противника, и продолжить затем с его помощью "игру" с грузинскими спецслужбами.

...Приехав в Краснодар 2 марта 1993 года, Алмас Эмба остановился в гостинице "Центральная". Его номер находился на втором этаже, а в другом номере на том же этаже той же гостиницы поселились Комошвили с Чохонелидзе. Алмас знал, что его "ведут" абхазские спецслужбы, что, возможно, будут фиксировать его встречи с представителями грузинской разведки на фото пленку, но вот то, что все разговоры их будут прослушиваться и записываться на магнитофон, ему не сказали. Потом, при сопоставлении этих записей с письменным отчетом "Эшерского" (такой псевдоним получил Алмас) выяснилось, что расхождения были невелики и не принципиальны.

Второго марта Алмас зашел в номер к Комошвили и Чохонелидзе около девяти вечера всего за пять минут. Они дали ему для изучения какую-то статью в журнале "Новое время" о перспективах выхода из грузино-абхазского кризиса и попросили высказать потом о ней свое мнение.

Снова встретились на следующее утро около десяти в том же номере. Беседовали втроем: Комошвили объяснил, что до приезда человека из Тбилиси он решил сам предварительно поговорить с Алмасом.

68-летний Комошвили — седой, грузноватый, но сильно за последнее время похудевший, — сидя в кресле и изредка помешивая ложечкой в стакане янтарного чая, задавал вопросы своим тихим низким голосом. Ираклий Николаевич Чохонелидзе, внешне очень напоминавший известного российского публициста и политика Юрия Черниченко — те же лысое темя, лоб в морщинах, сварливый голос — следуя субординации, вступал в разговор значительно реже, но всякий раз в его вопросах клочкотала какая-то, несмотря на возраст, незатухающая энергия. Комошвили начал с расспросов о бывших сотрудниках КГБ — абхазах: кто из них сегодня где. Поинтересовался, пользуется ли поддержкой в народе Владислав Ардзинба. Авторитет Ардзинба растет, заверил его Алмас.

Спрашивали о настроениях на абхазской стороне, о том, как абхазам

представляется дальнейший ход войны. Правда ли, что Топольян создал армянский батальон в абхазской армии, сколько чеченцев воюет в Абхазии?

"А что вы лично мне посоветуете, — спросил вдруг Комошвили, — уехать мне из Сухуми? Какова все же вероятность, что абхазы его возьмут?" — Худые пальцы его с густыми пучками черных волосков нервно барабанили по стенке стакана. Да, мало что осталось от прежней вальяжности Григория Иордановича, некогда державшего весь КГБ Абхазии в ежовых рукавицах. Постарел, обмяк... Он заговорил о том, что в Сухуме живет сейчас вдвоем с женой. Один сын — в Тбилиси, другой уехал в Израиль (он женат на еврейке). Дача их в Эшере, на "гудаутской стороне", в Тбилиси жилья нет. "Эх, зачем я в свое время, в 51-м, приехал в Сухуми из Тбилиси! Зачем мне все эти абхазские дела! — горестно произнес он. — Неужели может повториться гагрский вариант?"

Алмас знал, что среди абхазов из бывшей партноменклатуры у Григория Иордановича было немало друзей, но смогут ли и захотят ли они ему помочь в минуту опасности, учитывая, сколько, мягко говоря, "претензий" накопилось к бывшему шефу КГБ у участников абхазского национально-освободительного движения?

— Что я могу вам сказать... — отвечал Алмас. — Советовать тут трудно. А то, что абхазы настроены решительно — это факт. Им ведь... то есть нам... отступить некуда. В том, что Сухуми рано или поздно будет взят, ни у кого сомнений нет, просто некоторые, в том числе и Ардзинба, хотят, чтобы это было с минимальными жертвами.

И тут Алмас начал излагать "дезу" — одну из специально разработанных абхазской службой безопасности для этой поездки: Владислав Ардзинба придерживается более умеренной позиции, но ему противостоит радикальное крыло — Зураб Ачба, Сергей Шамба, Игорь Мархолия, которые исключают любой компромисс с грузинской стороной.

Другая дезинформация, которую ему предстояло донести до грузинской разведки, касалась вооружения абхазской армии: через зарубежную диаспору абхазы закупили, мол, ракетные установки "Стингер", достают сейчас комплекс "Оса".

— А танки "Т-80" состоят у абхазов на вооружении?

— Лично я не видел, но говорят, что такие есть.

— Кто летает на боевых самолетах: абхазы или наемники?

— То, что есть абхазские военные летчики, я знаю точно. Есть у нас и ВМФ...

Григорий Иорданович, то, что я вам говорю, делает Абхазию похожей на НАТО, но у нас ведь понимают: с пятимиллионной Грузией голыми руками не справиться.

Пусть не покажется вам сказкой, но недавно в Гудауте сел транспортный самолет, и из него выгружали морские торпеды и увозили на КамАЗах.

Приплел еще десант, который, мол, готовится где-то в России для совершения диверсионных актов в Тбилиси, добавил про Красный мост — на границе Грузии и Азербайджана — который, по разговорам, будет взорван. И вообще, если, мол, верить некоторым слухам, в абхазскую армию поступило нейтронное оружие (это была уже чистая отсебятина): для того, чтобы все здания, все имущество в Сухуме остались целыми, а живая сила противника была выведена из строя.

Чохонелидзе завел разговор о на шумевшей в то время публикации абхазского

депутата Зураба Ачба в одной из российских газет.

Расспрашивали о журналистах, работающих в Гудауте.

На следующий день принялись за основательную проработку военных вопросов.

Комошвили несколько раз возвращался к вопросу, уезжать ли ему из Сухума.

Вставал, начинал нервно рассказывать по номеру...

— Неужели у абхазов есть какой-то список, по которому будут искать и уничтожать?

— Да езжай к сыну в Израиль, — посоветовал ему Ираклий, сам предусмотрительно перебравшийся уже в Москву.

Комошвили сказал, что 5-6 марта он будет на приеме у Шеварднадзе с подробной информацией.

Под конец договорились о следующей встрече с Алмасом. Она, подтвержденная предварительно телеграммой условного содержания, должна была состояться 15 или 16 марта в Хосте, на платформе у пригородных касс. Схема встречи намечалась такая: Алмас держит в руке пачку "Магны" и спички, а человек из Тбилиси по имени Дато 42- 43 лет — газету на грузинском языке. Дато подойдет и спросит: "Извините, у вас нет случайно календарика на этот год?" Ответ: "Есть, но только первая половинка." (Это все на случай, если на эту встречу не сможет приехать Чохонелидзе).

В заключение Алмасу, как и в Москве, вручили под расписку 25 тысяч рублей.

...Встреча в Хосте так и не состоялась. 15-16 марта грянуло мартовское наступление абхазской армии на Сухум. После этого неделя шла за неделей, а никакой информации с грузинской стороны о дате встречи не поступало. В конце концов пришлось сделать вывод: очевидно, в информационно-разведывательной службе Грузии решили прекратить контакты с Алмасом. Возможно, выяснилось, что представленное им военные сведения оказались "дезой", возможно, почувствовали, что он работает под контролем абхазской службы безопасности... Да могло быть и немало других причин, по которым связь с "агентом Сазоновым" оказалась прерванной.

Алмас все это время находился дома, под наблюдением службы безопасности. На фронт его, естественно, уже больше непустили, автомат не вернули. Для соседей, родственников и знакомых была выдвинута версия: болен, проходит курс лечения. Пришел победный для Абхазии сентябрь 93-го. Григория Комошвили, который в день взятия Сухума находился в городе, настигло-таки возмездие. Абхазские автоматчики, которым он попался под горячую руку, долго не раздумывали... Да еще и соратника своего Гиви Кемулария потянул за собой в могилу: показал, говорят, его дом и сказал, что его тоже стоит прихватить для разговора.

Жена Комошвили выехала потом к сыну в Тбилиси.

...После того, как Алмас Эмба узнал о смерти Комошвили, к нему снова вернулись бессонные ночи. Его преследовала одна и та же картина: от удара ногой распахивается дверь, на пороге несколько незнакомых ему парней (а, может, они будут и в масках) с автоматами. "Это ты — Алмас Эмба? Ну, получай свое, предатель!" И — очереди, очереди, от которых никуда не деться. В это скорое на расправу время картинка не только представимая, а даже закономерная. Господи, знали бы вы, глядя в потолок, взывал к своим потенциальным убийцам Алмас, как я люблю, чувствую и понимаю Абхазию! Куда больше и глубже многих записных

ораторов, которые привыкли срывать аплодисменты дешевыми лозунгами. Как легко судить человека, в шкуре которого ты никогда не был и не будешь! Но что же делать, как жить дальше? Мысль Алмаса металась от одной крайности к другой. Его надежды обрести себя в роли отважного и проницательного абхазского контрразведчика (едва ли не с семидесятых годов с этой далеко идущей целью втершегося в доверие к Комошвили и Ко) рухнули после того, как схема Хостинской встречи осталась только схемой. Уехать с семьей в Россию, затеряться где-то там? Не так все просто, да и не прожить ему без Абхазии. Покончить со всем этим кошмаром нажатием курка? Или нет — лучше симитировав несчастный случай... Нет, нет, не такой уж он слабак и подлец, чтобы бросить на произвол судьбы жену, детей...

А что, если уехать в дальнее горное село и, постаравшись забыть все, заняться сельским хозяйством? Да, да... Пахать, сеять... Разводить скот... Очищаться в общении с природой...

Так он и сделал — переехал в село, где у него была усадьба, перешедшая в наследство от умерших родственников.

Дни шли за днями, и постепенно страх уходил, растворялся в буднях. В конце концов, у него была своя версия событий, версия, которой придерживались и которую так или иначе распространяли наиболее близкие ему люди: он — засекреченный сотрудник абхазской службы безопасности, и то, что в середине войны его отозвали с фронта, свидетельствует только об одном: агент Эшерский мог сделать и сделал для победы неизмеримо больше, чем мог бы сделать рядовой офицер абхазской армии.

Алмас внутренне напрягался, когда видел своих знакомых из того интеллигентского круга, в котором он обретался до войны (такие встречи, хоть изредка, но происходили, когда ему приходилось выезжать из села). Но они все, как сговорившись, ограничивались парой пустых, ни к чему не обязывающих фраз... Сперва Алмас воспринимал это с облегчением, стараясь поверить в то, что они попросту ничего не слышали. Но постепенно все чаще вспоминал отведенные в сторону взгляды, поспешность, с которой знакомые с ним прощались, и начинал их мысленно упрекать за это малодушие: ну, заведите разговор, я же сам не могу это сделать, чтоб рассказать, как было: как ездил в Краснодар, как умело дурачил Комошвили...

Хотя с другой стороны... Нет, молчание было все же самым уместным. Вот как спокойно и толково объяснил он сынишке, который как-то наедине с ним завел разговор о "спецзадании" папы во время войны: "Об этом я никому пока не имею права рассказывать, даже тебе. Может, когда-нибудь, когда вырастешь..."

Ни абхазские, ни грузинские спецслужбы его больше не беспокоили.

1996

Встреча на проспекте Мира

— Давай, Батал... За Хасана и в его лице за всех наших ребят, которые не дожили до

победы... Не вставая, как за живых... — и Бесик залпом выпил свой стаканчик "мачара" * (* *Молодое вино*).

Два фронтовых друга встретились в декабре 96-го на проспекте Мира в Сухуме. "О-о, полковник конной авиации!" "Кого я вижу!.. Генерал-лейтенант горно-водолазных войск! Сколько лет, сколько зим!" За три с лишним послевоенных года доводилось, конечно, видеться и раньше, но все как-то мимоходом, без того, чтобы сесть, поговорить... На этот раз Бесик — он рядом, в районе старого стадиона, жил — затащил Батала к себе домой. В жарко натопленной, с солярочной печкой в углу, комнатухе стояла еще люлька, в которой спал его пятимесячный сын. Жена Бесика — хорошенькая брюнетка с короткой стрижкой и ярким пухлым ртом — в соседней комнате укладывала спать четырехлетнюю дочку. Чуть раньше, когда она ставила на стол тарелку с дымящейся фасолью, Бесик кивнул на ее округлый живот: "А вон еще один, младший, в парнике сидит".

Некоторое время, правда, им мешал заглянувший на огонек старик-сосед — со своими разговорами о тяготах перехода через пост Псоу, где он промышлял "малым каботажем". "Дэнгих дашь — праходит, дэнгих не дашь — не праходит. Сколка мой жена надо продат бедрушка, чтоб купит один мешок мука и пидисят-сто тыща на лапа дават! Ми уже как лошадь стали... Два улей имею — на столка мои бжолы за лето мед приносят, сколка этот российский таможна забирает". Когда, выговорившись, он поднес стаканчик вина к губам, по телевизору пошла заставка первого канала ОРТ и голос диктора в наступившей тишине торжественно провозгласил: "Это — первый!" Батал с Бесиком захохотали... Наконец, выпив свою дозу спиртного, старик ушел. "Баллоновоз, — вздохнул Бесик, — с российской стороны баллоны с газом на тачке таскает и здесь продает".

Косой дождь уже больше часа забивал мягкие водяные гвоздики в оконное стекло, за которым тонули в сумерках силуэты двух коммунальных домов напротив, а они все сидели и рассказывали друг другу, что было с ними за три послевоенных года... — За Хасана... — Батал задумался, медленно поворачивая граненый стакан крупными крестьянскими пальцами с широкими ногтями. — Ты знаешь, я никогда публично не произносил этих слов... которые хочу сказать... потому что публично, чувствую, это была бы фальшь, красивость. Но он в моей памяти остался как горящий факел... И факел, и факелоносец одновременно. Я иногда пытаюсь представить себе, о чем он думал, когда бежал на грузинский пулемет. Наверняка ведь ни о чем таком героическом не думал. Просто была страшная боль... И ненависть. И они гнали его вперед. А упасть на землю, кататься, попытаться сбить пламя — это, он понимал, уже бесполезно. А может, уже и ничего не понимал в тот момент... Не знаю, как ты, Бес, а я до сих пор испытываю чувство вины, что меня не было с ним рядом. Но я тогда уже в артиллерии воевал, ты — в госпитале пластом лежал. Да и неизвестно, что мы там смогли бы, в вертолете том...

— Не знаю, мне все кажется, что там предательство какое-то было.

— Да ладно... Обычная военная накладка. Головоотяпство чье-то. Или... Ну, невозможно же все предугадать.

— Батал, вот ты все знаешь... Почему самые лучшие погибают, а разная шушера остается?

— Ну, братец ты мой... Во-первых, потому что лучшие не прячутся за чужие спины.

А во-вторых... это, наверное, все-таки иллюзия, что шушера, как ты говоришь, не гибнет. Пуля — она же, дура, не выбирает. Согласен? Просто лучших нам жалко, а про шушера быстро забываем. И... я надеюсь, — он усмехнулся, — ты нас с тобой к шушере не относишь... раз мы в живых остались? Ну, ладно... За всех погибших ребят. Вечная память... За Баграта Квициния, за Дыма Зантариа, за Степу, за Мушни...

Помолчали. Каждый в этот момент мысленно продолжил ряд имен тех, кто когда-то шел рядом с ним по дорогам войны, верил в победу, но не дождался ее. Баталу вспомнился дождливый октябрьский день 93-го, уже после войны, когда в Сухуме шло перезахоронение погибших в мартовском наступлении, и в лежащем на полиэтилене, заляпанном глиной, худеньком, скрюченном теле с запрокинутой головой он узнал Эмика. А перед Бесиком встала страшная картина гибели десантника из Тверской области Миши — прямо на его глазах прямым попаданием из гранатомета тому снесло голову. Как это забыть ... А вот Сергей Аведян, тело которого во время сентябрьского наступления на Сухум истерзала пуля со смещенным центром... Вставало перед глазами и лицо его первого командира Вадима Цвижба: сухощавое, с ястребиным носом и плотно сжатыми тонкими губами, оно утопало в ворохе живых цветов в гробу и словно говорило: ну, что ж, я сделал то, что мог, прожил и умер достойно, теперь посмотрим, как будете жить вы...

— Ты заметил, Бесик, как быстро стираются слова? Когда мы произносили этот тост в окопах, было одно... А теперь, по-моему, он лучше всего у трусов и мародеров получается. Они теперь самые речистые — эти... из московского и сочинского "батальонов". И ведь искренне, от души говорят: "За память тех, благодаря кому мы можем здесь вот так сидеть... пить, кушать..." Все верно. Ладно... Ты, кстати, знаешь, что Имама Алимсултанова недавно убили? Помнишь, певец чеченский, выступал у нас?

— Да, слышал. Но что там случилось, ничего не понял. Кто его, за что?

— А я знаю? В газетах писали: в Одессе его убили, на какой-то квартире. Автоматной очередью. Мотивы непонятны. Но не из-за бабок. У него их и не было. Кто-то говорит: ФСБ его убрала... Он же и в Чечне во время войны на боевых позициях со своими песнями выступал... Не знаю, в общем... Я его присоединяю к нашим погибшим, которые воевали с оружием в руках. Пусть им пухом будет земля...

Батал выпил, наконец, свой стакан и, ставя на стол, вспомнил:

— Да, а что за история у вас тут по соседству? Ну, у калитки вы с этой бабкой говорили. Похищение какое-то...

Из памяти его не шли визгливый голос и артикулирующий жабий рот соседки Бесика из соседнего двора. Что-то очень отталкивающее было в сочетании ее накрашенного яркой красной помадой рта с морщинистыми старушечьими подбородком и щеками... Говорила она недолго, но суть дела Батал уловил.

— А-а, — Бесик помрачнел. — Было тут... Увезли на нашей улице одну старуху, армянку. Но уже вернули... Ты сыр бери, ничего на столе нет, но... И хорошая, между прочим, такая старуха, порядочная... Сын — в Ростове, врач, дочка — в Адлере... И записку, по ходу, оставили. Ну, сумма выкупа... Это они, видно, решили, что раз сын

вывозил ее недавно в Москву операцию делать на сердце, значит... Да наверняка кто-то из соседей навел. Но как узнаешь?

— А сколько ей лет?

— Кому, старухе? Под восемьдесят уже. Она и так еле держится. Сердце на искусственном клапане работает. Батарейка у нее какая-то зашита. Один тут наш сосед-пенсионер в роли посредника все время в Адлер мотался.

— И сколько они запросили?

— Пятнадцать тысяч.

— Долларов?

— Ну, не рублей же.

— Ну, и в итоге?..

— Ну, что, вернули ее... Не знаю уж, за сколько... Но не за пятнадцать тысяч: столько сыну и дочке в жизни, говорят, не собрать. И... Слышь, когда ее в Адлер привезли, она говорит: "Обращались очень вежливо. Там один парень такой хороший был! Надо хоть сорочку красивую купить, передать как-то ему..." Представляешь? Кто знает — может, ей и так, и так полгода жить осталось...

— Н-да, — покачал головой Батал. — Когда это кончится?.. Слушай, ну раз они на посредника выход имели, может... надо было попробовать их службе безопасности, милиции сдать?

— Да ты что? Это дохлый номер. Если они на такое дело пошли... У них чуть что — в голове замкнет, и... Это же смертники. Им и на свою жизнь наплевать, а на чужую — тем более. У них так: в один карман судьбу засунул, в другой — пистолет, автомат через плечо, и — вперед!.. Слышал, как Вову Хашба украли? На бензовозе мужик работал. А у него такие сыновья — как танки были. И — все, ни слуху, ни духу. Там пошли уже такие разборки... Фамилия на фамилию. И сыновья куда-то с концами исчезли, в Россию, кажется, подались. Потому что дохлый номер...

Помолчали.

— Лучше бы они вот эту украли, с которой мы у калитки встретились, — усмехнулся Бесик. — Вот баба нахрапистая... Только кому она нужна, кто за нее что даст?

— А кто такая?

— Ну, кто? Соседка... Овчаренко фамилия. У нее и прозвище такое — Овчарка. Из профессиональных мародеров. Ну, по мелочам, конечно... Сразу после войны все здесь в округе подмела. Знаешь, с чем она по дворам ходила? С чехлом от матраса. И при грузинах еще, соседи говорят, тем же занималась — только, естественно, тогда по абхазским пустым хатам шастала.

— Ну, такие ушлые при любой власти не теряются. Но вообще-то, Бес, когда грузины чухнули... и все богатства, как писал Маркс, "полились полным потоком", только ленивые, по-моему, да такие чеснарики, как я... да ты, ничего не брали. У меня просто брезгливость к этому делу. Жена, помню, несчастный торшер принесла, так я полдня ее лаял... Хотя, если вдуматься, это уже вроде и не мародерство было, а... собирательство, что ли... Ну, не возьму, мол, я, так возьмет кто-то другой, кто наглее. Вот вроде Овчаренко твоей.

— Так я тоже, в конце концов, вот этот дом взял. Не жить же было в нашем курятнике раздолбанном.

— Правильно. Кто говорит?.. Но у некоторых это же в психоз превратилось. Вот на

нашей улице тоже одна одинокая старушка живет. Абхазка. И сын у нее — не буду называть фамилию, но ты наверняка о нем слышал — погиб во время войны как герой. Так она захватила на своей улице пять домов и сутками их сторожила... Для внуков — когда подрастут... А внуки у нее еще маленькие, в разных концах города живут. Но вообще, конечно, это помрачение. Мне кажется, она этим как бы все свои потери, горе пыталась компенсировать. Хотя и раньше, конечно, у нее хватательный инстинкт был развит. Но тут вообще погнала... Раз, помню, приходит ко мне — ну, мы через два дома живем — и приносит две противотанковые мины. В подвале нашла. Это что такое, спрашивает, за сколько это можно продать? Я чуть с ума не сошел... Еле отобрал у нее эти мины, позвонил, саперов вызвал...

Бесик слушал, продолжая, чувствовалось, думать о своем.

— Да, — заговорил он, когда Батал умолк. — А у нас тут вокруг деревенские, в основном, дома позавхватывали. И наглеют некоторые так! Вот напротив один... Эти люди вообще, что такое хрусталь, раньше видели?

Он с неприязнью огляделся вокруг:

— Ну, а я видишь, где живу? Сразу занял вот так сдуру... Раньше тут наша знакомая грузинская семья жила. Мы зашли сюда... Ну, одновременно как бы и охранять. Мол, если вернутся... Тогда ведь, в первые дни, еще ничего не понятно было... А другие в это время дворцы занимали.

Комнатка была действительно бедно обставлена, да и весь дом, по крайней мере в той части, которую Батал видел, выглядел "престарелым" и обшарпанным.

— А родители там, у себя, остались?

— Ага, в этом своем курятнике. Привыкли, говорят. Это ж за углом здесь — коммунальный дом.

— А я вот тоже... ничего не стал занимать.

— Ну, у тебя квартира сохранилась, ты говорил. Все на месте осталось?

— Да, осталось... А я и доволен, что дворцов не стал занимать. Знаешь, чужое богатство, говорят, счастья не принесет... Нет, ну, кто занял — занял. Чего добру пропадать? У некоторых вообще вон все сгорело...

— Тимоха, я слышал, обалденный дом взял в районе турбазы.

— Да. Был я у него. Сауна, бильярдная... Гараж — на втором этаже. Прямо на второй этаж машина въезжает. Хозяином завмаг какой-то был, мингрелец.

— Да, они умели устраиваться. И чего им не хватало, а?..

— А ты не помнишь, как они говорили? "Что эти абхазцы хотят? Чего им не хватает? Мы же их в карман посадим!"

— А еще знаешь как? "Когда говорят, что все люди от обезьян произошли, никто не обижается. А когда говорят, что абхазы произошли от мингрельцев, абхазы почему-то обижаются". Да?

— Точно, — засмеялся Батал. — Было такое.

— Мне тут один соседский пацан, из старых жителей, рассказывал: вывозил его во время войны из города родственник... между прочим, сам наполовину абхазец, но по убеждениям — чистый грузинский националист. И говорит вдруг: "Ну, что, абхазцы, допрыгались вы?" Представляешь? А сейчас сам где-то в средней полосе России ошивается...

— А чего ж он на свою историческую родину не поехал? Да, братуха, если вспомнить

все, что было... Они же слова нам не давали сказать! В моем доме и грузины, и абхазцы жили, но тех, конечно, больше... Ну, не все одинаковые, это ясно. Вот Арчил был, водила-дальнобойщик, — что надо мужик. Я же с ними вечно бодался, а он меня защищал: "Чтоб, — говорит, — я этого — "грузин, абхазец" — здесь, в нашем доме, не слышал!" Но невозможно было... Раз в восемьдесят девятом, осенью — ну, помнишь же, какая обстановка была — приходит ко мне вечером Эмзар Шаматава из соседнего подъезда, на день рождения жены приглашает. А мы как раз с соседскими ребятами-абхазцами сидели, в нарды играли. "Да, да", — говорим, а у самих, честно говоря, никакого желания идти. Мы ж тогда, после событий, с ними почти не разговаривали. Через сорок минут снова появляется — просит, зовет. Ну, ладно, что делать... Послали мы одного в универсам за коньяком, взяли каждый в руки по бутылке и пошли. А у Эмзара уже пир горой... Час сидим, два сидим... И, когда за меня тост поднимали, один наш абхазец в шутку говорит: вот, простой крестьянский парень, а женился на Маан, из княжеской фамилии. А Эмзар возьми и влезь: это, мол, не Маан, а Маргания. И начал лабуду свою разводить о происхождении фамилий. Знаешь же их песни... Слово за слово, целая дискуссия пошла. Ну, не могли они без этого. В конце концов, я встаю, говорю: "Эмзар, ты ни в чем не виноват, никто не виноват, это я виноват, что сюда пришел". Берусь вот так за стол, извиняюсь перед теми, кто рядом сидел, и переворачиваю...

— Стол? Ну, Батал, в жизнь бы не подумал, что ты такой хипишной...

— Так достал он меня уже, говорю... Ладно, а через неделю я попадаю в Республиканскую больницу — язва желудка открылась. Смотрю — на второй день Эмзар с дочкой на пороге. И вот такой огромный арбуз у нее в руках — еле шла девочка, качалась... В сумке у него — хачапури горячие, курица, сыр. Не знаю, если б у меня в доме такое сделали, стол перевернули... Но я не стал ничего этого есть: просто из-за язвы права не имел... все медперсоналу раздал... Да, — подумав, качнул он головой, — а они еще собираются вернуться! Это же все снова начнется... Не надо этого ни нам, ни им. И тогда ужиться не могли, а теперь, после всей крови!.. Как будто так легко взять и реку крови перешагнуть...

— А я что, позволю Шакро Гобечия из нашего старого двора вернуться и жить здесь? Шакро, который всю войну тут убивал и мародерничал?.. Ладно, давай выпьем!

— Те, которые здесь живут, — пусть живут, — продолжал договаривать свое Батал. — Ну, и из уехавших, кто ни в чем не виноват, порядочных можно вернуть... Хотя как их разделишь? Одни потянут за собой других... порядочные — непорядочных... Выпили за всех боевых друзей, "которые живы и оказались достойны нашей победы". Долго перебирали имена, вспоминали, кто чем занимается. Лаша Чкадуа и Артур Гицба по-прежнему неразлучны, даже поселились по соседству в селе Пшاپ; Лаша занялся сельским хозяйством, Артур — бизнесом в Сухуме. Батал с горечью рассказал об одном парне, с которым шел в последнее, сентябрьское наступление, — о том, как постоянно встречает его на проспекте Мира или на рынке, нечесанного и немытого, с тусклым взглядом и надеждой в голосе: "Опохмели, а?" или "Спонсором будешь на сто грамм?"

— А помнишь, был в нашей группе... ну, на Гумисте, у Вадима... такой Джон Шантария? — заговорил Бесик. — Так он теперь в военкомате заседает, чем-то там заведует. А у меня племянник в этом году школу закончил и в университет хотел

поступать. По математике знаешь, как сечет? Но он же во время войны год пропустил... И приходит ему повестка в армию. Я — к этому самому Джону: сделай пацану отсрочку на полгода. Поступит — значит поступит, не поступит — пойдет осенью служить. Какая разница? Сперва вроде пообещал, а во второй раз прихожу — надулся как индюк, говорит: "Ничего не получается. Извини, но не положено", — Бесик выговорил последние слова с издевкой, копируя шепелявый говорок Джона. — "Не положено", говорит. Может, на бабки рассчитывал? А? Но у меня ничего нет, у брата тоже. Да и как бы я стал ему бабки предлагать? Мы с ним на войне одной шинелью накрывались, последний кусок хлеба делили...

— Джон, ты говоришь? Невысокий, плотный такой? Лупоглазый немного? Подожди, подожди, я сейчас тебе о нем кое-что расскажу.

От волнения Батал даже приподнялся на миг со стула.

— Во время мартовского наступления мы с этим Джоном на переправе рядом оказались. Вернее, он в нескольких метрах впереди шел. И тут как стали грузины по нашему квадрату из гаубиц шмалять... Вижу: Джон все медленнее и медленнее идет. А потом — ну, не знаю, мои глаза вроде меня еще не обманывали — смотрю, стягивает с плеча автомат и опускает в воду... И потом — шарит, шарит вокруг... как будто уронил и найти не может. Как будто течением унесло...

— Как автомат может течением унести?

— Ну, не знаю. Да и какая разница? Я же говорю: "Как будто". Короче, я мимо него прошел, и на миг мы взглядами встретились. И такой испуг в его глазах был! Сто процентов, эта шкура автомат свой утопила, чтоб дальше не идти. Вернулся, наверное, назад: так и так, рядом снаряд разорвался, меня течением понесло и автомат выронил. А без автомата на том берегу что делать?

— Вот паскуда! Ты же помнишь, в начале войны ребята машину, бывало, продавали, чтобы автомат купить... И ты ему ничего не сказал?

— Ну, тогда, в бою, не до того было. А после, ты знаешь, меня ранило... В госпитале лежал, а наш батальон на переформирование отправили... Да и, честно говоря, что ему скажешь? Разве признается? Да никогда в жизни... Чем докажешь?

— Ничего, я докажу!

— Ладно, брось... — вяло возразил Батал. — А то я уже жалею, что сказал. А если я ошибся, если мне показалось, что он — специально? Нет, ну... Оставь это... Да, кстати! Ты обещал мне фотографию показать... Помнишь?

— А, сейчас...

С минуту Бесик рылся в книжном шкафу, потом вернулся к столу — не с фотографией, правда, а с вырезкой из старой газеты:

— Вот эта фотка... Помнишь, на Гумисте нас один снимал — маленький такой, стремный? В мае, по-моему...

Под снимком была подпись: "На Гумистинском рубеже. Фронтовое братство", — очевидно, потому что все четверо на нем стояли обнявшись. Вид — на фоне полуразрушенного здания, переднюю стену которого сорвало взрывом, точно занавеску, — постарались придать себе самый что ни на есть воинственный. Хасан перемотался пулеметной лентой, которая свисала с его шеи как длинный конец небрежно наброшенного кашне; у Бесика и Батала "лифчики" топорщились от набитых в них автоматных рожков, а к поясам было еще привешено по паре гранат;

Эмик рукой в перчатке с прорезями придерживал на плече чужой гранатомет.

— Все-таки Хасан и здесь какой-то особенный, — заговорил после паузы Батал. — Посмотри, один взгляд чего стоит!

— Да, Хасан был... — Бесик запнулся, но так и не смог найти достойного эпитета.

— А вообще, Бесик, ты задумывался о чеченском феномене?

— В смысле?..

— Ну, почему все-таки они такие? Помнишь, какой шорох на грузинской стороне наводили? Чуть что: "Ау! Чеченцы, чеченцы!" Ну, может, мы и сами спецом это поддерживали, чтоб больше паники там было... Но даже если, предположим, это миф, все равно ведь миф на пустом месте не возникает. Я бы так сказал: Кавказ — это воплощение неукротимости человеческого духа, а чеченцы — воплощение всего Кавказа. Мы, абхазы, тоже были когда-то воинственным горским народом, но вся эта курортная пена, которая билась о наш берег в последние десятилетия, нас изнежила, расслабила... Хотя в генах, конечно, кое-что осталось... Нет, ну и кабардинцы — отлично ребята воевали, и абазины, и осетины... Да все... Но все-таки чеченцев знаешь, что отличало? Вот, помню, траурный митинг в Гудауте, в самом начале войны был. Пять тел погибших на Северный Кавказ отправляли, в разные республики. Некоторые со слезами выступали, кто-то прямо зарыдал там... И тут выходит Шамиль Басаев. В руке автомат, брови нахмурены. Что, говорит, трагедию тут делаете? Они — воины, пришли сюда по велению Аллаха и исполнили свой долг. Аллах акбар! И — очередь в небо. И так они покричали: он — "Аллах", все остальные — "акбар", постреляли вверх и на передовую уехали... Тут — своя философия. Презрение к смерти, что ли... Один чеченец объяснял мне все тем, что у них распространен суфизм, это значит — "предпочтение вечности", такое исламское учение. Но не в этом, наверное, только дело... Вот мы говорим: "менталитет народа". Тут все: и история, и...

— А Эмик, знаешь, что когда-то сказал? Если б тогда, в начале войны, северокавказцы не пришли нам на помощь, наши готовы были сдаться.

— Да ну, хорошо... Некоторые, может быть, были готовы — так некоторые и сейчас готовы. Но вообще если б мы сразу не оказали сопротивления, подняли лапки вверх, кто бы из них сюда рванул, а? Так что и мы для них еще каким примером были — что можно вот так подняться и свое доказать! Я никогда не забуду, как в начале 94-го поехал с одним нашим ансамблем на Северный Кавказ. Вот представь себе: вечером, темнота уже, останавливается наш автобус возле какого-то придорожного такого стихийного рынка — не доезжая до Нальчика. Ну, обычный набор там, на этом рынке, — хлеб, колбаса, жареные куры, водка, шампанское, пиво, печенье... Вышли мы из автобуса, походили, поторговались, кое-что по мелочи взяли. И сели уже, хотели дальше ехать, но тут кто-то на рынке услышал, что мы из Абхазии. Ребята-кабардинцы, которые там были, поднялись в автобус, начали нас обнимать, песню затянули, шампанское открыли, а женщины-торговки начали нам в окна совать бесплатно все, что у них было: шампанское, палки колбасы, коробки конфет... Клянусь, у меня слезы на глаза навернулись... То есть и раньше все это знал — как они к нам относятся, но тут настолько все...

— Когда, ты говоришь, это было?

— В начале 94-го. В феврале или марте...

— А сейчас, как думаешь, такое же на Северном Кавказе к нам отношение? И если, не дай Бог, что-то у нас снова начнется, придут они к нам на помощь? Я что-то очень сомневаюсь...

— Ты имеешь в виду — из-за этого всего... беспредела и прочего?

— Не только... Сколько, ты говорил, чеченцев погибло у нас на войне? Сто двадцать девять? А воевало всего? Ну, наверное, не меньше тысячи, правда? А мы?

— Что "мы"?

— Чем ответили, когда в Чечне война началась?

Бесик пил вроде бы не больше Батала, но выглядел сейчас куда более пьяным.

— Что, — стиснул он кулаки и потряс ими в воздухе, — не должны были мы первые из всех прийти им на помощь и воевать за них, как они за нас воевали?

— Миллион процентов, Бесик, должны были. Но ты так говоришь, будто ничего не знаешь... что Россия тут же границу наглухо закрыла. И даже не смотря на это... Все же воевали ребята. Вон Ахуба Давид... Недавно перезахоронение было. Восемнадцать лет всего пацану исполнилось.

— Но это все разве можно сравнить? Провели в самом начале маленький митинг в поддержку чеченцев — и заткнулись. Не так? Шумейко по телевизору ляпнул что-то про чеченские базы в Абхазии — ау, трагедия! Вот что нас единственно волновало...

— Ну, ты меня, Бесик, заколебал — если серьезно говоришь... Тебе мало, что мы против грузин воевали, которых в сорок раз больше? Ты хочешь, чтобы мы всему миру войну объявили? Знаешь, бывает человек, про которого говорят: "смелый", а бывает — "вздорный". Это когда на всех бросается. Мы же все время к России апеллировали, в российские двери стучались: "Возьмите нас, хотим быть за "гранью дружеских штыков". А потом взять и против Москвы попереть? Да мы даже уже от экономических санкций ее чуть не задохнулись... А ты представляешь, что было б, если бы Абхазия громогласно заявила: "Мы направляем добровольцев на помощь Дудаеву"? Да нас Россия Грузии тут же с потрохами б сдала. Грузинам и воевать бы не пришлось... И, кстати, чтоб ты знал, тот же Дудаев в свое время ни разу официально Абхазию не поддержал... И еще, мой хороший, не забывай, что нас сто тысяч, а чеченцев миллион, в десять раз больше. Нам без их помощи трудно было обойтись, а им наша не очень много дала б...

— Ну, если их миллион, а к нам приехала воевать тысяча, то значит и нас должно было поехать хотя бы сто человек.

— А откуда ты знаешь, сколько наших там было?.. Кстати, мне рассказывали, как один чеченец — он у нас после войны остался, на абхазке женился и во время войны в Чечне туда-сюда мотался — описывали такой эпизод. Приезжает он к Шамилю Басаеву с двумя абхазцами, которые воевать хотели. А Шамиль на лавке лежит, под голову сапог положил и дремлет. Поднял голову: "А-а, абхазцы? На днях тут целый ЛАЗ с абхазцами приезжал — я их назад отправил. Без вас обойдемся. Нечего вам тут делать — вас и так мало".

— Слушай, брось ты... тюльку гнать. Это же туфта чистая. Сто процентов, сами абхазцы такие байки для поднятия своего духа и сочиняют. Шамиль... Шамиль как раз на наших обижен, потому что его свои постоянно дергали: "Ну, где твои абхазцы?"

— Ладно, чеченцы за нас воевали. Хорошо. Но ведь и казаков, русских не меньше за

нас воевало. Получается, мы должны были "в знак благодарности" через год против них оружие повернуть? Нет, моральную поддержку мы чеченцам оказали, потому что они правы, они, как

и мы, за свободу воевали, ну, а больше... И кстати, чтоб ты знал, мне приходилось сталкиваться с русскими ребятами, питерскими, которые здесь, в Абхазии, воевали и которые мне говорили: "А почему вы в Чечню не поехали нас поддержать?" Понял, как получается?

— Ты знаешь, Батал, — заговорил после паузы Бесик, разливая по стаканам из графина бордовое вино, — я как-то разговаривал с одним чеченцем... Он все понимает: и положение наше, и... Вам и не надо было, говорит, ехать за нас воевать, мы и сами бы справились, но как вы могли в разгар войны в Чечне, когда там детей убивали, села сжигали, как вы могли проводить тут... когда это было, в апреле девяносто пятого?.. огромный митинг и в Россию проситься? Вот это их всех оскорбило.

— Вот, — оживился Батал. — Замечательный пример того, как не только людям, но и народам бывает трудно понять друг друга. Да, когда тот митинг был, никому у нас, по-моему, даже в голову не пришло: как чеченцы это могут воспринять. Нас судьба Абхазии волновала, правильно? Хотя и не все, кстати, с тем обращением были согласны. Ну, хорошо. А когда у нас война шла, Зелимхан Яндарбиев на одном очень представительном совещании в Нальчике выступает и говорит: "Россия хочет довести ситуацию до точки, после которой Грузия и Абхазия никогда не объединятся; вот кто истинный виновник!" Как тебе это нравится? Можно подумать, что мы только и мечтали, как бы с грузинами объединиться... А чего ты сам, Бесик, в Чечню воевать не поехал? А? А я уверен: начнешь объяснять причины — все примерно в той же самой последовательности и назовешь, что я назвал... Бесик поднял мрачный взгляд:

— Ты сильно ошибаешься. Я по-другому все объясню — потому что тварью неблагодарной оказался. Как и все мы... И вообще... Батал, сказать тебе правду? Я хочу, чтобы у нас снова война началась!

Произнеся это, Бесик сжал в руке стакан с вином так, что тот накренился и вино даже чуть расплескалось, и, опустив голову, уставился в стол. Ну вот, говорили, говорили и договорились...

Батал резко отодвинул от себя тарелку с размазанной по дну фасолью и кочерыжкой красной капусты. Несколько секунд он зло смотрел на Бесика; наконец, покачив головой, заговорил:

— Произвести на меня впечатление решил, да? Удивить чем-то? Так это же все равно не ты придумал; я точно такую ахинею еще год назад слышал. От одного дегенерата, ненормального. Извини, конечно, что так говорю... Ты не дегенерат, но повторил сейчас слова дегенерата. Посмотри вот на этого ангелочка, который сейчас в люльке спит! За что ты его ненавидишь? Что он тебе такого сделал, что ты его хочешь со света сжить?

Батал вскочил, сделал несколько нервных шагов по комнате, потом сел и снова заговорил, не сводя глаз с Бесика:

— Надеешься, что я буду тебя сейчас жалеть, уговаривать? Все вокруг плохо, да? Все несправедливо? Тебя тоже обошли при награждении?

— Когда я тебе такое говорил? — вскинулся Бесик, блеснув белками глаз. — Да оно мне... Просто противно все это вокруг видеть... Кто вокруг блатует — посмотри. А вот мы недавно с ребятами сидели — в одной группе на Восточном фронте воевали — и подсчитали: на четверых семь рук и шесть ног осталось... Ты знаешь, что во мне до сих пор два осколка сидят? Месяц назад в Сочи ездил специалисту показаться, так на Псоу русские погранки полчаса через ворота свои металлические гоняли, пока до них не дошло... И я тоже: все карманы вывернул, потом только рюхнул, из-за чего звенело — из-за этих самых осколков... Понял, да? Тогда мы с тобой нужны были... А сейчас я не могу детей накормить; сигарет чтоб купить, знакомых дергаю. Ты помнишь, как Ахра сказал...

— Послушай, дорогой мой...

— Подожди, ну!..

— Да знаю я уже все, что ты хочешь... Ну, хорошо, говори.

— Ты помнишь, как Ахра сказал, когда мы в Афоне на реформировании находились: "Вот увидите — кончится война, освободим мы Абхазию, и снова все будет как прежде: те же начальники, которые сейчас попрятались, сядут за свои столы, и снова простому человеку будет не пробиться за правдой". Так за что мы с тобой, братуха, воевали, а?

— О, Господи... Я не думал, Бес, что у тебя в голове такая каша... "За что воевали?" А то ты не знаешь? За свободу Абхазии воевали, за то, чтобы наши дети в этих самых... манкуртов не превратились. А то, что после нашей победы в Абхазии наступит царство добра и справедливости — так у меня никогда такой иллюзии не было. Дорогой мой, пойми: абсолютной справедливости на Земле никогда не бывало и не будет. И при награждениях, и при назначениях, и при... Да, да, ты мне этого никогда не говорил и не скажешь — я сам знаю; и знаю уйму других примеров, когда про порядочных, смелых и прошедших "Крым и рым" ребят забывали, а награждали... Ладно, не хочу говорить. А что такое вообще "абсолютная справедливость"? Один ведь считает — этот достойнее, другой — тот... И почти каждый — что сам он-то, конечно, достоин. И в итоге предпочтение часто отдается кому? Тому, у кого просто больше толкачей. Ну, что делать? Ладно, может, я не с того начал... Не за награды мы с тобой воевали. И не за должности. Не так разве? Ахра... Ясновидец, да? Чего вы так все время удивляетесь элементарным вещам? Ну, если человек всю жизнь чиновником был, опыт, образование имеет — так почему он не должен своим делом заниматься, если, конечно, не предатель? А что, Мирона Айба, по-твоему, за эти бумаги посадить? Думаешь, тогда все вопросы сразу справедливо разрешатся?

— Нет, не думаю...

— Ага, не думаешь. Но вы все почему-то... Ну, нет на свете совершенных людей, пойми! И я, например, за то, чтоб на должности директора предприятия был специалист и хороший организатор, даже если во время войны он себя героем не показал. Но у нас же у многих, извини, не только машины и дома, но и должности трофейные. Вон одного знаю... тоже на персональной машине разъезжает... А когда до войны на консервном работал, так ему там директор только пустые ящики считать доверял... Ладно... Ну, вот ты говоришь: не могу детей прокормить, не знаю, что делать — хоть стреляйся... А я что, в лучшем положении? Ну, "преподаватель

университета". А на что жить? Зарплату получаю — это примерно 15 рублей по-старому. В селение поеду, там родителям в хозяйстве помогаю. Но из фасоли же костюм себе не сошьешь и из мамалыги туфли не слепишь. Правильно? Но надо как-то выкручиваться, что-то придумывать. Вот репетиторством занялся... Жена в киоске у родственника сидит — харахуру всякую продает. Хотя торговли там сейчас почти что нет — так, себя больше обманывают...

— А Лютик Габуня, который во время войны неизвестно где болтался, в это время на "БМВ" ездит... Толкает в Турцию цветной металл и в Сочи квартиры покупает... Батал хмыкнул:

— Нашел чем удивить! Анекдот хочешь? Встречаются в Сухуме после войны два бывших одноклассника: один пешком идет, в камуфляже поношенном, другой навстречу ему на шестисотом "Мерседесе" едет. И первый второму говорит: "О-о, какая у тебя машина! Трофейная?" А тот ему: "А ты не завидуй. Я же не завидовал тебе во время войны, когда в Москве в переполненном метро ездил, а ты тут на танке катался!"

— Слышал я, — кивнул Бесик. — Только по-другому: один — на "БМВ", а другой — на БМП...

— Ну и что? — продолжал Батал. — Что ты по этому поводу можешь предложить? К стенке таких, как Лютик, поставить? Или конфисковать у них все и разделить? Но такое уже было в семнадцатом, теперь это не модно. Э-э, брат, не так все просто... Вот ты же сам говорил, что к коммерции способностей не имеешь. И я не имею. А Лютик имеет!

— Вот теперь понятно. Значит, зато в окопах сидеть у нас были способности, а у него не было...

— "И шестисотый "Мерседес" на перекрестке мне явился", — пробормотал Батал. — Ладно, не вали снова все в кучу. Это уже другое... Но ты же не будешь спорить с тем, что без этих Лютиков нам в сегодняшней жизни не обойтись? Да и в любой жизни... Извини, а тебе не приходило в голову, что, может, тот же самый Лютик, и не без оснований, смотрит на тебя с презрением? Он крутится изо всех сил, носом землю роет... а ты сидишь днями в кофейне и на жизнь жалуешься.

— Да откуда ты знаешь?..

— Бесик, мне твои чувства понятны. Ты думаешь, меня самого все это не мучило? Да, во время войны на нас, вояк, были обращены все взоры, на нас, можно сказать, молились... И подавляющее большинство из нас наивно верило, что победа все само собой устроит. Ну, не мы первые такие на Земле были, не мы последние... Да, была потом победа, причем, как ты помнишь, не какая-то полупобеда, с оговорками, а неслыханная, ошеломляющая! Была эйфория... Но любая победа — это как восхождение на вершину... или на полюс: любой шаг — это уже шаг вниз. Эйфория рано или поздно кончается. И трофеи тоже — даже у тех, кто очень хорошо отрофеился. А работать-то уже отвыкли... И что для многих становится "орудием труда"? Автомат. Любая война — это выброс зла, агрессии, которые потом уже начинают на своих распространяться. Нам всем надо было жить... Точнее, выживать. В бой шли все вместе, а выживать надо было в одиночку. Мы, брат, потерянное поколение, к тому же угодившее в эпоху перемен. У нас же у всех психология-то советская осталась, мы при капитализме еще не жили. Мы ждем, что

все нам государство должно дать, а откуда государству взять? Конечно, если б мы жили в Америке, где у ветеранов войны такие пенсии...

— Пенсии... Я по радио недавно о лошадиных пенсиях слышал. В Японии теперь скаковых лошадей, которые состарились... ну, раньше их на живодерню отправляли, когда они уже не могли в скачках участвовать... А теперь там гуманизм такой степени достиг, что решили их как бы на пенсии оставлять — жалко, мол. А содержание одной лошади обходится в 200 долларов в месяц. Понял? Так я чуть не заплакал, когда это услышал, клянусь матерью! Гуманисты, я их маму... С-суки! Лучше б они эти 200 долларов на содержание моей семьи давали, на четверых человек. Вот так бы мне хватило!.. Мне тут, бывало, молока пацанке не на что было купить... А? Это не справедливее было бы?

— Ну-у... — Батал помолчал. — Это еще как посмотреть. Эти лошади, видно, сами-то себя прокормить не могут. А у человека если руки-ноги целы, то... Ты вообще не задумывался, что эта так называемая гуманитарная помощь — очень подлая вещь? У нас же новая профессия появилась — просители. Они же вот эту нашу руку с абхазского флага, — Батал поднял открытую ладонь, — вот в такую, — он опустил ладонь и сложил ее ковшиком вверх, — для себя превратили!.. И это тоже послевоенный синдром. Работы, говоришь, нету... Я не знаю, что ты понимаешь под словом "работа", но знаю, как понимают это у нас очень многие: "кабинет, пистолет..." Должность, короче. Недавно одного знакомого встретил — злой, как черт: все, говорит, жалуются, что работы нет, а понадобилось мне цемент разгрузить, и неплохо, между прочим, заплатить обещал — так полдня искал, еле-еле двух бродяг уговорил... Бесик, я тебе не предлагаю цемент разгружать, но... Извини, конечно, но я несколько раз видел тебя на одном и том же месте в компании бездельников... На корточках вы все сидели... Я уже боюсь, что ты скоро на их язык перейдешь: "Вася-масы..."

— Какая разница, как я сидел? — вспыхнул Бесик. — Кто как хочет, так и сидит.

— Ладно, успокойся. Просто... Ну, хорошо, ты же в прошлом году АГУ закончил, диплом получил. Что, в школу не можешь пойти работать?

— Чтоб родители учеников мне на пропитание бабки собирали?

— Ну, а что делать? Вот такая у нас сегодня экономическая ситуация в республике... А на случайные заработки рассчитывать или кто что подкинет — это лучше? Я тебе, Бесик, откровенно скажу: очень не нравится мне твое сегодняшнее настроение. Ну, что ты в самом деле?.. Все у тебя есть: жена-красавица, дети, крыша над головой... Да многие бы мечтали... Нет, на войне ты совсем другим был: не помню, чтоб так раскисал.

— На войне все было проще.

— Правильно... А еще на войне всем вокруг было трудно и плохо. И сейчас тебе обидно, что кому-то лучше, чем тебе. Да? И тем в том числе, на кого ты зло имеешь? Потому хочешь, чтоб снова все началось?

Бесик взглянул на него с недоумением и неприязнью. Батал умолк. Не хватало еще поспорить с фронтовым товарищем, в доме которого он впервые находился. Но Бесик только усмехнулся:

— Ну, повоспитывай, повоспитывай меня... Макаренко ты наш, Ушинский, Фома Эшба... Но так можно все объяснить и оправдать.

— Я не оправдываю, я говорю, что не надо в истерику впадать. В скулеж...

— Ну, не знаю... Я виноват, значит, что у меня душа болит? Посмотри, что с нами стало... Вот у меня родственник по Чанба живет, так там недалеко дом стоял незанятый... ну, полузанятый такой. Кукла, а не дом... Все, уже разобрали: кто железо оцинкованное с крыши унес, кто двери снял... Потом дожди пошли — и от этого дома уже рожки да ножки остались... Да что один дом? Все растаскивают! Слушай, после той войны несколько лет прошло — и огромную страну из руин подняли, а у нас, наоборот, не прибавляется, а убавляется все. А эти грабежи, убийства? Не думал я, что наши ребята такие... Что случилось, что мы наше абхазство потеряли? Я, бывает, попадаю в незнакомую компанию — ну, где русские, армяне, еще кто-то — и мне совестно бывает сказать, что я абхазец!

Батал поморщился и покрутил головой с таким отвращением, как будто по ошибке хлебнул содержимое стаканчика для бритья — с мыльной пеной и "опилками" волос:

— Бесик, вот ты будешь сейчас обижаться, но... Зачем ты снова повторяешь чью-то чушь? Слышал я уже это тоже... Во-первых, во все века это было: и грабили, и убивали, и предавали... Просто знаешь, как Чехов еще писал: "Там хорошо, где нас нет, в прошлом нас уже нет, и поэтому оно кажется нам прекрасным". "О времена, о нравы!" — помнишь, кто так сказал? Цицерон. И это было, когда ни дедушки наши еще не родились, ни прадедушки, ни пра-пра-пра... И в каждом поколении так восклицали, и всегда казалось: конец света наступает. А во-вторых... Ты мне сейчас напомнил тип не очень умных людей, которых всегда бросает из крайности в крайность. То мы, абхазы, с нашим этикетом, с нашей "апсуара" — самые-самые, необыкновенные, лучшие на свете, то самые-самые, но теперь уже худшие. Как будто никто, кроме наших, преступлений не совершает. Как будто в России вот так же оборудование сейчас не раскулачивают, электропровода на лом километрами не растаскивают!

— Успокоил...

— Но не надо впадать в самоуничижение, пойми. Я сейчас вспомнил одну знакомую... Я не слишком долго говорю?

— Давай, давай, мы же никуда не торопимся.

— Ну, значит... Встречаю ее как-то в Сухуме спустя две-три недели, как война кончилась. Лет примерно тридцать ей. Всегда, помню, активисткой форума была... Ну, идем — нам по пути оказалось, а дорога длинная... Ничего же тогда в городе из общественного транспорта не ходило — и начинает она мне душу изливать. Ну, ты уже догадываешься, о чем: "Что же это такое вокруг творится — мародерство, грабежи, насилие... Я никогда не думала, что наши на такое способны, что мы такие же, как они... Нет, мы даже хуже!" И вот выплескивает она все это, а я вспоминаю тем временем один наш с ней довоенный разговор в Народном форуме. Небольшой такой кружок сидел, рассуждали о последних событиях, и зашла речь о памятниках... Ну, если помнишь, в одно время пошли случаи, когда в Сухуме начали памятники осквернять — то абхазским деятелям, то грузинским. И вот тут она вскакивает и толкает речь: я, мол, больше, чем уверена, что абхазы не могли так с грузинскими памятниками сделать — просто воспитание в абхазской семье это не позволяет. Ну, мол, уважение к ушедшему из жизни и все такое... То есть это, мол,

наверняка грузинская же провокация...

Бесик расхохотался.

— Что?

— Да я вспомнил, как в это время... У нас во дворе одна девчонка жила, грузинка. Жужуной звали. Так она, помню, все доказывала, что это абхазская провокация, что грузин не может памятник осквернить...

— Ну, это то, о чем я говорю... То есть ты пойми: я не знаю, кто тогда это с памятником каким-то конкретным делал, и никогда мы уже не узнаем. Все может быть. Но сама по себе эта уверенность... А глаза у нее большие, чистые-чистые, голос дрожит!.. Я не сомневаюсь, что она не на публику тогда работала, что это было ее глубочайшее убеждение. И знаешь, даже аплодисменты, кажется, в той аудитории сорвала... И вот сейчас, после войны уже, мы идем, я смотрю в эти же чистые, честные, наивные глаза и убеждаю ее: "Нет, мы не хуже. Такие же — да. Не лучше и не хуже всех остальных народов. А по-другому не бывает... А поэтому для меня совсем не стало неожиданностью то, что происходит вокруг и что повергло тебя в такой шок." Мы, говорю, были правы в этой войне потому, что сражались за свою свободу, а не потому, что мы лучше по группе крови, воспитанию, образованию или чему там еще... Ты согласен со мной?

— Так, я хочу выпить за...

— Извини, я сейчас закончу. Недавно, кстати, интересная у меня встреча была. Приезжала из Москвы одна знакомая, абхазка, она переводчицей с итальянского работает, тургруппы обслуживает. Что вы, говорит, тут все плачетесь, друг друга ругаете: абхазцы такие, абхазцы сякие... А итальянцев послушать — так то же самое: и ненасытные, мол, мы, итальянцы, и ненадежные, и вообще хуже нас нет... А я, говорит, сюда, в Абхазию, приезжаю — мне все кажется замечательным. "Люди как реки", — помнишь, Лев Толстой сказал? Не бывает, мол, рек таких или таких — все зависит от места течения... Ну, относительно людей еще можно поспорить, а вот народы — тут не прибавить, не убавить... Ладно, можно мне тост сказать? Знаешь, один знакомый-историк рассказывал мне, что в конце прошлого века, после махаджирства, почти вся Абхазия вот так же заросла бурьяном, как сейчас... ну, видел вокруг трассы в Очамчырском районе?.. Ничего. Пройдет время... В том, что снова все у нас когда-нибудь зацветет, вопроса нет. Вопрос в другом — какая речь будет вокруг звучать: абхазская или...

Был уже двенадцатый час ночи — страшно поздно по нынешним временам — когда Бесик, чуть пошатываясь, вышел проводить Батала. Моросил дождик, но заметно потеплело.

— Да, ну мы и засиделись... — с покаянными нотками в голосе произнес Батал. — Дома у меня точно все с ума сходят.

— Зато поговорили от души. Не часто так получается.

— Да, не часто. Все проблемы Абхазии и остального человечества перерешали. Бесик настоял, что проводит Батала хотя бы до моря — тот решил идти к Красному мосту по набережной, — но потом пошел с ним и дальше, до малого причала. Вокруг не было ни души.

Батал шел и рассуждал о том, почему в последние годы жизнь так резко схлынула с набережной и сосредоточилась на проспекте Мира. Наверное, потому что сейчас

время выживания, торговля — средоточие всего. Настанут лучшие времена — и снова народ будет здесь толкаться, снова набережная станет самым оживленным местом Сухума.

Возле порта они постояли у парапета, всматриваясь в темноту моря, слушая, как скребет оно клешнями-волнами по гальке. Батал развивал свою излюбленную тему: сколько всего происходит на берегу, сменяют друг друга мир и война, расцвет и упадок — но ничто не может помешать волнам одна за другой в течение тысячелетий все так же накатывать на берег. Однажды, мол, ему пришло в голову подсчитать, сколько волн ударились об этот берег с того времени, когда в 65-м году до нашей эры здесь останавливались на зимовку войска понтийского царя Митридата. Если считать, что за минуту на берег накатывает две волны, то получилось чуть больше двух миллиардов раз... "Не так уж много", — констатировал Бесик.

У остова сгоревшей гостиницы "Рица", наконец, распрощались. Несмотря на пьяные поцелуи при расставании, на душе у Батала, когда он двинулся дальше, не было умиротворения. В голову лезли наиболее нервные моменты его с Бесиком сегодняшнего разговора. В чем-то он, может, и убедил пацана, но... Осадок какой-то оставался. Ладно, жизнь покажет.

А сейчас надо было спешить, пока окончательно не промок.

1997

Приключения обезьяны

В то утро 18 августа 1992 года едва рассвело, а семейство макака резуса Казановы уже вовсю резвилось в своей просторной клетке под раскидистым платаном. Когда рабочая по уходу за обезьянами, в просторечии именуемая обезьянщицей, — тетя Аня — вошла в клетку, вся веселая семейка послушно прыснула в разные стороны: чтобы дать ей возможность без помех подмести пол. Глава семейства, довольно еще молодой и очень самолюбивый девятилетний самец Казанова, уселся на одной из деревянных перекладин под потолком. Четверо взрослых самок, его жен: простушка Маркиза, кокетливая Зизи, беззаботная Молекула и меланхоличная Лаборантка уцепились за металлические прутья стенок, опираясь задними лапами и хвостом на продольные планки. При этом Зизи придерживала на груди детеныша, который родился три недели назад и еще не имел клички, а Лаборантка — самое приниженное и презируемое в клетке существо — в дальнем углу доедала подобранные с пола остатки вчерашнего комбикорма. Маленькие дочери Зизи одна за другой прыгали с перекладки на жестяной навесик в центре клетки, балдея от создаваемого шума, а их брат выделял кульбиты на подвешенном к потолку кольце, время от времени начиная крутиться в нем как сумасшедший. Сын же Молекулы и дочери Маркизы просто раскачивались на прутьях потолка в углах клетки, раздумывая, чем бы им заняться. Разумеется, ни Маркизе — будущей героине нашего повествования, ни другим обитателям клетки не было понятно значение слов, которыми люди их время от времени называли, но звучание этих

слов они помнили и даже по-разному их оценивали. Маркизе, например, совершенно не нравилось грубое, шипящее слово "Чурчхела", с которым иногда обращались к ее старшенькой, и, наоборот, ублажало слух ласковое "Фасолька", как звали младшую, полугодовалую.

Маркиза — чистенькая, опрятная обезьянка с золотисто-серой шерсткой, смешной рожицей и незлобивым простодушным характером, восьми с половиной лет от роду — принадлежала к той немногочисленной группе обезьян Сухумского питомника, которые появились на свет не здесь, в неволе, а были отловлены в местах обитания и завезены сюда за солидную сумму в валюте. Лаос — так называлась та далекая страна, где она некогда родилась в большом стаде макаков резусов, кочевавшем по бескрайним зеленым джунглям. Как нечто смутное, почти нереальное, навеванное сном в солнечный полдень, жили в ней воспоминания о тех днях: о густом материнском молоке, упоительных играх с братишками и сестренками среди хитросплетений ветвей и лиан, дрожащем конфетти из мелких птичек в кронах деревьев, сумраке подлеска, испарениях влажной земли...

Тетя Аня, между тем, закончила уборку клетки, насыпала в разных ее местах серо-зеленые, похожие на сухой помет палочки свежего комбикорма, налила воду в широкие плоские ванночки для питья. Вид у нее сегодня был хмурый, встревоженный, и эта встревоженность передалась вдруг Маркизе, которая заметалась в углу клетки. Не связано ли все это было со вчерашним днем, когда что-то бухало, страшно грохотало — то ближе, то дальше, когда над клеткой долго висела огромная ворона со светлым брюхом (ух, эти вороны, самые нахальные в мире существа, как ненавидели их все обезьяны!) и издавала противный вибрирующий звук?

А может, эту нервозность вызвала у Маркизы большая группа человеческих самок в белых халатах, которая толпилась сейчас прямо перед клеткой и что-то возбужденно обсуждала?

— В общем, влипли мы с этим дежурством. Спасибо, живые хоть остались...

— Ужас! А нам — сегодня заступать... Если только не отменят вообще...

— Ладно, расскажи все, как было, по порядку.

— Ну, слушайте... Часиков в восемь вечера сидим мы себе на скамейке возле кормокухни. Подъезжают они с автоматами на "уазике". Вылезают, оглядываются... Человек шесть. А видок у них... Ну, как будто специально где-то выращивали для этих дел. Будки — во! Подбородки какие-то выпяченные... Ни одного нормального лица — все страшные. Идут вразвалочку... Хозяева...

Обкуренные, кажется, все. Но — поначалу стесняются. Неудобно им при нас грабить начинать. Мы им морально мешаем... И — начали уговаривать: "Расходитесь, дэвушки, по домам! Сейчас тут опасно, абхазцы могут напасть." Мы — нет. Ну, ладно... Попалили немного в воздух и исчезли куда-то. А потом ночью Амиран прибегает. Они, говорит, набухались и их на баб потянуло. Давайте, говорит, я вас спрячу: там, где клиника, на втором этаже, если через обезьяньи домики пройти, комната есть... Ну, пошли и просидели до утра. Вот такая сиреневая ночь была...

— А Бедия они когда отмузузили?

— Так это раньше еще... Он увидел, что они в административный корпус сунулись — и за ними. Думал, наверное, заговорит сейчас по-грузински, представится —

замдиректора института, мол, то, се... Но не на тех нарвался. Мы когда после увидели его — мамочки!.. Всю ночь вывозили из лабораторий что им нравилось. Телевизоры, холодильники, кондиционеры, калькуляторы...

— Да, гараж взломан, машины все угнаны...

— Девочки, а что Горбунов, начальник охраны, рассказывал, слышали? У них же в охране переносные радиостанции... Выскочили эти самые гвардюки на него: двое автоматы с боков наставили, третий заряженным гранатометом в живот уперся. Стащили с него радиостанцию и начали допрос: сколько здесь абхазцев, что он им по радиостанции передавал?... Потом пошли мимо лабораторного корпуса, и тут командир их говорит: "Это что за здание? Немедленно прочесать, если двери будут закрыты — взорвать их к такой-то матери!" Потом — обезьяньи домики. Горбунов объясняет: там содержатся обезьяны. Командир говорит: "Взорвать!" "Как взорвать? Это ведь животные, они ни в чем не виноваты. Они — достояние государства, больших денег стоят." Тогда, говорит, их надо выпустить, и пусть они погрызут абхазцев. И ржет, довольный...

Тетя Аня к этому времени закончила работу в клетке и закрыла ее на всякий замок. Обезьянки с увлечением набросились на еду. Маркиза была третьей по положению в семействе и имела полное право заняться одной из кучек комбикорма, но вместо этого вцепилась в прутья клетки и, заслоняя своих детенышей, скалила зубы на галдящих людей — желая прогнать их прочь. Высокая полная белохалатница заметила это и, несмотря на тревожное настроение, рассмеялась:

— Посмотрите на нее, а? Пошли, пошли отсюда... Не надо обезьяне на психику действовать.

Белые халаты, продолжая разговор, потянулись в сторону административного корпуса. Но нет, не суждено, видно, было этому жаркому августовскому дню продлиться для Маркизы и всего семейства Казановы таким же, каким он начался, — безмятежным, заполненным играми и нехитрыми обезьяньими заботами. Ближе к полудню на пяточке, где полукругом стояли клетки с обезьянами и открывался чудесный вид на пологий склон Чернявской горы, появились трое молодых человеческих самцов в необычной пятнистой одежде. У каждого из них были — у двоих на ремне за спиной, у третьего в руках — большие железные палки с утолщением на конце и кривым отростком посередине. Шли они рядом с тетей Аней и о чем-то с ней спорили. Потом один из них поднял свою железную палку тонким концом вверх, из нее вырвалась молния и раздались такие страшные раскаты грома, что все обезьяны заметались в клетках. Единственной обезьяной, которая упорно, несмотря ни на что, оставалась неподвижной, был стоявший в центре пяточка памятник, возведенный лет пятнадцать назад в честь пятидесятилетия питомника "отцу-основателю" всего местного стада павианов гамадрилов Муррею. Маркиза, как и другие члены ее семьи, не раз с недоумением поглядывала на его могучие плечи, вытянутую как у собаки морду, огромную гриву... Поглядывала, не в силах понять, почему эта почти шарообразная большая странная обезьяна только и знает, что сидеть на месте, со взором, устремленным вдаль, к усеявшим склон горы разнокалиберным и разноцветным домикам, и не реагирует даже на ворон, которые иногда преспокойно разгуливали по ее голове...

— Никаких я вам клеток открывать не буду, — сердито сказала тетя Аня, на которую стрельба, казалось, абсолютно не произвела впечатления. — Я здесь сорок три года проработала, и у меня ни одна обезьяна не пропала.

— Мы ж тебя сейчас пристрелим!

— Ну, стреляй...

— Ладно, брось ее, сами откроем, — решительно сказал один из "пятнистых" и направился к клетке с зелеными мартышками — длиннохвостыми изящными обезьянами.

Он повозился с замком, потом, отойдя на несколько метров, громыхнул в него очередь. Обезьяны заверещали. Но за первой открывшейся дверью был небольшой тамбур — специально для того, чтобы обезьяны не могли разбежаться, когда клетки открывались, и еще одна дверь. Разбил замок и на этой. Дальнейшее — то, как он бросался за мартышками, а те легко от него ускользали и потом одна за другой стали выскакивать из клетки наружу — можно было бы назвать очень комичным, если б не видеть в этот момент тети Ани. Лицо ее побагровело, большое грузное тело содрогалось от гнева. Она бросилась к клетке держать наружную дверь, не давая разбежаться оставшимся обезьянам. Незадачливый ловец мартышек и сам, видимо, уже понял, что ничего у него не получится. Он, грубо оттолкнув тетю Аню, выругался и вышел из клетки. В это время один из его товарищей, гогоча, палил по одной из мартышек, которая мелькала уже далеко, в ветвях эвкалипта.

* * *

Прошло несколько дней. Ужасные раскаты грома в ясную, солнечную погоду и появление на пяточке перед обезьяньими клетками групп молодых человеческих самцов в пятнистой одежде стали привычным делом. Все это, конечно, не могло пройти бесследно для членов семейства Казановы. Зизи, например, бросила своего трехнедельного детеныша и не желала больше к нему прикасаться. Детеныш, конечно, мог передвигаться и сам, но привычное все же в таком возрасте его положение — висеть поперек живота матери, вцепившись в ее шерсть. И тогда таскать его принялась старшая дочка Зизи Юннатка — нежная и ласковая обезьянка-подросток. Но несмотря на проснувшийся материнский инстинкт молока она ему дать не могла. "Как не стыдно!" — с осуждением поглядывала Маркиза на Зизи, совсем растерявшую в эти дни свои кокетливость, грациозность и самоуверенность. И не только она ее осуждала. Одна молодая человеческая самка в белом халате как-то долго стояла у клетки и все уговаривала Зизи: "Возьми, возьми детеныша!" Подруга тянула ее прочь: "Ну что ты, Натела, делаешь? Она же тебя все равно не понимает." "Ну и пусть. Я на нее интонацией воздействую, успокаиваю." Потом, через три дня, Зизи все же взяла детеныша...

"Сами патара маймуни тховит!" * (*"Трех маленьких обезьян попросите!"* (груз.)).

Откуда было знать Маркизе, что эта фраза, громогласно произнесенная огромным человеческим самцом в черной кожаной безрукавке, черных очках и с заброшенной на плечо железной палкой, Станет поворотной в ее судьбе! Потом этот детина в сопровождении лысого сотрудника института утопал в директорский корпус, оставив у клеток своего смуглолицего белозубого товарища. Тот подошел к клетке

Казановы и начал с любопытством наблюдать за обезьянами. Потом вынул изо рта комочек жевательной резинки и протянул его в клетку. Казанова тут же схватил белый мягкий шарик и начал жевать. Последующее превзошло все ожидания смуглолицего: Казанова несколько раз в недоумении останавливался, вытягивал пальцами жвачку изо рта в длинный белый шнур, как это любят делать дети, и снова ожесточенно начинал двигать челюстями. Смуглолицый давился от смеха, приседал, бил себя ладонями по коленям и все оглядывался в сторону, куда ушел детина. Но тому было не до любования мимикой Казановы. Когда он вновь появился у клетки — вместе с лысым и семенящей следом худосочной обезьянщицей в синем халате и с ключами, то сразу же деловито ткнул пальцем в трех обезьян.

Впрочем, на выбор его тут же пришлось махнуть рукой. Едва худосочная обезьянщица, прихватив из тамбура большой зеленый сачок, вошла в клетку, макаки, хорошо помнившие этот ненавистный им предмет, бросились врассыпную. Сын Зизи Пирожок, на которого она нацелилась сачком, юркнул в отапливаемый домик — обезьянью спальню, Юннатка — за ним. Пришлось ловить других (детина, впрочем, давно уже перепутал мельтешивших перед ним обезьян). Обезьянщица одну за другой отловила Молекулу, Фасольку и Маркизу, а детина со смуглолицым закрыли их в большие картонные ящики.

Потом детина "ударил по газам", и открытый джип с картонными ящиками, в темноте которых тихо скулили потрясенные случившимся обезьяны, на бешеной скорости помчался вниз с горы Трапеция.

* * *

Для Маркизы началась удивительная жизнь, совершенно не похожая на ту, которой она жила прежде (ни Молекулу, ни Фасольку она больше уже никогда не видела). Ее хозяином стал смуглолицый — худощавый юркий малый с зелеными кошачьими глазами, которого все звали Гоча. Он надел на Маркизу кожаный пояс с длинной металлической цепочкой. Эту цепочку Гоча или держал в руках, когда выходил с Маркизой на улицу, или пристегивал к своему поясу, или защелкивал на трубе парового отопления в комнате, где он жил с друзьями. Здесь же, в углу, Маркиза и спала на мягкой подстилке. Цепочка ее, конечно, тяготила и злила, но, с другой стороны, долгие годы мир, в котором Маркиза жила, не простирался дальше размеров вольеры или клетки, и вот теперь его границы стремительно раздвинулись и она смогла увидеть... Чего только она ни насмотрелась!

То и дело в комнату набивалась куча молодых человеческих самцов, большинство из которых было в пятнистой одежде. Они усаживались за столом, раскладывали на нем всякие вкусно пахнущие вещи, наливали в стаканы прозрачную или красную жидкость, потом раз за разом били эти стаканы друг о дружку и выпивали их содержимое. Часто они открывали большие зеленые бутылки, из которых при этом с шумом вырывалась пенная струя. Маркиза каждый раз пугалась громкого хлопка, и, заметив это, один "пятнистый", открывая бутылку, начал с хохотом направлять струю в ее сторону. Маркизе это, естественно, не нравилось, она дергалась, скалила зубы, что приводило еще в больший восторг всю компанию.

Кроме того, на нее не раз напяливали то жокейскую шапочку, то черный танкистский шлемофон, пытались нацепить бюстгальтер, черные очки, детские платица — в общем, все, что попадалось под руку — и, тыкая в нее пальцем и хохоча, орали: "Хаджарат! Хаджарат! Ну, вылитый апсуа!"

Зато никогда еще Маркизе не перепало столько вкуснятины. Нет, были, конечно, времена, когда и в питомнике кормили очень прилично: гречневая и рисовая каша со сливочным маслом, молоко, белый хлеб, карамель, орехи, порой даже бананы... Но все это давно уже кануло в Лету... В последнее время питание было все хуже и хуже. А тут перед ней могли вдруг высыпать целую горку сладких батончиков в красно-коричневых и голубых обертках — только для того, чтобы потом покатываться от смеха, глядя, как она деловито срывает эти обертки и отправляет конфеты в рот. Особенно ей нравились те, что в голубых обертках — их называли "баунти", — с нежной белой мякотью внутри. Любили смотреть и как она с аппетитом хрупает печеньем. А вот прозрачную и жгучую на вкус жидкость из бутылки, которую ей как-то налили в блюдце, Маркиза пить наотрез отказалась, как ни тыкали ее в блюдце мордочкой. Впрочем, после того, как она несколько раз от души царапнула кое-кого из шутников, желающих дразнить ее поубавилось. Тем более, что и Гоча Маркизу в обиду не давал, останавливал не в меру расходившихся. А бывало еще, что Гоча и его друзья доставали стеклянные цилиндрики с иголками. Маркиза каждый раз при этом начинала нервничать, потому что с такими вот цилиндриками, как и с сачками, у нее по питомнику были связаны самые неприятные воспоминания, но ее не трогали, а кололи этими иголками сами себя. По утрам Гоча обычно прикреплял конец цепочки к своему поясу и выходил с Маркизой на улицу. Они забирались на огромное, как слон, грохочущее железное чудовище с длинным вытянутым (будто слон все время трубил) хоботом и куда-то ехали. Сперва Маркиза очень боялась этого чудовища, производимого им шума, но потом притерпелась и с любопытством, даже удовольствием рассматривала, сидя наверху, все, что несло ей навстречу.

Особенно Маркизе нравилось кататься по набережной, где темнели кипарисы, розовыми пятнами проплывали олеандры, а в проемах между всем этим растительным великолепием сверкала синяя долина моря. Порой на чудовище взбирались молодые человеческие самки с ярко-красными губами. Они всегда хохотали и кормили Маркизу вкусными конфетами. Но что Маркизе совсем не нравилось, так это когда какая-нибудь из них брала в руки железную палку, задирала тонким концом вверх и, отвернувшись и зажмурившись, производила такой ужасный грохот, что Маркиза в панике едва не рвала цепочку, на которой сидела.

Но самое большое потрясение она испытала, когда однажды под вечер, напившись пенистой жидкости из больших зеленых бутылок, Гоча и его друзья отправились купаться на море. Их было очень много. Они поставили свои железные палки в виде пирамидок на песок и совершенно голые стали бросаться в мутные после дождя теплые волны. Гоча и Маркизу было потащил за собой в море, но она начала скулить и вырываться, и он привязал ее к стойке будки для переодевания. И тут на пляже появились какие-то люди в пятнистой одежде с двумя обезьянами — такими же макаками резусами, как и Маркиза. Они их отпустили, и когда обезьяны побежали

по пляжу, а потом вверх к железнодорожной насыпи, стали в них стрелять. Маркиза видела, как из железных палок, которые подняли эти страшные люди, вырывались прерывистые огненные линии и как одна из обезьян упала и забилась в конвульсиях. Другой же повезло — она перескочила через металлическую сетку, отделявшую территорию пляжа от железной дороги, и скрылась из виду. В этот момент один из стрелявших заметил Маркизу и направил в ее сторону железную палку. Перед Маркизой один за другим взмыло вверх несколько песчаных фонтанчиков... Но тут к стрелявшему подскочил Гоча и с силой толкнул его.

— А-а, Гоча... — захохотал тот. — Извини, я забыл, что это твоя жена...

Поднялся гвалт. Вся собравшаяся на пляже компания образовала круг, в центре которого топтались обнаженные по пояс Гоча и его противник. Многие зрители уселись на длинных каменных ступеньках, которые поднимались к железной дороге, и с комфортом смотрели сверху. Маркизе не раз приходилось видеть, как в вольере возникали драки за лидерство между самцами, когда их становилось там слишком много, но она и предположить не могла, что между человеческими самцами бывают такие жестокие поединки. Куда до них макакам резусам!

Долго улюлюкали зрители, подбадривая двух драчунов. А те от полученных ударов и усталости двигались уже как полумертвые мухи.

Обошлось, правда, в тот день без смертоубийства и членовредительства, но фингал у Гочи под глазом чернел еще несколько дней.

Парень он вообще был по характеру неплохой, добродушный. И настолько разговорчивый, что если рядом не оказывалось никого из людей, мог подолгу разговаривать с Маркизой. Например, о том, как поедут они после окончания войны к нему, Гоче, в кахетинскую деревню:

— Вот разделаемся с сепаратистами — и домой... Ту-ту, понимаешь? Поезд — чух-чух-чух... Я Тенго своему тебя отдам — ух, обрадуется! Только уговор — не царапаться. Ясно? Сейчас ему в первый класс идти... Нет, в школу я ему тебя брать не разрешу — ты всю эту школу вверх дном перевернешь. Будешь у нас в саду жить. Я тебя к персиковому дереву привяжу... Персики-то любишь? Еще у нас там миндаль, груши, абрикосы, черешни, кизил, айва... Козлята есть, ослик, собака Рекс... Только имей в виду — ты должна со всеми дружно жить. На таком условии беру. А Русико... Ну с Русико я договорюсь. Я ей такие подарки везу... Знаешь, какая у меня жена красивая? Самая красивая девчонка в классе была. А меня выбрала. Э-э, что ты в этом понимаешь!

Но однажды Гоча, уйдя рано утром без Маркизы, не вернулся. Его не было несколько дней. Кормил все это время Маркизу его друг Нугзар, но кормил плохо, забывал даже воду давать. А потом он отвез ее в другое здание, где снова, как когда-то в питомнике, взад и вперед сновало множество человеческих самок в белых халатах. В одной из комнат этого здания Маркиза и увидела Гочу. Он лежал на кровати и очень обрадовался, когда Нугзар внес Маркизу в комнату. Потом пришла одна человеческая самка в белом халате и со стеклянным цилиндром, отвернула простыню, под которой лежал Гоча, и Маркиза увидела, что вместо правой ноги у него теперь короткий белый обрубок и весь живот тоже покрыт белой тканью, правая рука в белом и не двигается.

Маркиза пробыла в этой комнате несколько часов, накрепко привязанная к спинке

кровати Гочи, а потом пришел Нугзар и унес ее: толстый человеческий самец в белом халате ругался и не разрешал ей здесь больше оставаться.

После этого Нугзар стал приносить ее сюда на некоторое время каждый день. Гоча на удивление потерял свою разговорчивость и почти все время молчал. Зато любили поговорить двое других, явно постарше Гочи, обитателей комнаты — одного из них собеседник называл "батано Ираклий", а тот его — "батано Автандил". — Обратите внимание, батано Автандил, — расфилософствовался как-то Ираклий, показывая на Маркизу, которая в это время с увлечением разгрызала подаренный ей орех. — Вот ведь тоже Божья тварь. Если Господь Бог создал человека по образу и подобию своему, то сперва, надо полагать, он попробовал силы — хотя мы и говорим, что он всесилен — на обезьяне. И вы знаете, иногда мне кажется, что черновой вариант был все же лучше. Так вот эта Божья тварь, которую наши юные друзья называют Хаджаратом... Жила она себе в Сухумском обезьяньем питомнике, потом, видно, сбежала, и вот теперь обретается среди нас, изучая, так сказать, человеческую натуру и делая неутешительные для нас с вами выводы... Кстати... Вы, батано Автандил, конечно, слышали о знаменитом постановлении ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград" сорок шестого года. И знаете, наверное, что скандал тогда разразился из-за рассказа Зощенко "Приключения обезьяны". Хотя сам рассказ, бьюсь об заклад, не читали. А вот я сподобился в студенческие годы. Заказал в библиотеке тот номер журнала и прочел. Журналы-то они в спецхране не держали. Книги держали, а журналы — как-то не додумались. Все, по крайней мере... Ну, рассказик сам по себе — сущая безделица. Убежала во время войны из зоопарка обезьяна и шастает по городу, пропитание себе добывает. Детский рассказик. Между прочим, потом я узнал, что вначале он появился в Мурзилке", а потом уже, без ведома Зощенко, его перепечал взрослый, толстый Журнал — "Звезда". И стали ему шить политику — он, мол, в своем рассказе издевается над ленинградцами, пережившими блокаду, и так далее. Прикопались к одной фразе... М-да... Да что там дела минувших дней, батано Ираклий... Вот уже совсем недавно, в нашей благословенной Грузии, в издательстве "Мерани" произошла аналогичная история. Не слышали о ней?

— Нет, батано Ираклий, но чувствую, что сейчас вы мне ее расскажете...

И Автандил, и Ираклий уже часто вставали с постелей и как-то, вот так разговаривая, вышли из комнаты. Гоча лежал минут пять, не обращая внимания на Маркизу, которая принялась потрошить лежавшую на тумбочке книгу. Потом он вдруг сполз с кровати, допрыгал до раскрытого окна и одним рывком перекинул тело через подоконник.

В следующую секунду Маркизу переполошил раздавшийся за окном пронзительный женский крик.

* * *

Спустя еще несколько дней Нугзар снова, наконец, взял Маркизу на грохочущее чудовище. На этот раз они ехали довольно долго и выехали за город, туда, где взгляду открывалась широкая долина реки. Здесь собралось много таких же огромных железных чудовищ, которые грохотали и изрыгали из своих вытянутых

хоботов огонь. Маркизу Нугзар прихватил с собой, потому что это, как он говорил, его талисман. Маркиза немного повырывалась, когда он утянул ее в темное чрево чудовища, но потом смирилась и притихла. Они долго тряслись в этом чреве. Бухали взрывы, чудовище дергалось, останавливалось, пятилось и снова ползло вперед. Потом, сильно вздрогнув, окончательно остановилось. Сидевшие в чреве чудовища стали один за другим вылезать наверх. Хотела было выбраться и Маркиза, но страшная пальба наверху заставила ее забиться в самый угол чрева. Вытащили ее наружу какие-то новые, незнакомые люди. И первое, что она увидела, было лежавшее навзничь на земле рядом с чудовищем тело Нугзара.

* * *

Маркиза оказалась на другом берегу реки. Немолодой человек, который достал ее из чрева железного чудовища и принес в просторный двор, где сидели на траве, стояли, ходили и бегали десятки людей с железными палками в руках, долго не мог решить, что с ней делать. Потом, наконец, другой, круглолицый и очень молодой — глядя на него, можно было даже подумать, что это человеческий детеныш — упротосил отдать обезьянку ему.

Здесь было и похоже, и непохоже на то, что она видела раньше. Так же много молодых человеческих самцов набивались в комнату, чтобы поглазеть на нее. Так же потешались над ней, напяливая на нее то одну, то другую вещь, но называли не "Хаджаратом", а "Тоги".

Конфетами ее здесь никто не кормил, зато сколько душе угодно было фруктов в соседних садах: яблоч, груш, инжира... Круглолицый хозяин Маркизы, которого звали Бесик, любил зайти с ней в какой-нибудь сад и держа ее за цепочку, чтобы не удрала, наблюдать, как она ловко расправляется с плодами на дереве. И вообще он мог забавляться, играть с ней часами.

В пятнистую одежду здесь одевались всего несколько человек, а железные палки у многих были тоньше и без кривых отростков посередине.

Однажды Бесик и его друзья сидели под галечной насыпью и, время от времени приподнимаясь и выглядывая за нее, палили в сторону реки. А из-за нее тоже неслись короткие очереди. И вдруг на Бесика нашло: он вытащил Маркизу из вещмешка, в котором приспособился носить ее за спиной, положил ее правую переднюю лапу на спусковой крючок автомата, высунул из-за насыпи и с силой нажал на ее указательный палец. Прогрохотала очередь. Потом, придя с позиций, он со смехом рассказывал (врал, конечно), что его обезьяна завалила на том берегу грузина.

Здесь тоже порой, собравшись в кружок, ударяли друг о дружку стаканы с жидкостью — обычно красной. В один из дней это длилось очень долго, потом все сгрудились на тесной площадке под навесом, хлопали в ладоши, а несколько человек скакали и прыгали в такт этому хлопанию. Многие задирали свои железные палки вверх, и из них вырывались длинные прерывистые молнии. Люди были очень возбуждены, улыбались, и то и дело повторялись слова: "Гагра", "Псоу", "победа", "на Сухум"...

На железном чудовище Маркизу здесь ни разу не катали, но как-то взяли на

полянку, где в кузове большого грузовика находилось сооружение, напоминающее поставленные наклонно в ряд хоботы тех самых чудовищ. Потом человек в пятнистой одежде несколько раз что-то выкрикнул, рубанул воздух рукой, и из хоботов стал с шумом вырываться огонь: вжух, вжух, вжух, вжух — казалось, бесконечно... Маркизу обдало горячим воздухом, ей по привычке захотелось куда-нибудь драпануть, но Бесик крепко прижал ее к себе. По взволнованным лицам нескольких людей, которые стояли рядом, можно было догадаться, что происходит нечто выдающееся. Один из них, худой и большеносый, полуобнял Бесика и радостно прокричал ему в ухо:

— Мог ты представить еще месяц назад, что у нас будет такое оружие, а?

И, залившись мелким смехом, сделал "козу" Маркизе:

— Что, Гоги, жарко сейчас твоим?..

Маркиза не любила подобных движений и не долго думая так царапнула большеносого за руку, что тот отскочил и громко выругался. После этого случая он невзлюбил Маркизу и старался ей всячески напакостить: то ткнуть ее, проходя мимо, длинной хворостиной, то подбросить ей камешек, запрятанный в хлебный мякиш, чтобы она лязгнула о него зубами.

А потом подразделение Бесика неожиданно бросили в наступление, и он не придумал ничего лучше, как взять Маркизу с собой. Ужас, который она пережила в последующие дни, нельзя сравнить ни с чем, что ей пришлось испытать до этого.

Вначале они очень долго шли куда-то по горной дороге, переправлялись через бурную реку и снова шли, шли... Маркиза беспомощно вертелась, выглядывая из вещмешка у Бесика за спиной. Потом был короткий отдых — и снова дорога.

Маркиза постоянно скулила от холода и скованного положения в вещмешке, которое ей, как и любой обезьяне, было невыносимо. А когда в узком ущелье, угодив в ловушку, Бесик и его друзья залегли под плотным огнем, Маркиза так задержалась, что, наверное, даже у самого черствого человека при взгляде на нее навернулись бы слезы.

Бесик, лежа в неглубокой ложбине, вытащил Маркизу из мешка, долго возился с цепочкой и в конце концов взмахом ножа разрезал кожаный пояс, на который эта цепочка крепилась. Почувствовав свободу, Маркиза встрепенулась — и через минуту была уже в зарослях деревьев и кустарников на склоне ближней горы.

* * *

Впервые за долгие годы, проведенные под присмотром человека и в тесно ограниченном им пространстве, Маркиза оказалась на свободе. Многие ее сородичи, которые родились и выросли в питомнике, в подобной ситуации радовались бы недолго — жиденькие их мускулы, которые не могли развиваться в детстве, не давали им возможности добывать корм, и обезьяны быстро погибали. Но Маркизе это не грозило — ведь она, как мы помним, выросла в джунглях Индокитая. Окрестности Сухума, конечно, отличались от тропических лесов ее золотого детства, но главное — Маркизу окружало множество фруктовых садов, где в эту пору года было хоть завались хурмы, винограда, сочных груш и начинающих желтеть мандаринов. С утра и до вечера она лопала фрукты и виноград, здесь же, на

ветках фруктовых деревьев, устраивалась на ночлег — и, сама того не ведая, все больше приближалась к горе Трапедия и обезьяньему питомнику, где обитала ее семья.

Но недолго продолжалась эта лафа. Внезапно ударили холода, а однажды утром все вокруг оказалось завалено толстым слоем снега. Маркиза постоянно скулила, не зная, куда деться от этой напасти. И раньше приходилось ей переживать холодные зимы, и снег — такой внешне похожий на сладкий сахар, но такой предательски обманчивый на вкус и на ощупь — она тоже, конечно, видела, но раньше всегда можно было спрятаться в обогреваемый домик или хотя бы даже просто сбиться в кучу, согревая друг дружку... Да и не бывало еще в ее жизни таких снегов и холодов. Поиски тепла пригнали Маркизу под крышу одного из домов на северо-восточной окраине Сухума. Рано утром хозяйка дома, одинокая пожилая вдова вышла в прихожую и увидела в углу неведомо как попавшую туда обезьянку. Вначале она даже вскрикнула от испуга, потом попыталась выгнать Маркизу с помощью веника, но добилась только того, что та заскочила через приоткрытую дверь в зал. Метаясь по нему, Маркиза смахнула со стола керамическую вазочку, которая разлетелась на полу на кусочки, и едва-едва не перебила хрусталь в горке. Наконец, вдова догадалась, что подобным образом с Маркизой не сладить и решила утихомирить ее добром: принесла из кладовки мандаринов и апельсинов (все равно вывозить некуда, уже подгнивать некоторые начали) и стала смотреть, как ее непрощенная квартирантка деловито очищает мандарины и отправляет их в рот. Апельсины она очистить не могла, но после того, как Маквала — так звали хозяйку — порезала каждый пополам, с удовольствием принялась и за них. Не отказалась Маркиза и от ломтя холодной мамалыги.

— Может, тебе еще и сыра к мамалыге дать? — удивилась Маквала, стоя над ней. Обезьянка была такой жалкой и замученной и в то же время выглядела столь забавно, что Маквала в конце концов примирилась с ее присутствием в доме. В зал она ее, конечно, больше не впускала, а отвела место в чулане, предварительно убрав из него все бьющееся и ломающееся. Там было довольно тепло. Днем, когда пригревало солнышко, Маркиза отправлялась гулять по окрестным садам, где еще оставались неубранные мандарины и хурма, а вечером неизменно возвращалась под крышу. Так они и жили — шестидесятипятилетняя благообразная старушка и прошедшая через множество передраг, но не потерявшая вкуса к жизни обезьянка. Ближе к весне в судьбе Маркизы произошло важное событие — во время одного из путешествий по окрестным садам она встретила свою старую любовь — самца Неслуха из вольеры, где когда-то жила. Раз в год, говорят, и камень по камню соскучится, а ведь обезьяна, что ни говори, живое существо — и очень, добавим, эмоциональное. Неслух, Неслух... Впервые они встретились около пяти лет назад. ...Ничего удивительного, что вырванная в двухлетнем возрасте из привычного влажного мира лаосских джунглей Маркиза в Сухумском питомнике долго находилась в угнетенном состоянии. И это не могло не отразиться на ее "общественном" положении в вольере самца старого Зулуса.

Ах, этот Зулус! Какой это был беспощадный диктатор, не терпевший малейшего неподчинения, как трепетали перед ним все обезьяны в вольере! Куда до него капризному, но в общем-то слабохарактерному Казанове, который пребывая, в

сытом и благодушном состоянии, порой позволял своей фаворитке Зизи — ну просто до неприличия дело доходило — раньше его самого брать пищу из рук подходивших к клетке людей. Разве в вольере Зулуса такое было возможно? Но как страдала Маркиза в том стаде от пренебрежительного отношения к ней старого вожака, от злобы его фаворитки Тесемки! Все чудесным образом переменялось, когда Маркизу перевели в другую вольеру, где незадолго до этого от большого стада самца Зем-зема отделилась молодая семья его сына Неслуха. Едва Маркизу пустили в вольеру, как Неслук обхватил ее передней лапой и, ковыляя на трех остальных, потянул к себе в стадо. И потом все время относился к ней с необычайной нежностью и вниманием. Это было поистине золотое время для Маркизы. Но она всегда была порядочной обезьяной: слабых не задирала, к вожаку по всякому пустяку не апеллировала... А потом люди, как у них это принято, грубо и бесцеремонно вмешались в обезьянью судьбу — перевели Маркизу в тесную клетку к Казанове.

...И вот неожиданная-негаданная встреча с Неслухом. Был он не один, а еще с тремя самочками. Как они попали сюда: разбежались из вольер и клеток или удрали уже от любителей живых сувениров — об этом, конечно, макаки ничего Маркизе не могли рассказать. Но было ясно, что они образовали здесь довольно прочную семью (на ночлег располагались в заброшенном доме), а одна из самок — Балаболка — даже ждала уже детеныша. Маркиза присоединилась к ним: ведь, помимо прочего, у нее ни на минуту, несмотря на все пережитое за время войны, не ослабевал половой инстинкт. Каждый месяц, повинаясь законам, которые природа определила макакам резусам, у Маркизы происходило набухание и резкое покраснение "половой кожи": не только зад краснел, но и живот, бедра, даже мордочка... Но вот только теперь, через полгода своих странствий, она встретилась с самцом-макаком и он, естественно, не пренебрег ею. Хотя теперь, с горечью чувствовала Маркиза, он отдавал явное предпочтение Балаболке.

На ночлег Маркиза все же продолжала возвращаться в чулан к своей старушке: хоть и потеплело уже, весна наступила, зато становилось все голоднее, фрукты в садах кончились, а Маквала нет-нет, бывало, да и подкормит ее чем-нибудь. Правда, Маквале и самой приходилось трудно. Поэтому Маркиза, естественно, не гнушалась участвовать в набегах Неслуха и остальных членов своей новой семьи на усадьбы окрестных жителей. В одних домах поживиться оказывалось почти нечем, но в других обезьяны натыкались на целые склады: сахара, муки, круп — и безжалостно терзали мешки и кульки со всем этим добром. Как-то согрешила Маркиза и в доме Маквалы: залезла в кладовку, перепачкалась с задних лап до головы в кукурузной муке, потом разбила банку с вареньем, вымазалась в нем, да еще и порезалась битым стеклом.. Как ругала ее в тот день Маквала! Грозилась вообще выгнать, но потом все-таки простила...

В гости к Маквале редко кто заходил: так, кто-нибудь из пожилых соседей заглянет — и все... Но в конце марта наладились к ней незваные гости — молодые человеческие самцы в пятнистой одежде. Это были гвардейцы из расквартированного неподалеку, в здании турбазы, батальона грузинской армии. Как-то утром приехала целая их орава на потрепанном БТРе. Зашли в дом Маквалы, который стоял на взгорке, начали ее расспрашивать, кто здесь живет, не прячут ли

здесь оружие и боевиков. Стали палить в воздух, рыскать по комнатам. Когда поднялись на второй этаж, Маквала бросилась за ними: "Это покойника комната! Сыночки, не надо тут стрелять!" "Заткнись, старая, пока я тебя не продырявил", — обернулся один из них, здоровенный, как буйвол. Вошли в комнату, где стоял на столике портрет и лежали вещи умершего год назад мужа Маквалы, осмотрелись. Здоровенный выпил рюмку со столика покойника, крякнул, закусил сушеным инжиром с того же столика... На следующий день приехали уже другие, более добрые и веселые. Взяли у Маквалы трехлитровый баллон чаи, причем старший группы на радостях поцеловал его, а Маквале пообещал: "Никого не бойся, мы тебя всегда защитим. Ты — мать, ты — бабушка..."

А через день нагрянули шестеро — под вечер, когда уже начало темнеть. И все страшно пьяные. Стали шастать по комнатам и потрошить все подряд, а один, рыжий, маленький и очень нервный, усевшись в кресло и щелкая планкой предохранителя автомата, учинил Маквале настоящий допрос:

— У нас есть информация, что твоя дочка замужем за абхазцем и твои внуки воюют сейчас против нас на Гумисте. Их видели с автоматами. И еще у нас есть информация, что у тебя дома бывают бандиты. И ты после этого смеешь называть себя грузинкой?

Маквала клялась и божилась, что не знает, где ее внуки, и что никакие бандиты к ней не заходили.

— Нет, мы знаем, что ты прятала абхазцев.

В это время слышались выстрелы и громкий шум, а затем в проеме дверей появился черноусый ухмыляющийся гвардеец с Маркизой, которую он держал завернутой в тяжелую скатерть с бахромой:

— Вот, поймал партизана! Царапается, сволочь! Есть у меня один родственник в военной полиции — подарю ему.

Если б Маркиза умела думать, ей в ту минуту наверняка пришло бы в голову, что ни одна обезьяна в мире, даже самая беспокойная, не могла устроить в доме такой погром: скинутые с полок безделушки и книги, выброшенная из платяных шкафов одежда, разбитое зеркало...

Между тем черноусый сунул Маркизу в руки рыжему и плотоядно уставился на Маквалу:

— Ну, что, тетка? Как твоя машина, работает? — и показал движением подбородка, какую машину имеет в виду.

Маквала ахнула и залилась краской:

— Сынок, что ты говоришь? Я ж тебе в бабушки гожусь!..

— Ладно, тетка. Мы просто веселые ребята. А ты песню про Душети знаешь? Споешь — и мы уедем.

Маквала долго собиралась с духом, потом дрожащим голосом запела песню, которую слышала когда-то в молодости.

Гвардейцы, со смехом переглядываясь, слушали, пока черноусый не перебил ее:

— Э-э, нет. Ты не то поешь. Мы из Душети, а ты поешь про Тушети. Ну-ка, пойдем со мной!

И он потащил обмякшую пожилую женщину в спальню.

— Ладно, Арчил, оставь ее, — скорчил брезгливую гримасу рыжий. — Перепил,

гонки начались?

Но другие наблюдали через приоткрытую дверь за происходящим в спальне с любопытством.

— Заросло там у нее все уже, что ли? — прервав сопение, подал голос Арчил.

— Может, нож тебе кинуть? — раздался под общий смех голос какого-то остряка.

* * *

Никогда еще Маркизе не жилось так плохо, как у полковника грузинской военной полиции Вахтанга Болквадзе. Начать хотя бы с того, что этот низенький тучный человечек с седоватой щеткой усов держал ее в своем кабинете в большой куполообразной железной клетке, где когда-то обитал то ли попугай, то ли другая какая-то летающая живность. Кормил тоже всякой дрянью. То есть он думал, что кормит ее очень хорошо — то кусочек сервелата подсунет, то ломтик балыка, — но Маркиза, обнюхав, неизменно бросала эту гадость.

— Не жрешь — значит не голодная, — спокойно говорил Болквадзе и возвращался к своим бумагам.

Спасало Маркизу печенье, которого Болквадзе привезли однажды целый ящик. Но все равно от пребывания в тесной клетке она чахла на глазах. К тому же у Болквадзе была гадкая привычка: подойдя к клетке, он в задумчивости щелкал зажигалкой, подносил пламя к лапке Маркизы и так же, в задумчивости, следил, как она отдергивает лапку и, вереща, трясет ею.

Время от времени в кабинете происходил страшный мордобой: двое молодчиков обрабатывали очередного задержанного, тот заливался кровью, кричал, падал... Подобные картины тоже действовали на Маркизу угнетающе.

Сам Болквадзе обычно никого не бил, он лишь сидел за столом и задумчиво смотрел на происходящее. Только раз он не выдержал и, подойдя к злобно кричавшему задержанному, стал жечь ему усы и волосы на голове пламенем зажигалки.

Однажды в кабинете у него долго сидел худосочный человек — он пришел как друг детства. Долго жаловался на судьбу, на жите-бытье, а потом стал клянчить у Болквадзе обезьянку:

— Она у тебя уже доходяга, того и смотри подохнет. А если я ее подкормлю и продам, когда в Москву на лечение поеду, то неплохие деньги заработаю. За такую вот тварь, говорят, полторы-две тысячи долларов дают. Половина — твоя. Дашь, Вахо, а? Ты же знаешь мое положение — что я сына потерял...

— Бери, бери, Рудик, о чем речь, — похлопал его по плечу Болквадзе, продолжая думать о чем-то своем.

Рудик взял Маркизу вместе с клеткой.

Он с женой и дочкой давно уже строил планы, как вырваться из этого несчастного города, где никак не кончались бомбежки и артобстрелы. Причем никакую половину денег он, конечно, отдавать Болквадзе не собирался, — хотя бы потому, что и в мыслях не имел возвращаться в этот ад. Только бы вырваться отсюда... Но в России-матушке без денег кому ты нужен? А тыщонку "баксов" за эту кикимору наверняка дадут, надо только знать, кому продавать. В общем, рассуждал он, это очень даже удобная форма вывоза капитала.

Первые дни после того, как Маркизу вывезли из питомника, были похожи для нее на вечность, а теперь они бежали все быстрее, сливаясь в однообразный поток. Подкормить Рудик Маркизу действительно подкормил: хоть и привык жаловаться на бедность, дома у него всегда кое-какой запасец продуктов имелся, к тому же сейчас он интенсивно распродал домашнее имущество и мог этот запасец пополнить. А еще наступило лето, все вокруг зеленело, и Маркиза с удовольствием поела и травку, и листики, сорванные руками хрупкой застенчивой Инги — тринадцатилетней дочке Рудика. Но что отравляло ее жизнь — так это разрывы бомб и снарядов. Несколько раз Инга даже брала Маркизу с собой, когда во время обстрелов пряталась вместе с родителями в подвале соседней пятиэтажки. В подвал набивалось много народу, и это окружение нервировало Маркизу. Но еще хуже было оставлять ее в "халупе", как Рудик называл свой домишко: она начинала так метаться, что могла оборвать поводок и убежать.

В дополнение ко всему Маркиза ждала детеныша. Но так и не суждено ей было доносить его до отпущенных макакам пяти с половиной месяцев и, облизав, прижать к груди скользкий дрожащий комочек: как и у людей, у обезьян нередко бывают выкидыши. У Маркизы это случилось вскоре после того, как они с Ингой на пустыре за домиком попали под обстрел установки "Град".

Но вот настал, наконец, день отъезда. Что творилось на причале! Обладая Маркиза образным мышлением, ей наверняка пришло бы в голову сравнить волнуящееся перед ней Черное море с беснующимся вокруг морем людей. Стон и вопль стояли над морпортом: все стремились попасть на катер, уходящий в Сочи, а взять на борт суденышко могло только треть желающих. Солнце пекло соленым зноем, и все в этой человеческой каше начинали потихоньку сходить с ума. Хорошо, что Рудик заранее узнал, кто из военной полиции будет контролировать посадку и сумел найти к нему подходы.

Маркизе стало не по себе, когда катер начал медленно удаляться от земли. Она сидела на руках у Инги и тихо скулила, пытаясь понять, что же происходит, что за светлозеленая переливающаяся на солнце гладь окружает их со всех сторон.

В Сочи добрались уже в сумерках. На следующий день Рудик продал Маркизу уличному фотографу на Навагинской, напротив Торговой галереи. Инга в последний раз погладила обезьянку по золотисто-серой шерстке и заплакала.

* * *

Дни сменялись днями, недели — неделями, месяцы — месяцами... Больше года провела Маркиза в многошумном пестром курортном Сочи. Она исправно исполняла свой номер: обряженная в красную юбочку, прыгала с раскладного стульчика на плечо хозяина — начинающего сидеть богатыря по имени Кероп, потом — обратно, позволяла прикасаться к себе маленьким робеющим человеческим детенышам, послушно позировала рядом с ними, а также вполне взрослыми прохожими перед черной штуковиной в руках Керопа, из которой все вылетала и никак не могла вылететь птичка, принимала от детей и взрослых подачки (особенно благосклонно — бананы, хотя такое бывало нечасто). Но разнообразие протекавшей мимо Маркизы жизни быстро стало однообразным;

лица глазающих на нее людей сливались в одно глуповато-любопытное-заинтригованно-хихикающее лицо ("Кероп, Кероп, это что, твоя новая фотомодель?" "Смотри, Вить, как на тебя похожа!" "А она у вас не кусается?.." "А мороженое она будет есть?").

Год, пережитый Маркизой на войне, уже почти забылся ею. Остались лишь ощущение бесконечного ужаса и смутное боязливое ожидание опасности от самых, казалось бы, безобидных вещей. И потому обезьянка нередко смотрела на окружающих ее зевак мудрым, печальным и снисходительным взглядом человека, повидавшего и понявшего в жизни то, что никому из них не дано увидеть и понять. Однажды возле Керопа с Маркизой остановилась женщина средних лет с сумкой на колесиках, которые ужасно скрежетали по плиткам тротуара. Она долго смотрела на Маркизу, так же долго разговаривала с Керопом.

— Да забирай ты ее, — сказал в конце концов Кероп. — Это не обезьяна, а миллион рублей убытку. Юбку видишь на ней? Это уже четвертая. Рвет все, что под руку попадется. В доме столько посуды переколотила... Жратвы на нее не напасешься. Она же не все жрет, выбирает. В последнее время к пиву пристрастилась. Как-то залезла, слышь, к клиенту в спортивную сумку и вытащила баночное пиво. Потом, значит, пальцем кольцо подцепила, банку открыла и вылакала всю. Ну тогда — ладно, посмеялись, и все. Но она же, зараза, кусаться начала. Несколько клиентов недавно покусала. Не, таких взрослых обезьян у нас больше ни один фотограф не держит. А мне уже детеныша пообещали... Только, — поднял он огромный указательный палец, — дай слово, что ей будет не хуже, чем здесь.

— Не хуже? Она будет в вольере, а это почти естественные условия. Ей там будет лучше в любом случае.

Через час Маркиза уже ехала в рейсовом автобусе, заключенная в картонный ящик, очень похожий на тот, в котором она когда-то покинула Сухумский питомник. Правда, в нем пробуравили несколько дырок, чтобы Маркиза не задохнулась, ведь ехать предстояло полдня.

И вот она вновь увидела каймой лежащий у моря, осевший в свои руины город... А на следующий день Маркиза, как будто и не было этих двух невероятных лет ее жизни, уже вовсю бегала и скакала в большой вольере, где властвовало стадо самца Акрополя (тот тоже скитался во время войны по близлежащим садам и огородам, потом его усыпили выстрелом снотворного и спящим возвратили в питомник). Стадо хоть и поредело за последнее время, а многие обезьяны в нем стали пятнистыми от авитаминоза, жизнь в вольере продолжалась.

И Маркиза активно включилась в эту жизнь. Вы и сами можете увидеть ее, а также ее родившуюся спустя полгода от Акрополя малышку Зарисовку, если подниметесь по крутой каменной лестнице на гору Трапедия и отыщете вольеру № 5.

Рекомендую прихватить с собой печенье или инжир, как свежий, так и сушеный — их Маркиза особенно любит.

Всего в Сухумском питомнике из довоенного стада обезьян осталось не больше четвертой-пятой части, но они старательно размножаются и сотрудники питомника не теряют надежды, что когда-нибудь их прежнее число — две тысячи — будет восстановлено. Здесь вам могут рассказать множество занимательных историй, иные из которых кажутся небывальщиной. Ну, например, об одном очень сильном и

еще более сообразительном павиане гамадриле по кличке Директор. Он так привык к вольной жизни, что сколько его ни ловили, умудрялся открывать замки в клетках и уходить. Поводился, как и некоторые другие павианы, душить кур в окрестных дворах. Как-то заметивший Директора хозяин частного дома натравил на него двух своих собак. И тогда Директор якобы пооткрывал клетки с другими павианами и повел их во двор обидчика. Там группа обезьян задала трепку собакам, передушила всех кур, перебила посуду в доме — в общем, устроила форменный погром. Но это уже, как говорится, хотите верьте, хотите — нет.

А про Маркизу вам ничего не расскажут, потому что ее полная приключений и потрясений жизнь во время грузино-абхазской войны никому не известна. А сама Маркиза по понятным причинам ничего рассказать не может. Но только даже тогда, когда она будет хрустеть принесенным вами печеньем, в ее глазах будет по-прежнему светиться печаль.

1995

Солнцеликая Гунда

В Очамчире — "отходняк". На площади перед зданием бывшего райисполкома, а ныне районной управы, над которым уже два с половиной месяца развевался черно-бело-кизильовый грузинский флаг, по утрам снова стала кучковаться небольшая шуршащая новостями, страхами и сплетнями толпа. И в толпе этой, и на начавшем оживать рынке, и в частных домах, будто притаившихся в ожидании конца "лихого времени" в глубине тенистых двориков, — повсюду только и судачили о нападении 26 октября абхазских боевиков.

Постепенно в разговорах, которые вело население городка (к тому времени уже почти сплошь мегрельское), звучало все меньше истерических ноток и больше — подробностей: как группа ужасного "Деда" Пачулия атаковала на рассвете здание РОВД; как после выстрела по РОВД из гранатомета разбежались грузинские полицейские; как проходил бой у недостроенной 13-этажной гостиницы; как пошла паника: "В городе абхазы, чеченцы, черкесы!" — и многие жители райцентра готовы были рвануть куда глаза глядят; как грузинские военные пришли, наконец, в себя и начали вытеснять абхазские отряды за городскую черту; как потом в Ачигваре сожгли машину техпомощи с группой "Деда"...

Большинство абхазских семей выехало из Очамчиры еще в первые недели войны. Те, что оставались, жили словно на островках посреди враждебного грузино-мегрело-сванского моря: затаив дыхание и гадая, кто из соседей и знакомых может дать на них "наводку". "Наводка", она же — "наколка", могла состоять просто в легком намеке какому-нибудь расторопному грузинскому гвардейцу, что в таком-то доме водятся "пули" — то есть по-грузински деньги, или обитатели дома имеют связь с абхазскими боевиками. "Наводчиком" мог оказаться и свой, абхаз. Так. поговаривали, что один из небедных очамчирских абхазов, взятый в заложники, откупился от гвардейцев подробным, с адресами, списком людей, способных, по его мнению, оказать грузинской армии срочную материальную помощь.

Среди других и этом списке значилось и имя Нури Ашванба.

* * *

Джип . набитый пьяными гвардейцами, подъезжал к дому Ашванба и двенадцатом часу ночи. Впрочем, пьяны они были даже не столько от выпитой за одним хорошим столом чачи, сколько от бродившего в жилах хмеля разрушения и чувства абсолютной власти в этом городишке.

— Так он нас сейчас дома и ждет, — не оборачиваясь, сказал сидевший рядом с водителем. — Надо было с ходу сегодня утром брать. Слышал, Гия, что сказали? Оказывается, он за бочкой с водой сзади дома стоял и цалду* (** Разновидность топора*) в руках держал... Ничего без меня сделать не можете...

— Ладно, Ираклий, не надо всех тоже слушать, — обиженно пробормотал один из тех, кто сидел сзади. — Как будто мы не смотрели... Ничего, если свет будет — проутюжим его сейчас хорошенько — и все скажет и покажет... Шакро же у нас — лучший "гладилицик" Гурии!..

— А дочка у этого Ашванба хошная. Скажи, Гия! — оживился еще один на заднем сиденье. — Студентка. Самого не застанем, так хоть с дочкой побалуемся...

— А ну! — поднял голос Ираклий. — Чтоб я больше этих разговоров не слышал, а то кастрирую. Забыли? Групповуха у нас — только по личному разрешению Маргиани* (** В то время комендант г. Очамчиры, пытавшийся выступить в роли защитника мирного населения*)...

Как быстро, за несколько недель, из белоручки, "профессорского сынка", привыкшего мягко спать и сладко есть, он превратился в настоящего вояку — сноровистого, подтянутого, неприхотливого в быту старшего лейтенанта, умеющего, когда надо, и прикрикнуть на подчиненных, и сочно выматериться!.. И ведь слушались его — даже самые, вроде бы, неуправляемые. Ворчали, но слушались.

В доме Ашванба было темно — предсказание Ираклия сбывалось. Прошлись по соседям — и в одном доме им шепнули, что хозяйская дочка вместе со своей гудаутской подругой находятся сейчас чуть дальше по улице, у Марго Шенгелия.

* * *

Гунду всю дорогу била дрожь. Молчала, слова не могла произнести. Кажется, ударь ее в ту минуту ножом — капли бы крови не вытекло. Зато Джульетта как открыла рот, как понесла на них!.. Со страху или с чего?.. Никогда Гунда от своей однокурсницы таких слов не слышала... Угораздило же ее, гудаутскую, поехать с Гундой в Очамчиру — погостить на летние каникулы. И вот так "загостились"...

Эти дебилы с автоматами, которые в машине сидели, на словоизвержение Джульетты реагировали, впрочем, слабо: только переглядывались с ухмылками.

Один из них, обнажая крупные, как лопата, зубы, заговорил по-русски:

— Какой горячий девушка! Совсем, Гия, как твой ишачка дома, да?.. Эта твой будет? Похожий на обезьяну с бакенбардами гвардеец с преувеличенной нежностью обнял Джульетту за плечо, а когда та отпрянула, очень удивился, даже как бы оскорбился:

— Что такой? Двести двадцать вольт, да?

Но на этом их "приставания", можно сказать, и закончились. В остальное время, пока ехали, или молчали, или переговаривались на грузинском. Больше остальных говорил высокий черноусый парень на переднем сиденье — видно, главный среди них. Понять бы, куда их везут, что с ними делать собираются... Но Гунда по-грузински два с половиной слова знала, о Джульетте и говорить нечего.

Ма-ама! Что теперь с ними будет?! Спазма страха сдавливала горло... Завезут сейчас эти звери куда-нибудь за город, руки в локтях обеим прострелят, чтоб сопротивляться не могли, — как с одной в девятом районе сделали... А потом по пуле на прощанье — и "война все спишет". ...Или нет, убивать, наверное, их не будут, а посадят в чей-нибудь дом под охраной, как эту... с трехлетним ребенком... которую, говорят, месяц держали в бабушарском пансионате для нужд батальона... И будут пользоваться. ...Нет, лучше смерть, чем такое! Папа у дяди Жоры в Меркуле прячется... Мама завтра с утра, наверное, к нему поедет, расскажет обо всем... Но что папа сможет? За ним самим охотятся...

Заехали в какое-то село, остановились у здания школы. Повели на второй этаж, в комнату, где стояло несколько застеленных кроватей. Через минут пять в комнате появилась маленькая сморщенная мегрелка лет семидесяти. Старушка на ломаном русском стала объяснять, что ничего плохого им тут не сделают. Ребята, мол, хорошие, поддержат немного, пока отец Гунды "пули" не привезет и отпустят: им же, ребятам, тоже деньги нужны — кушать, пить, курить надо...

Эта старушка, довольно еще подвижная и бойкая, была, как она объяснила, приставлена к девушкам, чтоб никто здесь их не тронул. Но спать легли, конечно, не раздеваясь. Да и какой сон...

* * *

— Гунда... — Ираклий замолчал и поднялся со стула.

После чего, расхаживая по кабинету, начал нести околесицу о том, какая она необыкновенная. Несколько раз язык его даже заплелся — как бы от волнения. Говорил, что представляет ее себе то покорительницей бала в Версальском дворце, ступающей по блестящему паркету, то гордой дочерью римского патриция, то мятущейся юной шотландской королевой Марией Стюарт... Да, да, именно такие образы приходят ему в голову, когда он смотрит на ее узкие нежные белые руки аристократки, золотисто-тягучие, как мед, волосы, хрупкую и в то же время царственную фигурку.

Вот уже полчаса продолжался этот странный "допрос". Из всего сказанного раньше Гунда поняла одно: их с Джульеттой отпустят, как только объявится ее отец; на него вроде бы уже вышли; и, может быть, завтра они обе будут дома... Отца обвиняют в связях с абхазскими боевиками, и это дело нешуточное. А то, что старая Этери болтает, слушать не надо... Здесь на нее и на ее подругу-толстушку охотников много — Гунда должна это знать; и ему, Ираклию, больших трудов стоит оберегать ее честь. Он так и сказал — "честь". Одна учительница из ее школы очень за нее просила: "Это такая чудная девочка, умница! Отпустите, не трогайте ее". Так он и сам видит, что она чудная...

И вот, меряя длинными своими ногами тесный кабинетик (в недавнем прошлом — завуча школы) и изображая непонятно кого, этот верзила-грузин перешел к расспросам: а любит ли Гунда стихи, а какие поэты ей нравятся, а музыка какая... У него, кроме, естественно, Галактиона, два любимых поэта — Бродский и Мандельштам. А из прозаиков интереснее всех ему Платонов и Борхес...

— О, вы такие все высоковольтные фамилии называете!.. — усмехнулась бровями Гунда.

В это время в комнату сунулся какой-то плюгавенький гвардеец и Ираклий обрушился вдруг на него: "У тебя что, языка нет — в дверь постучать?" Он явно издевался над парнем; минут пять его распекал, пока не отпустил. Они снова остались в кабинете одни, но едва Ираклий вернулся к прежней теме, Гунда его перебила:

— А зачем вам все это? Стоит ли метать бисер перед свиньями?

Он осекся.

— У, ты какая!.. — шагнул к ней.

Гунда инстинктивно поднялась со стула, и он попытался ее обнять. С силой толкнув верзилу в грудь, метнулась к окну, занесла над головой стул:

— Сейчас стекло выбью...

Грузин, кажется, опешил:

— Ну, что с тобой?.. Извини, ради Бога... Сядь, успокойся...

* * *

"Я вам буду смотреть в глаза

Столько, сколько мне Бог велит.

Вы не верите в чудеса?

*Так поверите, как заболит..." * (* Стихи Павла Ангелова)*

Помнишь, я читал тебе эти стихи, когда ты устроила со мной игру в молчанку? А знаешь, как я сразу тебя мысленно назвал? "Солнцеликая Гунда". Я ведь говорил, что в Абхазии до этого побывал всего раз, когда мне было тринадцать лет. Мы приехали сюда на лето с бабушкой. Родственников у нас тут не было, но в поселке Агудзера жила приятельница бабушки, очень любезная, немного чопорная старушка. Объездили с экскурсиями все побережье; я, естественно, не вылезал из моря, загорел, как негр. А в первую неделю, пока не успел раззнакомиться с соседскими пацанами, перечитал, наверное, пол-шкафа книг у бабушкиной приятельницы. И была среди тех книжек одна — "Тот, кто убил лань". Михаил Лакербай, новеллы. Ну, ты читала, конечно. В мягкой такой желтоватой обложке. И рисунок на обложке очень выразительный — силуэт грациозной лани, которая изготовилась к прыжку. Нет, ну я о том издании говорю, которое читал... И среди названий новелл запомнилось такое — "Солнцеликая Ламзира". А недавно, уже в Очамчире, специально отыскал эту книгу — и, оказалось, я перепутал: не "Солнцеликая Ламзира", а "Солнцеокая Альзира". Бывает же, а? А сюжет там такой: в доме жениха уже накрыли свадебные столы, собираются гости, гонцы с женихом отправились на лошадах в дальнее село за невестой, и тут оказалось, что та убежала с другим. Что делать, как избежать позора? И тогда один юноша из дома, где

они по пути остановились, узнав обо всем, уговорил свою сестру, красавицу Альзиру, выйти за отвергнутого жениха. Она согласилась, и гости за свадебным столом даже не догадались, почему жених и невеста так задержались... Сильные и гордые, величавые душой люди населяли те новеллы. Такой я запомнил Абхазию, такой ее образ увозил с собой.

А вот про нартов, которых сто братьев было, и про единственную их сестру Гунду — нет, не читал. Но в имя твое тоже сразу влюбился, как и в тебя.

Гун-да, Гун-да... Я повторял эти звуки, и в них мне слышалось сладостное пение туго натянутой струны чонгури... Знаешь, как объяснял мне один мой сосед в Кутаиси, уже старик: "Любовь — это когда ты утром встаешь и об этой девушке думаешь, по улице идешь — и о ней думаешь, разговариваешь с кем-то — все равно о ней думаешь..." И вот, когда я вспомнил его слова, то понял, что действительно люблю тебя.

И еще знаешь, что мне нравится в абхазках? Мне кажется, в вас сохранилось понимание того истинного предназначения женщины, которое создает настоящую семью. Мне нравится, что у вас невестка не имеет права сидеть в присутствии свекра, что она долгое время не должна с ним разговаривать... А вот среди грузинок, особенно городских, слишком много уже сейчас какого-то эгоцентризма, феминизма...

** * **

— Ах ты, сучка!

С нее содрали белье и бросили на жалобно зазвеневшую пружинную кровать. Соленый привкус на губах... Это ручеек крови. От полученных затрещин кружится голова. Что за пышные цветы расцветают у нее в глазах — белые, красные? Это гвоздики... Но разве бывают гвоздики такими огромными?

Джюльетта скрипела зубами от боли и отвращения и изо всех сил пыталась оттолкнуть от себя тянущуюся к ней бородатую морду с большими черными глазами... Детина в камуфляжной форме пытался зажать ей рот ладонью, она укусила эту ладонь.

И — словно крик с далекого, утонувшего в тумане противоположного берега реки — голоса ворвавшихся в комнату:

— Джюльетта!

— А ну отпустите ее, болваны! Вечно с вами в какую-нибудь историю влипнешь. Пошли вон отсюда!

** * **

Вот увидишь, как тебе обрадуются, как полюбят тебя все в моем доме. И ты полюбишь их... Все говорят, что другого такого хлебосольного, открытого, светящегося добротой и весельем дома в Кутаиси трудно найти. Если б ты видела, как в свои пятьдесят шесть лет танцует мой отец...

Сколько себя помню, дом наш всегда был полон гостей. А ведь, согласись, для этого мало, чтоб дом был "полной чашей", нужна еще особая в нем атмосфера. И всегда у нас было три главных темы разговора за столом: первая — ну, это хочешь верь, хочешь нет — математика, ведь отец мой — завкафедрой математики: вторая — искусство:

и третья — Грузия. Нот ты спрашиваешь: что заставило меня со второго курса аспирантуры поехать сюда, на войну? Так это и многие мои кутаисские знакомые, я видел, не могли понять. Ну, а меня всегда возмущала их двойная бухгалтерия: говорить красивые слова о патриотическом долге, но каждый раз уступать право выполнять этот святой долг кому-то другому... Ну, конечно, для этого ведь есть мужичье... А только ответ: как иначе должен был повести себя честный молодой грузин, влюбленный в свою Родину, с восторгом встретивший долгожданное обретение ею свободы и не сомневающийся, что события в Абхазии — покушение на эту свободу? И пойми: моя любовь к Абхазии вовсе не противоречила той горячности, с которой я рванул сюда. Наоборот, я был убежден, что мой долг — защитить не только грузин, живущих в Абхазии, но и истинных абхазов, не предавших заветы своих предков. Я не мог представить себе, как благородные и мудрые герои книги "Тот, кто убил лань" могли бы выступить против своих братьев, таких же, как они, кавказцев. А та кучка, которая, все же выступила, — это или очень наивные, обманутые юноши, или политиканы, подверженные моральной порче, продавшие свои души агонизирующей империи...

И еще я был воодушевлен тогда мыслью, что после периода умопомрачения мой народ повернул, наконец, к здравому смыслу. Поверь, что в отличие от многих сдвинутых по фазе грузин я давно уже относился к правлению Гамсахурдиа как к недоразумению. Что делать, и самая справедливая борьба не обходится без издержек, и часто на гребень волны история выносит не самых достойных, а самых крикливых и истеричных. Не зря говорят, что на детях гениев обычно природа отдыхает. На сыне Константине Гамсахурдиа она, по-моему, очень хорошо отдохнула... И в результате своего президентства он чуть не скомпрометировал идею грузинского национальной независимости...

Словом, в Абхазию я ехал как на свидание с мечтой, с любимой девушкой. Не думал, что так все здесь затянется, а главное — что увижу вокруг столько мерзости. Ваши мерзавцы тут же принялись скот из грузинских сел угонять, и поначалу все вписывалось в схему, с которой до сих пор не расстались многие из моих боевых друзей: все грузины отважны, благородны, великодушны, все абхазы подлы, жестоки и вероломны. Но очень скоро я увидел, что наши мерзавцы ничуть не отстают от ваших, а порою и превосходят.

Очень скоро я убедился, что многие из тех, кого должен был бы назвать "товарищами по оружию", меньше всего думали и думают о Грузии; "отечество", "народ", "территориальная целостность страны" — все эти понятия им, откровенно говоря, до одного места. Запахи крови и наживы — вот что привело их сюда, в зону боевых действий. "Так чем же мы тогда лучше них — этих кровавых сепаратистов?" — постоянно спрашивал я себя. К тому же бросили нас, по существу, на подножный корм — как хотите, так и добывайте пропитание. И, конечно, тут же пошло моральное разложение. О дисциплине и не говорю. Все погрузилось в хаос. Что это за армия, где рядовой запросто может послать командира роты в задницу? И посылают. Бывает, что и подальше... Мои-то ребята еще ничего... А в некоторых взводах уже опухли от беспробудного пьянства и ширева.

* * *

Да ты и есть самый худший из всей этой крысиной серо-пятнистой массы моих врагов — грабителей, мародеров, морфинистов, убийц, которые вторглись на нашу землю! Хуже этих вечно "наколотых", наглых и грубых бродяг, которые пытались изнасиловать Джульетту — потому что это просто животные без намека на интеллект, а ты... О, тебе ведь такого было мало! Ты же "порядочный", ты же "интеллигент" — ты так не можешь. Тебе надо, чтобы эта туземка, "пугливая серна", "дитя гор" тебя полюбила, — ты ведь так уверен в своей неотразимости. Все время, когда мы с Джульеттой в заложницах в Цагере сидели, я, думаешь, не чувствовала, как нравится тебе роль представителя победившей высшей расы? Он снизошел до несчастной полонянки, да? И она теперь всю жизнь должна боготворить этого победителя, рабой его верной быть... Как смаковал ты каждое мгновение власти надо мной...

Все два с половиной ужасных дня, что мы с Джульеттой провели в школе под присмотром старой Этери (карга даже в туалет за нами таскалась, только вот когда на Джульетту набросились, куда-то вдруг исчезла), я ненавидела, боялась и презирала тебя. И в то утро, когда вы с Гией повезли меня и Джульетту домой, все время подозревала какой-то обман, подвох. И не напрасно...

Отца держали в Очамчире в кутузке, а ты изображал из себя благодетеля нашей семьи. То хлеба, мол, нам привезти, то отцу передачу сделать, то свидание с ним устроить... "Тетя Люба, тетя Люба", — мелким бесом вился ты вокруг мамы, и это сливалось в бесконечное "тетьюба", "тетьюба"... А она, бедная, от твоего обхождения уже и подтаивать начала, как льдинка на весеннем солнце: "А что, дочка, он не такой уж плохой парень..." Я чуть не онемела. А она расплакалась, начала заново рассказывать, как собрал немножко денег и понесла тем, кто отца держит, как они над ее деньгами посмеялись... А Ика, мол, твердо обещает; он в этих делах все ходы и выходы знает: где, как, на кого обменять... А какую вкусную колбасу нам недавно принес, два батона... Джульетта с ее прагматическим умом совсем по-другому на это дело смотрела: "А что, он тебя не обманывает, он действительно не против на тебе жениться: война, думает,

вот- вот закончится, почему бы не поселиться на берегу Черного моря, хорошую должность здесь иметь и поддержку от абхазской родни... Чем плохо?"

"Да я лучше пойду в море утоплюсь, чем позволю этой твари до себя дотронуться", — так я ей тогда сказала. ...Да, конечно, еще несколько месяцев назад это было самым обычным делом — если грузин женится на абхазке, если грузинка выходит замуж за абхаза. Даже после 89-го года, после всех этих стычек и манифестаций... Вот моя тетя Альбина, папина сестра, сколько лет в Зугдиди замужем! И Хасик, двоюродный брат мой сухумский, год назад мегрелку взял — кто ему слово против сказал?

Но сейчас-то все стало совсем другим!. Ты для меня не просто грузин, ты — оккупант, ты пришел убивать моих братьев!.. Даже если, как ты уверяешь, сам ни в кого не стрелял, все равно на твоих руках кровь! Того же Хасика, тяжело раненного... Да, он воюет против вас, и я этим горжусь. И как бы я в глаза своим абхазам посмотрела, если б согласилась!..

Ты это, конечно, прекрасно понимал. И так ловко все провернул! Похищение!.. Все правильно, все по обычаю... Но так, как будто никакой войны не идет, как будто за

несколько дней до этого, в Цагере, я не была в заложницах, как будто судьба моего отца не висела еще в тот момент на волоске!

Когда ты в сумерках приехал со своими ребятами и засигналил от ворот: вынеси, мол, кассету, которую мы вчера оставили, — мне даже в голову не пришло, что ты задумал. Только-только искупалась, волосы феном сушила... Как ястреб цыпленка, меня тогда схватил... С сигналами поехали, будто на многолюдную свадьбу — в дом к той гречанке, где ты решил меня "посадить".

* * *

Гунда, я ведь тебе всего не рассказывал — какая возня вокруг вас велась, какие планы строились. Еще тогда, когда вас с Джульеттой в школе держали... Накануне абхазы одного цагерского убили, и была мысль на его труп вас обменять. Но этот вариант отпал. Споры пошли... Потом твой отец сам в очамчирскую комендатуру пришел, а некоторые у нас все равно не хотели вас с Джульеттой отпускать. Один большой человек у нас на тебя глаз положил, чтоб ты знала... Там целое дело было...

Ну, а будто бы я обещался твоего отца освободить, если ты согласишься... Неправда это. Как ты могла такое подумать! Да его и так, и так собирались на одного пленного грузина менять. А я, конечно, старался это дело ускорить.

...Ты можешь говорить что хочешь, как хочешь, но я действительно полюбил тебя. Ты — мое все... Как ты этого не понимаешь?

* * *

Я презираю себя. Чем больше думаю о том, что случилось, тем больше презираю. До сих пор стоит перед глазами тот двор, дорожка из кирпичной крошки, уходящая к распахнутой задней калитке, дальше — курятник и огороды... Ведь могла выпрыгнуть через окно — там не так уж высоко было, ничего бы со мной не случилось — когда вы по беспечности ли, по наглой ли самоуверенности своей — оставили меня в комнате наверху у гречанки совсем одну. И тут я стала уверять себя, что не могу пойти на это из-за папы, что обязана спасти его любой ценой, даже принеся себя в жертву! Хотя... Ты рассказывал, как, приезжая в наш дом, то и дело устремлял свой взгляд то на маму, то еще на кого-то, с кем говорил, но так, чтобы боковым зрением успеть взглянуть и на меня. Стеснялся, не хотел, чтоб сказали, что ты на меня пялишься!.. И я тебя понимаю: ведь и со мной это было...

* * *

— Я всю жизнь... такую, как ты... и вот где нашел. Ну, скажи, что ты меня тоже любишь...

— Я тебя ненавижу!

— Знаешь, что сказал бы сейчас тебе Станиславский? "Не верю!" ...А как по-абхазски будет "Я тебя люблю"?

— А то ты не знаешь? "Сара бара бзиа бызбоит".

— Вот ты и сказала... Ну, как я тебя?..

— Дурачок. Это если парень говорит девушке.
— А если девушка — парню?
— "Сара уара бзиа узбоит".
— Ну вот, все равно же сказала. Обними меня.
— Что ты сделал, Ика? Что ты делаешь со мной? Я никогда не могла представить себе, что такое возможно... Что тебе, мало было грузинок? В Кутаиси своем?.. Такие красивые грузиночки, знаю, есть... Как я себя ненавижу!
— Ну, перестань. В чем ты не права? В чем мы не правы?
— Ты куда?
— Пить хочу. Тебе принести?
— Только свет, умоляю, не включай...
— Ну, что ты плачешь, малышка? Я люблю тебя.
— А я тебя — нет.
— Ничего, я буду любить тебя за двоих.

* * *

Именно после того декабрьского дня Ираклий в сердцах сказал Гунде: "Да, мне стыдно, что я грузин!" и вызрело его решение уйти из батальона и вообще с военной службы.

В тот вечер Гигла — профессиональный убийца, прошедший Афган, спецназ и вообще черт знает что — привез в штаб абхазца лет семидесяти. Этот старик и его жена — единственная в их поселке абхазская семья оставалась. Ребята Гиглы, когда обшманили их дом и ничего не нашли, начали пытать у него, кто из соседей деньги или золото имеет. Со смехом рассказывали, как раздели обоих — и старика, и его жену — и загнали в сугроб во дворе дома... А там у них по шею намело... Потом старуху оставили дома, а старика в штаб привезли.

Привезли, посадили посреди комнаты, и Гигла им занялся. Засунул ему в рот "лимонку":

— Говори, а то сейчас за кольцо дерну! Ну!!!

Тот глаза вытаращил, сидит, головой мотает... Наконец Гигла вытащил "лимонку". Старик схватился руками за рот, стал ощупывать нижнюю челюсть, трогать пальцем зубы и выплевывать на ладонь какое-то крошево. Из рта его текла кровь и на пол капала.

— Не хватало еще тут все абхазской кровью заляпать, — сказал один из команды Гиглы и схватил старика за горло: — Так говоришь, что ты — христианин, да? Ах ты, мусульманское отродье! А ну, покажи, как надо креститься!

Старик сидит — ничего не соображает. И тут к нему бросилась русская женщина, хозяйка дома, где штаб размещался:

— Дядя Ясон! Что с тобой? Вот так надо, вот так... Ты же сам нас учил креститься, вспомни!..

Тогда старик словно очнулся и перекрестился два раза.

Ираклию вмешиваться было не с руки: и не знал сначала, что этот старик должен был им сказать, да и Гигла со своей командой не в его подчинении находится... Но все это, конечно, ему очень не нравилось.

Тут подошли к этому абхазцу двое с одной стороны и двое с другой, взяли его за руки и потащили к камину. А в камине огонь вовсю полыхал, дрова потрескивали. Гигла обхватил его и начал толкать головой прямо туда, в огонь. Старик все силы собрал, за края камина ухватился и закричал...

Тут Ираклий не выдержал: хорош, мол, хватит. Засмеялись, отпустили старика... Но у них еще много чего было в запасе. Возьмут, например, карандаш, вставят ему между пальцами руки и медленно их сжимают... Или положат на лысину пробку от бутылки и бьют по ней сверху кулаком... Потом Гигла зашел сзади и резко ударил старика по ушам. Потом еще раз — со всей силы... От таких ударов, знал Ираклий, могут лопаться барабанные перепонки.

— Добейте, добейте меня! — кричал жалобно старик. — Чего вы меня мучаете? Но Гигла не унимался. Взял в руки огромный нож и начал лысую голову старика резать, как арбуз. Продольные полосы кожи перехватил на затылке перпендикулярным надрезом и откинул вперед — на глаза, на лицо. Потом сделал шаг назад, склонил голову — как художник у своей картины. Остался, видно, доволен. После этого отбросил лохмотья кожи назад, на темя ему и занялся его правым веком. Накалывал, собирал в гармошку складки века на острый кончик ножа, как насаживают на крючок дождевого червя. Потом оставил правое веко и хотел заняться левым...

Но тут Ираклий бросился к нему и схватил за руку с ножом, крутанул... Нож упал! Ираклий весь трясся и кричал: "За что вы этого несчастного старика убиваете? Неужели у вас отца с матерью нет? Он же никого из соседей-грузин не выдал, кто деньги имеет... Такого человека уважать надо! За что вы над ним издеваетесь, за что убиваете? Ведь мы же все — люди. И он, и мы — люди! А ты, Гигла... нашел, на ком свои приемы отрабатывать! Ты еще на ребенке трехлетнем их нам покажи!..."

Он орал, стиснув кулаки. Все смотрели на него. Кто-то услужливо поднял с пола нож, подал Гигле. Гигла молча поиграл с ним, повертел рукоятку двумя пальцами. Потом так же молча вытер лезвие носовым платком и вышел.

— Ладно, — хмуро сказал Ираклию комбат, — успокойся.

И Ираклий понял, что старика этого больше не тронут.

* * *

Ты снова пришел с работы вымотанный и уснул не раздеваясь — на диване. Я сижу рядом, смотрю на твое такое беззащитное во сне лицо и снова думаю о том, что сотворила с нами судьба.

Что за морщинка появились у тебя на переносице? Я ее раньше не замечала...

Ика, я и довольна, что тебя перевели сюда, в Сухуми, и ты теперь работаешь в полиции, и нет. Хорошо, что ты не имеешь большие отношения к боевым действиям. Но скучаю, конечно, по родным и соседям нашим очамчирским. Они все, кстати, очень благодарны тебе за твою помощь и защиту. Сегодня встретила в городе Ашхен — маленькую такую армянку, помнишь? Она говорит: если б не Ираклий, что бы с нами тогда сделали!.. А к новым соседям я пока так и не привыкла. Только с соседским котом подружилась. Это такой хитрющий кот... Он так забавно охотится за воробьями! Весь полосатый, как тигр, серенький, а зовут его Сержик. Но очень напуган войной,

взрывами и шарахается от любого громкого звука.

Когда же закончится эта проклятая война?! Вот вроде бы соглашение в Сочи заключили, полмесяца мы друг в друга не стреляем, а все равно: что будет — неизвестно. И пока война не закончилась, что бы ты ни говорил и ни думал, все равно будешь считаться врагом моего народа...

Помнишь, как я разозлилась после той идиотской заметки в газете про нашу "гвардейскую свадьбу"? Какой-то писака захлебывался от восторга: "Вот пусть теперь и подумают те, кто навязал нам эту братоубийственную войну, какая кровная вражда может быть между грузинами и абхазами, если в войну грузин женится на абхазке..." И еще что-то там про "загумистинских лидеров", про Ромео и Джульетту... Подонок! Кто ему дал право лезть в чужую жизнь, еще и фамилии называть? Им бы, этим негодяям, все свою политику шить-кроить, а у меня, у моих родных они спросили: хотим мы этого или нет?.. И ты, кажется, понял тогда мое состояние.

Как мне бывает тяжело на душе! Ика, я не успела рассказать о еще одной сегодняшней встрече... Ты ведь пришел очень поздно, уставший, и мне не хотелось тебя расстраивать... Возле рынка я встретила с нашей дальней родственницей тетей Шулей — она на Новом поселке живет, у нее племянник еще в первые дни войны погиб, он в абхазском батальоне служил. За все время войны мы с ней ни разу не виделись, но она обо мне, конечно, все слышала. И вот сегодня... Я еще не успела рта раскрыть, только начала ей издали улыбаться, а она подходит, смотрит на мой живот и говорит с такой ненавистью: "Ну что, гвардейская подстилка?.. Ты весь наш род опозорила! Видеть тебя не могу..." Я вся обомлела, ноги отнялись. Кровь бросилась в лицо — даже зубы, наверное, покраснели... А что, хотела сказать, тетя Альбина, которая в Зугдиди живет, тоже наш род опозорила? Но тут она, чтоб совсем меня добить, унижить, взяла и плюнула мне под ноги. Обошла брезгливо, как лужу обходят, и пошла не оборачиваясь.

Я знаю, что когда завтра все-таки расскажу об этой ужасной встрече, ты найдешь нужные слова, утетишь, ободришь. Ты это умеешь... Но ведь дело в том, что она права... Тетя Шуля права, понимаешь? И будь я на ее месте, я, может, поступила бы так же... Если б не знала тебя! Но как объяснить им всем?!

Порядочный"? — сказали мне как-то одна (не буду говорить, кто, но ты ее знаешь). — Если б был порядочный, он бы к нам сюда с оружием в руках не приехал!"

"Порой мне кажется, что ты ускользаешь от меня, — сказал ты мне как-то. — Почему? Как будто я с одной стороны стекла, а ты с другой, и мы никак не можем коснуться друг друга..."

Почему?.. А почему когда я впервые почувствовала, что у нас будет ребенок, меня вдруг вместо радости охватил безотчетный страх? Как будто этот шевельнувшийся во мне комочек жизни грозил предстать миру каким-то мутантом, существом, которое внушает людям отвращение и само обречено на вечную муку...

Помнишь, на дне рождения у Малыша я пошутила, что все грузины — самовлюбленные? Впрочем, в каждой шутке, говорят, есть доля шутки, а остальное — правда. Нугзар тогда подкинулся, а ты начал рассуждать, что ведь для того, чтобы чем-то чересчур гордиться, надо прежде всего иметь то, чем можно гордиться, а этого, мол, у вас, грузин, никак не отнимешь. И в хорошем, и плохом — но вы всегда выделялись. Если в Советском Союзе грузины составляли меньше двух процентов населения, а среди воров

в законе ваших было почти столько же, сколько русских, а остальных во много раз меньше, то это о чем-то говорит? Если грузины составляют меньше тысячной населения земного шара и тем не менее грузин был одним из вершителей судеб мира в двадцатом веке, — это тоже о чем-то говорит? И то, что в мире существуют понятия "грузинская школа кино", "грузинская женская шахматная школа", — это ведь реальный факт. Ну, а дураков, не способных ни на что, кроме похвальбы, — их, мол, в любом народе хватает... И тут Нугзар возьми и брякни — как будто я тут же, напротив, не сидела: "Знаете анекдот, почему среди абхазцев нет известных шахматистов? Потому что там голова нужна, не ж..." Ты ему не дал договорить, так схватил за горло, что он начал задыхаться. Мне даже не по себе стало, что из-за меня такой сыр-бор за столом возник; пусть бы уж он договорил свой глупый анекдот — я бы все равно нашла, что ему ответить. Ика, что же будет со всеми нами?..

* * *

А может, так было надо? Кому? Верховному Судие?..

Как легко проскулить этот жалкий вопросик и подобно мышши юркнуть в грудь избитых фраз: "Мы все виноваты", "Такова судьба"...

Но "все" — значит "никто".

А в чем была виновата та шестимесячная девочка, убитая "Градом", трупик которой в большой хозяйственной сумке все тащила и тащила с собой по дороге от Мачары к Лате обезумевшая от горя мать?

А Лии, совсем крошечной, исполнился только месяц, и то, что они взяли ее с собой в этот путь, было еще большим безумием...

"Если растянувшийся на сто пятьдесят километров и четверо суток путь на Сакен-Чуберский перевал — наша дорога на Голгофу, то кто в этой истории Иуда, кто Понтий Пилат?" — пришло в голову Ираклию. Кто?.. Четверо суток... Но они были как те сорок лет, что Моисей водил израильский народ по пустыне.

Те, первые сутки, когда они выбрались из города на "девятке" Арчила в колонне наезжающих друг на друга легковых и грузовых машин, "бэтээров" и "бээмпэ", "Шилок" и "Градов" и свернули перед Мачарским мостом влево... Он подумал тогда, что, может быть, впервые в жизни видит такой великолепный теплый день в конце сентября — весь облитый золотом и синевой. Бесконечной серой гусеницей вползала, втягивалась колонна в Кодорское ущелье... Что может быть более жалким, чем вид поверженной армии! И какой нелепой смотрелась вся эта грозная техника рядом с раздавленными, прячущими глаза от "гражданских" солдатами!

"Железный поток", — с усмешкой вспомнила вслух Гунда название романа. А Арчил; который сидел за рулем, не выдержал, разразился — хотя и без того все было ясно — ругательствами: "Не железный, а из дерьма это поток!"

А Ираклий думал о том, что будет дальше — а дальше, сказали, после Сакена, "Жигули" уже не пройдут... Он не знал, что придется распрощаться с их "девяткой" уже на следующее утро, после встречи со сванской "таможней"!

"Сванской"? Банальнейшая фраза — "преступники не имеют национальности", но лучшей, пожалуй, не придумаешь. А разве не сван по фамилии Гурчиани, у которого

они остановились на ночь в Ажаре, пустил под нож чуть ли не всю свою домашнюю птицу, чтоб накормить голодных беженцев! Одни вставали из-за стола, другие садились... А эти грабители — да кто б ни жил здесь, в ущелье: сваны или мегрелы, имеретинцы или эфиопы — среди кого угодно найдутся подонки, нелюди, которые, не моргнув глазом, воспользуются беспомощным состоянием беженцев! И таким абсолютно все равно, кто перед ними: грузины спасаются бегством от абхазов, или абхазы — от грузин... И им все равно — взять золотое кольцо из взломанного сейфа или сорвать с руки тонущей женщины...

Не забыть глаза того высокого светлого свана с красивым наглым лицом — главаря банды, которая остановила их утром, через пять шесть километров после Ажары. Пока его люди деловито, как таможенники со стажем и опытом, потрошили поклажу беженцев, Ираклий не выдержал, вышел из машины. Впереди, у серой "Волги", светловолосый главарь разбирался с сухумской парой: муж — по всему видно, тертый калач с жуликоватыми глазами и черными волосками на фалангах коротких пальцев, жена — холеная барынька, привыкшая к духам и дезодорантам и наверняка не выходившая под летнее сухумское солнце без зонтика. Сван требовал драгоценности и деньги, а муж напирал на другой вариант: что за несколько кружков сыра и бутылок чачи он отдаст ему свою "ГАЗ-24". То ли не понял, то ли упорно делал вид, что не понимает происходящего... Но его попытки перевести отношения с "пикетчиками" в разряд денежно-меновых успеха, конечно, не имели. — Машину? Эту, что ли? — холодно удивился сван. — Так она и так уже моя...

А Ираклий не мог отвести глаз от лица той холеной, величественной женщины: она стояла тут же, рядом, и за все время не проронила ни слова. Удивительно, но она так и не растеряла своего аристократизма, даже высокомерия, словно все, что творилось вокруг, ее не касалось. Поистине, она и этот светловолосый сван стоили друг друга!

А неподалеку громко, навзрыд плакала женщина, у которой только что отобрали бриллиантовое кольцо — может, единственное ее состояние и единственную надежду на выживание там, куда она шла.

Ираклий оглянулся назад и увидел, как грабители вытаскивают из машины Гунду с Лией и Арчила. Потом Гунда говорила, что никогда не видела у Ираклия такого страшного лица, как тогда, когда он бросился к ним. Конечно, не о машине он думал: все равно ее скоро надо было бросать, на перевал она бы не поднялась; некоторые беженцы, слышал он, сами сталкивали свои машины в пропасть — чтоб никому не достались. И не о деньгах и драгоценностях, которых у них не было... Здесь, в разреженном воздухе гор, вдалеке от любой власти, словно действовали и иные — разреженные — моральные законы. У одних общая беда, близкое дыхание смерти обостряли человеческое в них, братскую любовь друг к другу, освобождали душу от всего суетного, наносного, но у других — человекоподобных — срывали и последние покровы, до этого прикрывавшие их низкие инстинкты. В Ажаре ему рассказали — он скрыл это от Гунды, — как группа вот таких же хищников — наполовину из местных грабителей, наполовину из отбившихся от своих подразделений и одичавших, как лошади в степи, солдат, изнасиловала какую-то пятидесятилетнюю абхазку, кажется, бывшую костюмершу театра. Она шла вместе с мужем-грузином... Насильники узнали, что она абхазка, отвели за утес и...

отомстили абхазам. Говорят, что несчастному мужу, дрожавшему в это время на тропе, один крикнул с издевкой: "А ты, дядя, не хочешь?"

И главное — что сделаешь под наставленными на тебя дулами автоматов, если еще на подступах к Ажаре их разоружила толпа подобных непонятных "пикетчиков"? Тоже явные грабители, но делавшие свое дело под громкие выкрики: "Мы должны тут сражаться с абхазами, а вы убегаете с оружием?" Говорят, один четырнадцатилетний мальчик, шедший с матерью, никак не хотел отдавать отцовское ружье, и ему прострелили ногу... Арчил, оставшись тогда без своего пистолета, вел машину в трансе; Ираклий испугался, что они вот-вот сорвутся в пропасть, и побыстрее сменил его за рулем.

...С "Жигулями" Арчил, кажется, расстался куда легче.

А дальше... Дальше все сливается в одно видение: они бредут, карабкаются по каменистой круче. В самодельном рюкзаке за спиной Ираклия живой комочек — тельце дочери; перед глазами его покачиваются худенькие плечики Гунды (как хорошо, что он не видит ее измученного лица), а впереди и позади на многие километры растянулись десятки тысяч обезумевших от страданий людей.

"Проклятые!.. Проклятые!.." — то и дело выкрикивала шедшая метрах в пяти позади пожилая тетка с толстыми, распухшими ногами, которые она обмотала полиэтиленовой пленкой, и в темно-синей вязаной кофте. Из ее бормотания было трудно понять, кого же она прокликает: то ли абхазов с чеченцами, то ли Шеварднадзе и его генералов, которые обманули, не прислали обещанного подкрепления. Обманули и обрекли народ на медленную гибель в горах от холода, голода и изнеможения.

Чуть впереди волокла тачку с наваленным в нее барахлом тощая старуха. Тачка, бившаяся о камни, уже вся искривилась и готова была вот-вот рассыпаться, но старуха упрямо не выпускала ее из худых перевитых венами рук.

Прилетал вертолет, сбрасывал продукты, и люди прыгали, стараясь схватить их в воздухе, чтоб опередить других. Ираклий обратил внимание на пожилого мужчину, который прыгал несколько раз, но так ничего и не поймал. Ему сказали, что это лектор субтропического института. Самому Ираклию прыгать не дало чувство неловкости.

А потом они увидели на дороге первый труп.

Перед этим пошел мокрый снег. Он падал хлопьями, покрывая пестрым лоскутным одеялом каменистую землю, залепляя глаза, ноздри, уши, еще больше пригибая к земле обессиленных людей. На пути стали попадаться фигурки тех, кто, выбившись из сил, садился у тропы. Их уговаривали, били по щекам, поднимали... И вот Ираклий наткнулся на лежащую ничком у обочины женщину. Хотел коснуться ее плеча и отшатнулся: он увидел, что волосы ее успели покрыться инеем. Видно, дух ее отлетел от тела еще несколько часов назад. И он содрогнулся, представив, что, может, пройдет еще несколько часов и вся эта дорога превратится в дорогу мертвецов, что вот так же останется лежать здесь и вся его маленькая семья...

* * *

Что я делаю, куда ведут меня мои ноги?

Какой страшный сон: меня гонит вперед страх перед моими же собственными братьями!.. Перед этим рассказывали о какой-то женщине, которая бросилась с обрыва то ли с ребенком на руках, то ли, наоборот, отдав его кому-то... Был момент, когда я стояла на краю пропасти и думала: один шаг вперед — и вот оно, спасение. Один шаг — и разом кончатся все муки, все терзания. И тут услышала плач Лии. Оглянулась — ты брел с Лией за спиной, с трудом вытаскивая башмаки из красноватой липкой глины, которую на очередном подъеме месили тысячи ног. Малышка наша молчала. Значит, плач ее услышала моя душа, а не уши... А еще та последняя перед перевалом ночевка... Наверное, самая кошмарная ночь в моей жизни.

Помнишь, мы сидели на срезанных сосновых ветках у костра, у одного из десятков костров вокруг. Люди сжались, пропустили нас с Лией к самому огню, кто-то снял с себя тонкое одеяло и дал, чтобы мы ее закутали. Когда я развернула пеленки Лии, от них повалил пар... Бородатый актер Дима Джаяни, расспросив нас — кто мы и что, достал все свои деньги — 75 тысяч купонов — и отдал их тебе. Заплакал навзрыд... Ты долго потом находился под впечатлением от этого эпизода. Я не хотела тогда рассказывать... Это же такие, как он, Джаяни, довели нас всех до войны! Я сама не видела, но другие рассказывали, как выступал он несколько лет назад на грузинских митингах. Заливался, закатывал глаза: "Люди! Я люблю вас!.." Сами же грузины над ним, бывало, посмеивались. Он привык на сцене играть — и в жизни тоже играл. И там, у костра, поверь мне, играл, любовался собой... Тем более, что в горах купоны эти — просто клочки бумаги; дойдем ли — еще неизвестно, а если и дойдем... Мне хотелось взять и бросить ему в лицо эти бумажки, но остановил страх. Не за себя, поверь — мне уже в тот момент было все равно — а за тебя и за Лию. И, конечно, не перед этим клоуном, а перед другими грузинами.

Потом, когда он ушел к другому костру, у нашего завязался тот нервный разговор... Я все время боялась за тебя. Ты же такой — не можешь промолчать, если что-то не по тебе. Сперва заспорил с тем мордастым припадочным военным, который схватился за пистолет... Ну, когда старуха в куртке стала по привычке всех поносить и его в том числе. "Заткнись, — он заорал, — а то я тебя вот этим заткну!" И — за пистолет... Еле ты его утихомирил. Потом, когда вы с военным и еще одним, худосочным, с темным лицом мужчиной, развели дискуссию... Ты же сравнил наш путь с исходом древних евреев из египетского плена, но где, сказал ты, у нас тот мудрый Моисей, который вел евреев по пустыне, почему мы бредем, брошенные нашим руководством на произвол судьбы и "каждый умирает в одиночку"? Худосочный возмутился: при чем тут "исход", мы не из чужой страны возвращаемся, мы жили на родной земле, это временное отступление и так далее, — в общем, вся эта пропаганда, то, что давно на зубах навязло. И мне так противно стало! Вот люди — сдыхать будут, а их все свою политику разбирать тянет, свое доказывать. Что же, подумала я в тот миг, меня ждет в твоей Грузии, Имеретии? Сейчас-то они абхазкам, которые идут рядом со своими мужьями, оказывают всяческие знаки внимания, ласкают их, а что потом будет?

...Помнишь еще, сколько оживления у костра вызвала белая кошка, которую гладила, не выпускала из рук девочка лет десяти? А худосочный посмотрел на эту кошку и сказал: "Если нас догонят абхазы, то одну ее только и пощадят. Она же ни грузинской нации,

ни абхазской, только "мяу" и знает". И знаешь, почему меня поразили его слова? Я тут же вспомнила, как шла год назад в Очамчире и увидела — на лужайке лошадь пасется. И так я ей тогда позавидовала: она же лошадь, у нее нет паспорта и абхазского акцента тоже нет, ее уж точно не схватят и не потащат сжигать на стадион, как грозятся сейчас сделать со всеми абхазами, которые в городе остались...

...С неба посыпался холодный дождь вперемежку с ледяной крупой, и стало совсем невозможно. Если бы не те несколько кусков брезента и полиэтиленовой пленки, которые вы с мужчинами раздобыли, не знаю, как бы мы в ту ночь выжили...

Проснулись утром от душераздирающих криков. Что случилось? Кто-то тогда спросонок решил, что напали абхазцы (и днем ведь перед этим то и дело паника возникала: "Абхазский вертолет летит!.. Абхазский десант!.."). А оказалось, что в пропасть упал МАЗ, в кабине которого спали двое молодоженов. Еще, видно, радовались несколько часов назад, что так удачно устроились на ночлег... Водитель подложил под заднее колесо машины бревно, но ночью это бревно украли для костра, и МАЗ, у которого были неисправны тормоза, покатылся под уклон... Видели ли они тогда что-то во сне?

Я думала: что может быть ужаснее? Но ужасы в тот день только начинались. Сколько трупов пришлось нам перешагнуть на тропе... Как кричал, убивался тот седой мужчина, который проснулся утром и обнаружил, что его девятнадцатилетняя дочь — вот с такой толстой косой — замерзла насмерть? Они спали а обнимку, чтобы не замерзнуть, и вот он проснулся, а она нет... Единственная дочка. Еле высвободился из ее каменных уже объятий. А как копал он потом голыми руками ей могилу в промерзлой земле...

* * *

Словно во сне я двинулся к кругляшу мраморного столика и ощутил вдруг, как тысячи маленьких иголок впились в мякоть кисти правой руки между большим и указательным пальцами. Что это?

Я замер от неожиданности посреди залитой летним солнцем кутаисской хачапурной. В левой руке — тарелка с двумя горячими пончиками, в правой — стакан с газированной водой. Сильно газированной... Из воды выходил газ. Его приятно освежающее, хотя в первый миг и ошеломившее меня воздействие на участок моей кожи продолжалось, впрочем, секунд пять, не больше. Усмехнулся своему испугу и пошел дальше. Вокруг — обычная полуденная толкотня. Жара сегодня в Кутаиси несусветная. Кварталом ниже — мост через Риони, по которому снуют машины. А за сотню километров отсюда — тот самый перевал, совершенно безлюдный сейчас — то ли Хида, то ли Чуберский, то ли Сакен-Чуберский, кто как его называет, — через который я продолжаю идти все эти месяцы и буду, видно, продолжать идти всю жизнь. Я бреду и спотыкаюсь, и снег залепляет мне глаза...

Мы прошли, любимая, этот путь. Мы прошли, и теперь нам ничего не страшно. А дальше... Я не знаю, что будет дальше. Вчера ты вылетела с нашей маленькой дочкой в Адлер, чтобы через Псоу добраться до своих в Очамчире и погостить — ведь вы не виделись почти год. А сегодня утром моя золовка по беспросветной глупости своей сказала: "Не боишься, что она там останется?"

Помнишь, Гунда, я рассказывал тебе грузинскую сказку про Абесалома и Этери? Как царевич Абесалом влюбился в красавицу Этери и женился на ней; как его коварный советник Мурман с помощью дьявола сумел их разлучить и сам жениться на Этери; как смертный час Абесалома вновь соединил влюбленных — Этери покончила с собой, и их похоронили рядом. Но Мурман разрыл их могилу, лег между ними и умер. Из тел Абесалома и Этери выросли роза и фиалка, а из тела Мурмана — колючий кустарник. Роза и фиалка тянутся, хотят обнять друг друга, но стоит между ними колючий кустарник и не дает им соединиться... Грустная сказка. Я даже пожалел потом, что рассказал ее тебе. Ведь говорил-то про Абесалома и Этери как про нас с тобой, и получается, что даже после смерти нашей между нами все равно будет стоять вражда наших народов.

Правда, когда весной я ездил в Москву и разговорился там с одним абхазцем (помнишь, рассказывал тебе о нем?), он убежденно заявил, что никто из его знакомых в Абхазии не осуждает абхазок, которые уехали с мужьями-грузинами. Потому что семья, дети — это святое. А ведь таких женщин сейчас в одном только Тбилиси несколько сот... Нет, и тех, кто из-за войны с мужем-грузином расстались, рассорились, не смогли больше жить, очень хорошо понимают. Но и тех, кто не сумел через семью, любовь переступить, — не осуждают... Очень хорошо мы с тем абхазцем поговорили. Он, правда, думал, что мы с тобой еще до войны поженились...

Из головы у меня не идут твои слова: "Лучше бы я бросилась там, на перевале, в пропасть — вместе с Лией!" Это все, наверное, после той злополучной реплики Нуну — что грузинские дети, двадцать дней шедшие через ущелье и перевал в Чубери, до конца дней своих этого не забудут и не простят абхазам, когда ты раскричалась: "Это они твоим Шеварднадзе и Китовани не должны прощать!" Еле успокоили тебя тогда. Не знаю... Может, когда-нибудь, потом... Лет через пятьдесят-сто...

Ты помнишь, какими словами встретил меня отец, когда мы здесь появились? "Я не думал, что ты такой дурак, что поехал в Абхазию воевать!" А тебе: "Спасибо, дочка, что ты его живым привезла". Он ведь понятия не имел, что я из Тбилиси махнул на войну, спустя месяц только услышал.

Воевать... Но ты же прекрасно знаешь, что я это все по-другому представлял. Разве об этой кровавой каше мечтал? Нет, о свидании с Абхазией моего детства. И потом, если б я не поехал тогда, как бы мы с тобой встретились?

Скажи, милая, разве встретил тебя в моем доме хоть один косой взгляд? Хоть одно грубое слово? Наоборот, все с тобой носились.

Но ты так затосковала, места себе не могла найти; я же видел. Нуну зудела у тебя за спиной: "Видно, ожидала, что мы тут во дворце живем. Недовольна, что ремонта хорошего в доме нет..." Что с нее возьмешь?..

Об одном прошу: никогда в жизни не повторяй больше тех слов — что мы с тобой совершили ошибку. Никогда...

Как тебя встретят там?..

Твоего младшего брата соседские пацаны, знаю, избили так, что в больницу попал, — за тебя. Хотя в чем он виноват? А мы, разве мы виноваты?

Я так не хотел тебя отпускать... Вернись, только вернись... Может, когда-нибудь мы сможем поехать к твоим вместе. Я знаю, что ты скажешь: "Это невозможно, пока ваши грузины грозятся новой войной". Ладно, не будем ссориться, потому что этого

все равно не знает никто — что будет, как будет... Ну, а пока я увижу все твоими глазами — если, конечно, тебе удастся проехать и все будет благополучно: какой урожай нынче уродился на старой груше у калитки твоего родительского дома, как синее в конце вашей улицы море, как шевелят на ветру желтыми остриями веера пальмы, той, что на берегу, в конце этой улицы, как раскачиваются на морских волнах чайки и как, отрываясь от воды, неспешно летят куда-то по своим птичьим делам. Я увижу, как ты обнимешь мать, как она потом будет нянчить Лию... Я увижу все это, когда ты приедешь и все-все начнешь мне рассказывать...

1998

Виталий Валерианович Шария

Танк не страшнее кинжала

Рассказы

На русском языке

Витали Валериан-ица Шариа

Атанк шәартам акама ааста

Ажәабжьқуа

Урысбызшәала

Редакторы: Т. Алексеева, Н. Венедиктова

Художник Г. Дочиа; в оформлении книги использованы также работы В. Багателия, Б. Сопина, В. Любарова, В. Юрлова, Ю. Алексеевой, В. Бекетова, Н. Федичкина.

Технический редактор Л. Евменов

Сдано в набор 10.02.1998 г. Подписано в печать 12.07.1998 г. Формат 60х90 1/16.

Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Физ. печ. л. 17,5. Усл. печ. л. 17,5. Уч.-изд. печ. л. 20,64 Тираж 2000 экз. Заказ № 890. Цена договорная.

Издательство "Алашара" Издательско-полиграфическое объединение Республики Абхазия

г. Сухум, ул. Эшба, 168

(Сканирование, вычитка - Абхазская интернет-библиотека, <http://apsnyteka.org/>.)

(Выражаем благодарность Виталию Шария за разрешение опубликовать материал. - Ред. Абхазской интернет-библиотеки.)